

ISSN 0321—2017

Политические
Исследования

2001

Учредители: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ПОЛИС" ("ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ")", ИНСТИТУТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ РАН, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ»

Политический директор: И.К. ПАНТИН

**Международный
Консультативный совет:** И.К. ПАНТИН, И.А. БАТАНИНА, А.БРАУН, В.А. ГУТОВ, Г.Г. ДИЛИГЕНСКИЙ, М.В. ИЛЬИН, И.М. КЛЯМКИН, В.И. КОВАЛЕНКО, А.В. КОРТУНОВ, С. ЛАРСЕН, А.Ю. МЕЛЬВИЛЬ, М. МЕНДРАС, М.П. ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ, Ю.С. ПИВОВАРОВ, В.И. ПОЛОХАЛО, Р. САКВА, А.М. САЛМИН, А.А. СЕРГУНИН, А. СТЕПАН, Т.Т. ТИМОФЕЕВ, Л.А. ФАДЕЕВА, Т.В. ШМАЧКОВА, Ф. ШМИТТЕР

Редакционная коллегия: М.В. ИЛЬИН, Т.А. АЛЕКСЕЕВА, Л.А. ГАЛКИНА, В.Я. ГЕЛЬМАН, А.А. ДЕГТЯРЕВ, Б.Г. КАПУСТИН, А.С. КУЗЬМИН, М.М. ЛЕБЕДЕВА, Б.В. МЕЖУЕВ, И.К. ПАНТИН, В.Б. ПАСТУХОВ, Я.А. ПЛЯИС, В.М. СЕРГЕЕВ, А.И. СОЛОВЬЕВ, Е.Б. ШЕСТОПАЛ, Т.В. ШМАЧКОВА, А.И. ЩЕРБИН

**Ответственный
за выпуск номера:** Л.А. ГАЛКИНА

Редакция: Г.А. АБРАМОВ, А.В. БЕЛОКРЫЛЬЦЕВА (ответственный секретарь), М.Э. БРАНДЕС, Л.А. ГАЛКИНА (первый зам. главного редактора), Н.А. ГАЯМОВА, О.В. ЗЕЛИК, А.В. КАЧКИН, Л.Н. КУЗНЕЦОВА, М.В. ЛАПИНА, Е.В. МИХАЙЛОВА, С.С. СЕРГЕЕВА, А.Л. СИДОРОВ, А.П. СКОГОРЕВ, Т.В. ШМАЧКОВА

За разрешением на перепечатку или перевод опубликованных в журнале материалов обращаться в Редакцию.

Страницы журнала открыты для дискуссионных материалов, поэтому его содержание не обязательно отражает точку зрения Учредителей и Редакции.

© "Полис" ("Политические исследования"), 2001

СОДЕРЖАНИЕ

Представляем номер 5

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

И. Шапиро. Переосмысливая теорию демократии в свете современной политики 6
С.П. Перегудов. Крупная российская корпорация в системе власти 16
О.Б. Подвинцев. Постимперская адаптация консервативного сознания: благоприятствующие факторы.... 25

DIXI!

А.И. Неклесса. A la carte34

РОССИЯ СЕГОДНЯ

Е.В. Попова. Проблемные измерения электоральной политики в России: губернаторские выборы в сравнительной перспективе.....47
А.В. Юревич. Наука и СМИ63

ПАНОРАМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ РОССИИ:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В.А. Гуторов. Современная российская идеология как система и политическая реальность (Методологические аспекты)72
В.А. Ачкасов. Россия как разрушающееся традиционное общество83
С.А. Ланцов. Российский исторический опыт в свете концепций политической модернизации93
Л.В. Сморгун. Сетевой подход к политике и управлению103

ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: КОНСЕРВАТИЗМ

М.И. Дегтярева. Понятие суверенитета в политической философии Ж. де Местра113
С.Г. Алленов. Русские истоки немецкой "консервативной революции": Артур Мёллер ван ден Брук123
Р. Кирк. Какая форма правления является наилучшей для счастья человека? (Предисловие М.П. Кизимы).....139

ДОСЬЕ

Я.В. Шимов. Гражданское общество и правящая элита в переходный период: чешский вариант.....149
М.А. Шепелев, А.Т. Бариская, М.И. Шмелева. Цивилизационное измерение геоэкономики160

С.В. Пронин. Украина и Россия: фундаментальные предпосылки сотрудничества	165
Д.М. Фельдман. Белоруссия: политический режим в международном контексте (Об опыте системного исследования)	170
А. Умланд. Сравнительный анализ новых крайне правых групп на Западе (По поводу книги М. Минкенберга)	174
Вышли из печати	180
Памяти Георгия Хосроевича Шахназарова (1924 — 2001)	182
Аннотации на английском языке	183
Содержание на английском языке	188

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР

В последние полтора года политическая элита России все чаще заявляет о необходимости “восстановить” российскую государственность, обеспечить единство и управляемость страны, создать державу, с которой нельзя было бы не считаться в любых международных делах. Задачи эти отнюдь не надуманы, их ставит перед нами сама жизнь, требуя безотлагательно учесть печальные уроки 1990-х годов. Стремиться к этому должен каждый политический деятель, ощущающий свою ответственность перед современниками и потомками.

Однако стратегия укрепления российской государственности вызывает споры. Проблема состоит прежде всего в том, по каким стезям нам идти к прочному государству — выстраивать ли и укреплять властную вертикаль сверху, создавая современную версию “единой и неделимой” России, или же строить государство на основе связки “власть — гражданское общество”, позволяющей вовремя выявлять проблемы и обеспечивающей властным структурам реальную общественную поддержку.

Первый путь, уже испробованный имперской Россией (самодержавной, а затем — тоталитарной), завел страну в тупик. Экспансия государства во все сферы частной и общественной жизни обернулась в конечном счете бюрократическим омертвлением и политическим крахом власти. Второй путь был декларирован еще в начале 1990-х годов, но, как ни трудно в этом признаваться, нам лишь предстоит его нащупать, ведь страна до сих пор не избавилась от губительного сплетения власти и собственности, которое во все времена служило источником коррупции, криминального богатства и всеисия бюрократии. Трудности демократического переустройства общества и государства кроются не только в менталитете россиян. Демократия строится у нас в условиях, существенно отличающихся от тех, в которых она создавалась в США и Западной Европе. Еще М.Гейтс (чьи идеи “Полис” намерен развивать и впредь) подчеркивал неоднозначность духовного наследия России: “Мы не можем быть наследниками только пути, пройденного Западом, даже считая, что он наиболее привлекателен... в своей нынешней форме... Мы обречены на всемирное наследство, внутри которого гигантские несовпадения и разломы”.

Другими словами, речь идет о переоткрытии для России принципов демократического и либерального устройства сообразно с историческими традициями страны, с культурой ее населения и главное — с условиями, которые диктует Современность. Сотворение демократии в XXI в. — задача не из легких, но мы должны разрешить ее, если хотим остаться вместе с цивилизованным человечеством, если хотим блага своей стране. Единство государства необходимо, без него у нашей страны нет будущего. Но нельзя забывать, что оно — не самоцель.

Этот номер “Полиса” посвящен проблемам демократической теории, возникшим в связи с новыми политическими реалиями глобального характера (см. статью И.Шапиро), а также анализу особенностей “демократического транзита” России (С.П.Перегудов, С.А.Ланцов, О.Б.Подвинцев). Редакция журнала и авторы статей исходят из того, что феномен демократии стадиялен и, следовательно, в разных фазах развития демократия обретает разные ипостаси. Любая догматизация ее конкретных форм неизбежно ведет к искажению исторической перспективы. Демократические институты середины (а тем более — конца) XXI в. наверняка будут отличаться от современных не меньше, чем нынешняя демократия отличается от своих протообразов XIX и XVIII столетий.

Раздел истории политической мысли представлен течением консерватизма — от политической философии Ж.де Местра (М.И.Дегтярева) до размышлений американского консерватора второй половины XX в. Р.Кирка о форме правления, “наилучшей для счастья человека”.

И еще одно: редакция все больше склоняется к мысли о необходимости выпускать тематические номера. Хотелось бы узнать от наших читателей, какие темы представляются им интересными для обсуждения.

Редакция

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ ТЕОРИЮ ДЕМОКРАТИИ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ

И. Шапиро

Моя цель в этой статье — оценить текущее состояние теории демократии. Для такого начинания требуется мерило, критерий, и таких критериев напрашивается два. Первый — нормативный, именно он подразумевается, когда мы задаемся вопросом о том, насколько убедительны теории, стремящиеся доказать оправданность демократии как системы правления. Другой — объяснительный, он обнаруживается за желанием узнать, в какой мере достигают успеха теории, пытающиеся объяснить динамику демократических систем. Потоки литературы, из которых вырастают нормативные и объяснительные теории демократии, движутся в основном по раздельным руслам, и их авторы по большей части не осведомлены о том, что происходит в смежной области. Это досадно — как потому, что теоретизирование на тему о должном, вероятно, полезнее, когда оно одушевляется соответствующим знанием о сущем и осуществимом, так и потому, что объяснительная теория сама по себе слишком легко становится тривиальной и зависимой от метода, если она изолирована от тех неотступных забот нормативного свойства, коими продиктована всеобщая заинтересованность в демократии в последние десятилетия. Поэтому я, со своей стороны, избираю интегральный маршрут, сосредоточиваясь на том, чего следует ожидать от демократии и как лучше всего можно осуществить эти ожидания на практике.

При таком подходе неизбежно наталкиваешься на разногласия по обоим пунктам. Настоящий очерк и выстраивается вокруг этих расхождений. Я начинаю, в первой части, с рассмотрения основного корпуса противостоящих точек зрения по вопросу о назначении демократии — тех, где оно связывается с поиском общего блага, и тех, которые ставят в центр внимания легитимное управление властными отношениями, — и доказываю, что последнее понимание более оправданно, хотя оно совместимо с соответствующим образом упрощенным первым подходом. Во второй части мое внимание переносится на механизмы продвижения демократии. Прежде всего я обращаюсь к дебатам между И. Шумпетером и его критиками, подразделяя последних на две группы: тех, кто считает его конкурентную демократию желательной, но недостаточной, и тех, кому она кажется нежелательной. Точки зрения, целиком отвергающие шумпетерианскую позицию, я нахожу неубедительными, заключая, что более плодотворный путь — исследовать способы, позволяющие улучшить функционирование состязательной демократии, распространить ее действие за пределы правительственных институтов и дополнить другими институциональными механизмами. Затем следует обсуждение литературы, посвященной вопросу о том, в какой мере избирательные системы могут служить средством, содействующим развитию демократии в обществах, которым, как принято думать, она совершенно чужда. Здесь я делаю вывод, что нет никаких разумных оснований считать какое бы то ни было общество по самой своей природе неспособным к демократии, однако высказываюсь в пользу инкрементального подхода ввиду недостатка надежных знаний о приспособляемости политизированных общностей к требованиям состязательной демократии.

Но даже если демократия в принципе способна действовать где угодно, это не означает, как явствует из литературы, исследующей проблему ее прочности как строя (и рассматриваемой в третьей части), будто демократию легко уч-

редить или что ей, раз уж она установлена, суждено выжить. Данные сюжеты тоже относятся к числу тех, по которым трудно получить подкрепленные добротным эмпирическим материалом обобщения. Литература об обретении и удержании демократии, подобно литературе о ее назначении и электоральном инжиниринге, наводит на мысль, что состояние теории демократии слегка напоминает штат Вайоминг* — обширный, ветреный и по преимуществу пустынный. Беспорядочное развитие этой гуманитарной дисциплины показывает: кое-что зная об экономических предпосылках жизнеспособной демократии, мы, вопреки самонадеянным заявлениям некоторых комментаторов, в основном пребываем в неведении относительно влияющих на ее жизнеспособность культурных и институциональных факторов. Мало что известно о том, какие из институциональных установлений демократии являются наилучшими. Здравомыслие подсказывает, что было бы разумно постараться привить приверженность демократии тем, кто в ней задействован. Но далеко не ясно, насколько это важно и как этого достичь.

Если шумпетерианская демократия нуждается в дополнении, то возникают вопросы: кто должен такие дополнения вносить и в чем они должны состоять? Дебаты по этим проблемам и становятся следующей обсуждаемой в статье темой. Поскольку нет совершенных норм принятия решений, чисто процедурная схема типа правила конкурентного большинства способна привести к саморазрушительным результатам. Самый очевидный из них: группы большинства могут использовать свою власть для подкопа под демократические свободы путем запрета оппозиции, подрывающего будущую политическую конкуренцию. Но существует и множество более тонких проявлений искажающего воздействия демократических процедур. Отчасти по этой причине некоторые теоретики демократии отстаивают теории субстантивной (сущностной) демократии, коими могут поверяться результаты процедур. Однако, как я отмечаю в четвертой части, число субстантивных теорий непрерывно растет, и нет непреложных критериев выбора между ними. В итоге я соглашаюсь с теми, кто предлагает промежуточный подход, отводящий судам или другим выносящим вторичные решения институтам роль реагирующего механизма, выпускного клапана в ограничении искажающих последствий демократических процедур. Далее следует обсуждение альтернативных моделей поведения судебной власти в демократических системах и формулируется вывод, что легитимность последней будет, по всей вероятности, варьировать в зависимости от того, насколько ее действия способствуют укреплению демократии.

1. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ДЕМОКРАТИИ

Идея о том, что демократия направлена или должна быть направлена на общее благо, находит свое классическое выражение в “Общественном договоре” Ж.-Ж. Руссо, прежде всего в его утверждении о том, что процедуры принятия решения должны стремиться к выявлению всеобщей воли, которая олицетворяет собой общее благо. Вот знаменитое, хотя и туманное, описание этого у Руссо. Мы берем, пишет он, “сумму изъятий воли частных лиц”, вычитаем из них “взаимно уничтожающиеся крайности”, и “в результате сложения оставшихся расхождений получится общая воля” [цит. по Руссо 1998: 219]. Попытки осмыслить данную формулировку породили два потока литературы: литературу *агрегативную*, нацеленную на выяснение того, каким именно образом осуществлять соответствующие подсчеты, и литературу *делиберативную***, озабоченную тем, как побудить людей стремиться к общему благу, причем последнее понимается как нечто более сложное, нежели простая сумма фиксируемых извне предпочтений.

* В оригинале игра слов: state — состояние и State — штат. (Пер.)

** От лат. *delibero* — взвешивать, обсуждать, обдумывать. (Пер.)

КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕГО БЛАГА: АГРЕГАТИВНАЯ VERSUS ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ

Значительная часть появившейся в XX в. литературы об агрегировании индивидуальных предпочтений фокусирует внимание на сложности логически последовательного решения этой задачи. Сторонники *агрегативной концепции* исходят из того, что демократические процедуры принятия решений призваны выявлять нечто вроде всеобщей воли, которую в наши дни принято обозначать как функцию социального благосостояния. Вслед за К. Эрроу [Arrow 1951] они часто отмечают, что даже небольшие разногласия обрекают попытки ее обнаружения на неудачу, и приходят к заключению о нереализуемости демократии. Возможность голосования “по кругу” (смещение результатов в зависимости от порядка вынесения вопросов на голосование) говорит о том, что всякий данный итог может быть искусственным порождением процедуры принятия решения либо того, кто контролирует повестку дня, а не чем-то поддающимся осмысленной идентификации в качестве народного волеизъявления. В связи с этим появилось огромное количество специальной литературы о сравнительных достоинствах различных правил принятия решений как агрегативных процедур, а также об ограничениях, которые должны налагаться на предпочтения, дабы избежать появления циклического большинства. Такого рода литературе посвящено множество обзоров, и потому она не будет здесь обсуждаться*. Достаточно заметить, что если назначение демократии в том, чтобы обрести функции социального благосостояния, то при многих обстоятельствах оно может оказаться иллюзорным**.

Делиберативная концепция озабочена трансформированием, а не агрегированием предпочтений. Такая позиция, по существу, не является руссоистской. (В сознательное устремление как в полезное политическое средство Руссо не верил.) Тем не менее эта концепция в чем-то восходит к его требованию, чтобы, голосуя, люди исходили не из своих индивидуальных предпочтений, а из собственных представлений о благе для общества в целом***. Цель — вывести нас “за пределы демократии противоборства” [Mansbridge 1980]. Против разнообразных недугов, которые, как считается, преодолевают современную демократию, предлагается применять корректирующие средства из делиберативного инструментария. Низкое качество разработки и принятия решений, политика вербальных приманок, невысокие уровни [политического] участия, падающая легитимность правления, а также неосведомленность граждан — вот некоторые из наиболее часто упоминаемых недугов. Идея состоит в том, что если мы сможем избавить себя от мыльной оперы добывания электоральных преимуществ, то результатом станет более вдумчивый и эффективный политический выбор****.

* Наиболее полным и доступным, хотя и несколько устаревшим, является обзор Мюллера [Mueller 1989: ch.6; см. также Shapiro 1996: ch.2; Przeworski 1999].

** Здесь следует провести различие между замечанием, что цикличность предпочтений населения делает итоги применения демократических правил принятия решений случайными (в том смысле, что при ином порядке вынесения вопросов на голосование прошло бы какое-то другое предложение), и утверждением о том, что оными итогами можно *манипулировать* (в том смысле, что некто, устанавливающий повестку дня, предопределяет результат). Вопреки заявлениям некоторых комментаторов, в демократических политиках мы почти не знаем случаев успешной манипуляции такого рода [см. Green, Shapiro 1994: ch.6; Mackie 2000]. Данное различие важно, ибо с точки зрения властно-управленческого подхода, который рассматривается ниже, могут быть основания признавать легитимными решения, которые, будучи в соответствующем смысле случайными, не обусловлены манипуляцией. Необходимо, однако, отметить: утверждение о случайном характере результатов само основано на предположении, что при большой численности населения вероятна цикличность предпочтений [аргументы в пользу противоположной позиции см. Tangian 2000].

*** Для Руссо голосование было средством дисциплинировать частный интерес, побуждая людей сосредоточиваться на том, что является наилучшим для общества в целом. Как он писал об этом: “Когда в народном собрании предлагается закон, у участников спрашивают, собственно, не о том, одобряют ли они или же отвергают то, что предлагается, а о том, находится ли предлагаемое в соответствии с всеобщей волей, которая есть их воля; каждый, подавая голос, высказывает мнение по этому вопросу” [Rousseau 1968: 153].

**** Убедительные аргументы в пользу этой позиции приведены, в частности, в [Gutmann, Thompson 1996; критику см. [Macedo 1999].

Форумы, на которых происходит обдумывание и обсуждение, могут быть различными — от городских собраний и совокупности всех граждан, занимающихся “обдумыванием” в специально отведенное для этого время, до гражданских жюри и “совещательных опросов” — произвольным образом отобранных групп, которые получают расширенную информацию по тем или иным конкретным проблемам и выносят решение о том, что следует предпринять [Fishkin 1980]. Согласно некоторым трактовкам, такие образования должны вдохнуть жизнь в уже идущие процессы, согласно другим — заменить их как шаг на пути к становлению более надежной политики участия. Общим импульсом, лежащим в основе этих проектов, является предположение, будто люди изменяют свои представления о том, что должно предпринять общество, обсуждая этот вопрос с другими. Смысл демократического участия состоит скорее в том, чтобы общее благо выработать, чем в том, чтобы в процессе такого участия его обнаружить*. Исходные посылы заключаются в том, что, во-первых, люди будут чаще приходить к согласию, если достаточно долго станут разговаривать в соответствующей обстановке, и, во-вторых, что достижение согласия есть нечто позитивное.

Оба положения спорны. Обсуждение может выносить разногласия на поверхность, расширяя, а не сужая расхождения. Именно на это надеялись марксисты, ожидая, что “повышение сознательности” позволит рабочим обнаружить непримиримость своих интересов с интересами нанимателей и будет способствовать превращению пролетариата из класса-в-себе в революционный класс-для-себя. В данном случае такие надежды оказались наивными. Тем не менее, суть дела в общем и целом остается следующей: нет никаких видимых оснований полагать, будто обсуждение сблизит людей, даже если они рассчитывают на сближение и хотят, чтобы оно произошло. Супружеская чета, находящаяся в прохладных, но брака не разрушающих отношениях, может попытаться наладить ситуацию, договорившись урегулировать давние разногласия, а также приучить себя больше идти навстречу друг другу в вопросах, которые нельзя разрешить. Но как только пойдет откровенное выяснение позиций, могут вскрыться новые непримиримые противоречия, так что в итоге отношения ухудшатся и в атмосфере желчного раздражения союз, возможно, и вовсе распадется. Резонно ожидать, что обсуждение прольет свет на людские взаимоотношения, но в результате этого могут обнаружиться не только скрытые возможности для сближения, но и скрытые разногласия. Все зависит от того, каковы в действительности поставленные на карту подспудные интересы, ценности и предпочтения**.

Но даже когда обсуждение позволяет достичь согласия, последнее не всегда желаемо. Люди могут не хотеть урегулирования некоторых разногласий. Они, как полагают современные теоретики “различия”, способны получать удовлетворение от того, что отличаются друг от друга. И наоборот, им может представляться, что консенсус ведет к посредственности, как того опасались Дж. Ст. Милль и Аде Токвиль. Жизненно важным для свободы, по мнению таких теоретиков, является состязание идей — спор, а не обсуждение, — и, как я покажу ниже, институциональные воплощения этой мысли лежат в основе многих непреходящих ныне атрибутов демократии. Здесь же достаточно резюмировать, что обсуждение не обязательно ведет к согласию, а когда ведет, это не всегда бывает достоинством.

УПРАВЛЕНИЕ ВЛАСТНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

Делиберативный подход критикуют еще по тем соображениям, что выдвигаемая его приверженцами цель — содействие согласию — основывается на чрезмерно оптимистических посылах относительно власти. Согласие одного

* И действительно, теоретики делиберативного подхода иногда пишут так, словно активность поиска общего блага сама есть общее благо. Обсуждение этой проблемы см. [Shapiro 1996: ch.4].

** Обсуждение эмпирических условий, при которых обсуждение ведет скорее к расхождению во мнениях, чем к их сближению, см. [Shapiro 2001].

есть гегемония другого, и хотя ненавязанный консенсус и может быть достигим в некоем идеальном мире или “речевой ситуации” [Habermas 1979; 1984], в мире реальном властные отношения пронизывают собой поистине всякое людское взаимодействие. В своих острейших образцах эта критика, еще совсем недавно ассоциировавшаяся с М.Фуко [Foucault 1972; 1977; 1980], однако восходящая к столь разным мыслителям, как Платон, Т.Гоббс, К.Маркс, Г.Моска и Р.Михельс, может быть понята в том смысле, что демократический контроль властных отношений невозможен: эти отношения эволюционируют, одна их форма с течением времени вытесняет другую, но при всем том коллективная жизнь неизменно остается властью и господством*.

Тезис о вездесущности властных отношений двояким образом искажает ситуацию: он не проводит различия между отдельными способами осуществления власти и смешивает верное наблюдение о пронизанности властью всей коллективной жизни с неправомерным утверждением, будто вся коллективная жизнь сводима к властным отношениям. Признание вездесущности власти не равнозначно согласию с тем, что вся власть одинакова или что какие-то способы существования с нею не могут быть лучше других. И говорить о том, что властными отношениями полнятся столь разные сферы деятельности, как работа, семья и церковь, не значит отрицать, что во всех этих сферах, помимо осуществления власти, происходят и другие вещи. Часто, а пожалуй, и неизбежно, с властными отношениями бывает сопряжено производство товаров и услуг, равно как и близкие отношения, привязанность, образование и духовное служение. Но сами по себе эти виды активности не есть властные отношения.

Важные проблемы встают перед теоретиками демократии в связи с поиском механизмов, которые бы позволили как можно лучше регулировать властные аспекты взаимодействия людей и при этом бы сводили к минимуму вмешательство в другие формы человеческой активности. Вместо того чтобы видеть в демократии средство обнаружения или выработки общего блага, ее, таким образом, можно понимать как механизм для управления властными аспектами той деятельности, в которую вовлечены люди, придерживающиеся собственных — индивидуальных или совместных — представлений о благе. В этом смысле демократия есть подчиненное или обуславливающее благо, а творческий вызов состоит в том, чтобы найти способы демократически структурировать властные отношения, одновременно максимально ограничивая вмешательство в те виды блага высшего порядка, к которым стремятся люди. Для решения этой задачи требуется, как минимум, усилить вовлеченность в процесс принятия решений тех, кого затрагивают его результаты, а также открыть простор для значимой — пусть даже “лояльной” — оппозиции со стороны тех, на ком неблагоприятным образом сказываются принимаемые решения. Совершенных принципов принятия решений не существует, и некоторая доля навязывания присутствует во всех коллективных решениях. Именно потому у проигравших могут быть основания стремиться достичь иного результата в будущем. Из этого следует, что, хотя теоретики демократии уделяют правам оппозиции недостаточное внимание**, эти права обладают для демократической политики самостоятельной ценностью, не зависящей от ценности широкоохватного участия. В той мере, в какой приверженность данному принципу основывается на идее общего блага, его суть лучше всего выражает определение Н.Макиавелли, который видел в нем то, что безраздельно признается всеми теми, кто хочет избежать чьего бы то ни было господства над собой***.

* Иллюстрацию и обсуждение данной точки зрения см. [Laclau and Mouffe 1985; Hayward 2000].

** Исключение составляют Р.Даль [Dahl 1971], Р.Бэрт [Burt 1992], Ф.Петтит [Petit 2000], а также автор этих строк [Shapiro 1999].

*** См. высказываемое им в “Рассуждениях” соображение относительно римского довода о том, что стражами свободы должны быть простые люди, ибо, в отличие от аристократии, стремящейся господствовать, они хотят лишь того, чтобы над ними никто не господствовал [Machiavelli 1970: 1, 5].

Понимание демократии как системы, призванной структурировать властные отношения, имеет четыре преимущества. Во-первых, оно помещает нормативные вопросы о демократии в рамки уточнения “в сравнении с чем?”, ибо демократия оценивается теперь не на основании ответа на альтернативный вопрос: порождает ли она функции социального благосостояния или же ведет к согласию, — а исходя из того, насколько успешно она позволяет людям управлять властными отношениями (мерилом тут выступают поощрение широкоохватного участия и минимизация господства). А этот вопрос носит по сути компаративный характер. Во-вторых, упор на властных отношениях побуждает нас отказаться от еще одной разновидности дихотомичного мышления: о самой демократии. Способы управления властными отношениями могут быть более либо менее демократичными. При таком подходе требуется определить, сколько демократии возможно и желательно в данной конкретной ситуации, что особенно важно в условиях, когда цена демократизации властных отношений выражается в других благах. Одно из главных достоинств давнейшей идеи о полиархии заключается в том, что она переводит вопросы о демократии из разряда таких, которые требуют ответа “да” или “нет”, в разряд требующих ответа “больше” или “меньше”*. В-третьих, при ориентированном на властные отношения подходе преодолевается разрыв между нормативными теориями демократии и эмпирической политологической литературой по этим сюжетам. Теоретики демократии зачастую обращали слишком мало внимания на эту литературу, отрывая свои рассуждения от земных реалий и в итоге заставляя большинство других себя игнорировать.

Даже если теоретики и поднимают первые два вопроса, невнимание к практическому опыту способно привести к искажению результатов. К примеру, Дж.Бьюкенен и Г.Таллок [Buchanan, Tullock 1963], отвечая на вопрос “сколько демократии?”, указывают, что ее преимущества должны взвешиваться относительно другого полезного времяпрепровождения. Требование высокой степени согласия, пишут они, позволяет людям защищать свои интересы, но это отнимает время, которое могло бы быть потрачено на другую деятельность. В связи с этим они предлагают скользящую шкалу: чем важнее для вас вопрос, тем скорее вы станете поддерживать право вето, настаивая на единогласии или чем-то близком к нему. В вопросах же, которые значат меньше, разумнее пойти на риск поражения в любом конкретном голосовании, согласиться с принципом большинства и снизить издержки принятия решений. Демократия, таким образом, лучше всего подходит для проблем, которым придается умеренное значение. Проблемы, имеющие высокую значимость, должны быть выведены за ее пределы, тогда как решение второстепенных вопросов было бы оптимально делегировать администраторам. Однако Бьюкенен и Таллок — не приводя никаких тому доказательств — исходят из того, что люди больше всего дорожат стандартным набором либертарных гарантий. Именно его, по их мнению, и следует оградить от изменений — посредством правила квалифицированного большинства или даже единогласия. Если поставить данный постулат под сомнение, сомнительными окажутся и все их субстантивные (сущностные) заявления.

Но издержки пренебрежения реальной политикой еще серьезнее, в чем можно убедиться, если более тщательно проанализировать вопрос “в сравне-

* Даль выделяет восемь показателей, определяющих степень соответствия [конкретного режима] требованиям полиархии. Эти требования касаются четырех периодов: периода голосования, когда голоса членов политической системы должны иметь одинаковый вес и когда побеждает вариант выбора, получивший наибольшее число индивидуальных голосов; период перед голосованием, когда члены политической системы имеют равные возможности для представления альтернатив и информации о них; период после голосования, когда победившие в ходе голосования лидеры и политические курсы сменяют лидеров и курсы, набравшие меньшее число голосов, и избранные должностные лица занимают свои посты; и межвыборный период, когда принимаемые решения подчинены принятым во время выборов — например, сенатор, занимающий свое место в межэлекторальном периоде, заменяется одержавшим победу на очередных выборах [Dahl 1956: 71-76, 84-89].

нии с чем?*" Даже если бы нам было известно, какие проблемы люди считают самыми важными (что подразумевает отчаянно смелое предположение, что у них имеется всеобщее согласие на сей счет), то с какой же стати полагать, что они захотели бы вывести данные проблемы за пределы демократии, настаивая на принципе квалифицированного большинства или единогласия? Это может иметь смысл лишь в случае, если принять, как то делают Бьюкенен и Таллок, надуманную посылку, предположив некую дополитическую ситуацию, где отсутствует коллективное действие, а затем попытаться определить, какой принцип принятия решений выбрали бы люди, дабы свести к минимуму вероятность того, что их предпочтения окажутся в будущем до такой степени нарушены, что они согласятся отойти от дополитического состояния. Но, как отмечали Б.Бэрри, Д.Рей и др., при отказе от этих надуманных допущений нет никаких оснований рассматривать принцип единогласия в качестве адекватного выбора в пользу бездействия, поскольку он поощряет сохранение статус-кво [см. Barry 1990; Rae 1969: 40-56; Taylor 1969: 228-231]**. В реальном мире текущей политики — если я исхожу из того, что моя готовность равно отвергнуть или поддержать некую конкретную политическую меру не связана со степенью ее соответствия статус-кво, — логично предпочесть принцип большинства или нечто близкое к нему. Прежде чем говорить о желательности создания условий, благоприятствующих сохранению, а не изменению существующего положения вещей, следовало бы, по меньшей мере, выяснить, кому оно выгодно и кому наносит ущерб***.

Подход [к оценке демократии] в логике вопроса “в сравнении с чем?” предполагает и более прагматичный вопрос — не о том, “быть или не быть коллективному действию”, а о том, “какого рода коллективное действие?” То есть, мы рассматриваем властные измерения различных режимов, предполагающих коллективное действие, сопоставляя их между собой. Либертарно настроенные комментаторы — возможно, в силу своей привычки мыслить в терминах общественного договора — часто пишут так, словно отсутствие коллективного действия есть вариант осмысленного выбора в обществах, где, между тем, имеются частная собственность, принудительное обеспечение соблюдения договоров и классический набор негативных свобод. Как, однако же, подчеркнули недавно С.Холмс и К.Санстейн [Holmes, Sunstein 2000], все это — дорогостоящие институты и для их функционирования необходим эффективный коллективный контроль. Либертарный конституционный проект — это основанный на коллективном действии режим, который поддерживается государством и финансируется за счет непропорционального скрытого налога на тех, кто предпочел бы альтернативное устройство.

Литература о делиберативной демократии столь же уязвима. Если отвлечься от уже упоминавшихся концептуальных трудностей, то, вследствие пренебрежения вопросом “в сравнении с чем?”, делиберативная схема выглядит лучше, чем должна была бы. К примеру, адепты делиберативной демократии, такие как Э.Гутман и Д.Томпсон [Gutmann, Thompson 1996] или Б.Аккерман и Дж.Фишкин [Ackerman, Fishkin 2000], доказывают преимущества делиберативных механизмов, ссылаясь на то, как мало они практикуются в современной [американской] политике, где “правят был” рассчитанные на внешний эффект кампании, осуществляемые на телевидении, и политическая реклама. Однако

* ИмPLICITное довершение компаративного по своему смыслу вопроса о том, насколько успешно демократия позволяет людям управлять властными отношениями; см. двумя абзацами выше. (Пер.)

** При нечетном числе голосующих оптимальным принципом принятия решения является правило большинства (п больше двух плюс половина); при четном — либо правило большинства (п больше двух плюс один), либо правило большинства минус один (просто п больше двух). В общем плане см. об этом [Mueller 1989: 96-111].

*** Можно показать, что даже при использовании метафоры “договора” логика защиты Бьюкененом и Таллоком принципа единогласия тут же разрушается, как только начинают учитываться фактор времени и внешние обстоятельства [см.: Rae 1975: 1270-1294].

политика вербальных приманок и кампаний, дирижируемые СМИ, вполне могут быть следствием той огромной неприязни, с какой американцы относятся к выборам, финансируемым из государственного бюджета, и, соответственно, того влияния, которое оказывают на политику денежные средства частных лиц. Надо думать, такое положение сохранилось бы и в мире расширенных делиберативных институтов, учитывая, что в 1976 г. Верховный суд [США] объявил регламентирование политических расходов противоречащим Конституции вмешательством в свободу слова*. Всякая заслуживающая внимания защита делиберативной демократии в американском контексте должна была бы продемонстрировать, за счет каких механизмов делиберативные институты окажутся хоть сколько-нибудь менее (по сравнению с существующими) извращены теми, кто располагает ресурсами, позволяющими контролировать повестки дня и влиять на процесс принятия решений, и, кроме того, показать, что такая демократия оправдала бы свои издержки. Вдумаясь, к примеру, в предложение о проведении за неделю до общенациональных выборов “дня обдумывания”, когда каждому бы выплачивалось по 150 долл., чтобы он явился в местную школу или в центр своей общины, где такое “обдумывание” будет происходить. По подсчетам авторов предложения [Ackerman, Fishkin 2000: 29], это обошлось бы обществу в 15 млрд. долл., не считая косвенных издержек для экономики. Трудно уразуметь, какую пользу принесет столь крупная трата средств, когда кандидаты отобраны, платформы определены, группы интересов развернуты и избирательные фонды истрачены. А будь эти 15 млрд. долл. израсходованы на поддержку едва оперившихся третьих партий или на государственное финансирование избирательных кампаний, они бы смягчили многие из тех патологий, которые заставляют требовать большего обдумывания**.

Четвертое преимущество “властно-ориентированного” подхода заключается в том, что он открывает обнадеживающую перспективу решения давней головоломки о соотношении демократии и гражданства. Часто утверждают, что теория демократии бессильна, когда речь заходит о ее собственных рамках. Демократия зависит от правила принятия решений, коим обычно бывает какая-то разновидность принципа большинства, но это предполагает, что вопрос “большинство кого?” уже решен. Если же состав участников не определяется демократически, то в какой тогда степени являются подлинно демократическими результаты, полученные в ходе демократического принятия решения? Как отмечается в работе, написанной мною в соавторстве с К.Хакером-Кордоном, “в самой сердцевине демократии таится проблема курицы и яйца. Вопросы, касающиеся границ и контингента, по-видимому, в каком-то существенном смысле предшествуют демократическому принятию решений, но парадоксальным образом сами остро нуждаются в демократическом вердикте” [Shapiro, Hacker-Cordon 1999: 1].

Если демократия имеет дело с управлением властными отношениями, то отпадает необходимость рассматривать вопросы о гражданстве как нечто прин-

* В решении по делу “Бакли против Валео” [Buckley v. Valeo 424 US 1 (1976)] Суд постановил, inter alia, что, хотя Конгресс может регулировать финансовые пожертвования политическим партиям или кандидатам, он не вправе каким-либо иным образом регламентировать частные затраты на политические выступления. Впоследствии в решении по делу “Остин против Торговой палаты штата Мичиган” [Austin v. Michigan State Chamber of Commerce, 110 S.Ct. 1391 (1990)] Суд разрешил налагать некоторые незначительные ограничения на корпоративные затраты, но на практике решение по делу Бакли делает невозможным какое бы то ни было лимитирование политической рекламы, финансируемой из частных средств.

** Аккерман и Фишкин настаивают на том, что “крайне ошибочно рассматривать эту ежегодную затрату в 15 млрд. долл. сквозь призму обычного соотношения издержек и выгод”, поскольку ее “громадные” выгоды “не могут быть исчислены на той же шкале, что и другие элементы уравнения издержек-выгод” [Ackerman, Fishkin 2000: 29]. Даже если допустить, что эти выгоды обоснованно объявляются значительными, хотя, как признается, они несоизмеримы со своими издержками, в приведенном заявлении игнорируется то, что я здесь подчеркну: данные выгоды, безусловно, необходимо сопоставить с теми, которые были бы получены, будь указанная сумма как-то по-иному израсходована в целях усиления американской демократии.

ципиально отличающееся от вопросов о любом другом благе высшего категориального порядка, обусловленном демократическим принуждением. Соответственно, право на демократическое участие в принятии коллективных решений, идет ли речь о гражданах или нет, опирается на каузальный принцип наличия релевантного интереса, который данное решение затрагивает. Ведь и участников Американской революции объединял лозунг: "Никакого налогообложения без представительства!", а не лозунг: "Никакого налогообложения без гражданства!" Могут быть уважительные причины для ограничения гражданства, но это не означает, что не-гражданам надо отказывать в праве на голосование по вопросам, в которых затрагиваются их релевантные интересы, например тогда, когда в Калифорнии принимается решение лишить детей нелегально проживающих в стране иностранцев доступа к бесплатному образованию* или когда "гастарбайтеры" претендуют на участие в принятии законов, которые управляют ими [Barbieri 1998]. Каузальный подход лежит в основе ряда приводившихся в последнее время доводов в пользу снятия принципа гражданства как ведущего при определении права на демократическое участие и замены его системой перекрещивающихся юрисдикций, когда разные группы суверенны при принятии разных классов решений, как это практикуется в Европейском Союзе. Оперативная мысль здесь та, что соответствующий демокос достигает согласия, продвигаясь от решения к решению, а не от группы к группе [см. Pogge 1992; Antholis 1993; Wendt 1994]**.

Конечно, при урегулировании сталкивающихся притязаний, связанных с вопросом о том, чьи релевантные интересы затрагивает то или иное конкретное решение, неминуемо будут возникать трудности. Но сколь бы острой ни оказывалась часто полемика по этому поводу, дискуссии о том, кто имеет законное право притязать на гражданство, вряд ли менее остры. Кроме того, имеется ценный опыт разрешения споров относительно затрагиваемых интересов в других сферах. Так, разбирая дела о гражданских правонарушениях, суды вырабатывают процессуальные нормы, позволяющие решать, кому должно принадлежать право возбуждения судебного дела, а также отличать обоснованные притязания от необоснованных и определять степень обоснованности заявлений об ущербе, причиненном данным правонарушением. Приведенный пример показывает, что могут быть разработаны институциональные механизмы для оценки и регулирования конфликтующих претензий относительно того, каким образом задеваются релевантные интересы. Эти механизмы, возможно, несовершенны, но они должны оцениваться в соотношении не с идеалом, которого нет нигде, а с другими несовершенными механизмами коллективного принятия решений, существующими в реальном мире***.

- Руссо Ж.-Ж. 1998. *Об общественном договоре*. М.
Ackerman B., Fishkin J. 2000. *Deliberation Day*.
(<http://www.la.utexas.edu/conf2000/papers/Deliberation Day.pdf>).
Antholis W. 1993. *Liberal Democratic Theory and the Transformation of Sovereignty*. Unpublished Ph.D. dissertation, Yale University.
Arrow K.J. 1951. *Social Choice and Individual Values*. N.Y.
Barbieri W. 1998. *Ethics of Citizenship: Immigration and Group Rights in Germany*. Durham, NC.
Barry B. 1990. *Political Argument*. Herefordshire.
Buchanan J.M., Tullock G. 1962. *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor.

* Такая законодательная инициатива в виде проекта резолюции 187 была поставлена на голосование в Калифорнии в ноябре 1994 г. и прошла, набрав 59% голосов против 41%, а затем была отменена федеральным судом как нарушающая конституционное право на образование, которым люди обладают несмотря на иммиграционный статус. Суд также указал, что иммиграционное право относится к федеральному ведению, а не к компетенции штата.

** Другие аргументы, показывающие, что определение контингента участников не должно рассматриваться как предваряющее процесс демократического принятия решений, см. [Shapiro, Hacker-Cordon 1999b: ch. 6, 10, 12, 15].

*** Развитие и обоснование этого положения см. [Shapiro 1999: 31-39].

- Burt R.A. 1992. *The Constitution in Conflict*. Cambridge, Mass.
Dahl R.A. 1956. *A Preface to Democratic Theory*. Chicago.
Dahl R.A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven.
Fishkin J. 1991. *Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform*. New Haven.
Foucault M. 1972. *The Archeology of Knowledge*. N.Y.
Foucault M. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. N.Y.
Foucault M. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. Brighton.
Green D.P., Shapiro I. 1994. *Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in Political Science*. New Haven.
Gutmann A., Thompson D. 1996. *Democracy and Disagreement*. Cambridge, Mass.
Habermas J. 1979. *Communication and the Evolution of Society*. Boston.
Habermas J. 1984. *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1. Boston.
Hayward C. 2000. *Defacing Power*. Cambridge.
Holmes St., Sunstein C. 1999. *The Costs of Rights: Why Liberty Depends on Taxes*. N.Y.
Laclau E., Mouffe Ch. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. L.
Macedo St. (ed.) 1999. *Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement*. N.Y.
Machiavelli N. 1970. *The Discourses*. Harmondsworth.
Mackie G. 2000. *Is Democracy Impossible? A Preface to Deliberative Democracy*. Unpublished Ph.D. thesis. University of Chicago.
Mansbridge J.J. 1980. *Beyond Adversary Democracy*. N.Y.
Mueller D. 1989. *Public Choice II*. N.Y.
Pettit Ph. 1997. *Republicanism: A Theory of Freedom and Government*. N.Y.
Pogge Th. 1992. Cosmopolitanism and Sovereignty. — *Ethics*, vol. 103.
Przeworski A. 1999. Minimalist Conception of Democracy: A Defense. — Shapiro I., Hacker-Cordon C. (eds). *Democracy's Value*. Cambridge.
Rae D. 1969. Decision-Rules and Individual Values in Constitutional Choice. — *American Political Science Review*, vol. 63.
Rae D. 1975. The Limits of Consensual Decision. — *American Political Science Review*, vol. 69.
Rousseau J.-J. 1968. *The Social Contract*. Harmondsworth.
Shapiro I. 1996. *Democracy's Place*. Ithaca.
Shapiro I. 1999. *Democratic Justice*. New Haven.
Shapiro I. 2001. *Abortion: The Supreme Court Decisions 1965 — 2000*. Indianapolis.
Shapiro I., Hacker-Cordon C. 1999. *Democracy's Edges*. Cambridge.
Tangian A.S. 2000. Unlikelihood of Condorcet's Paradox in a Large Society. — *Social Choice and Welfare*, vol. 17.
Taylor M. 1969. Proof of a Theorem on Majority Rule. — *Behavioral Science*, vol. 14.
Wendt A. 1994. Collective Identity-formation and the International State. — *American Political Science Review*, vol. 88 (2).

Продолжение следует

КРУПНАЯ РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ

С.П. Перегудов

Тот факт, что крупный корпоративный капитал, или “большой бизнес”, — не просто важнейшая составная часть нынешней российской экономики, но и влиятельный игрок на политическом поле, настолько очевиден, что не нуждается в доказательствах. Однако если пойти дальше данной констатации, следует выяснить, какие конкретно факторы и обстоятельства определяют политическую роль крупного капитала, какие формы и методы влияния на власть им используются. Не менее важно выяснить и его место в политической системе современной России. Без ответа на эти вопросы мы не сможем понять ни характер и суть политического взаимодействия крупного капитала и власти, ни состояние нашей новой политической системы и тенденции ее развития.

Но стоит нам только поставить эти вопросы, как тут же выясняется, что для ответа на них недостаточно исследовать отношения так наз. олигархов и государственной власти. Изыскания в данной узкой сфере необходимо дополнить более широким, институциональным подходом, при котором главное внимание сосредоточивается на анализе не столько “олигархов”, сколько тех корпоративных образований, от имени которых они выступают.

Группы интересов особого рода

Согласно сложившейся в мировой и отечественной науке традиции, под корпорацией принято понимать крупное акционерное образование с весомым промышленным компонентом. Она может принимать форму вертикально-интегрированной компании, управляемого из общего центра холдинга, интегрированной финансово-промышленной группы, ТНК и т.д. Главное, что позволяет относить ту или иную структуру к корпорациям, — это наличие довольно томогенной организации, каждое звено которой (предприятие, дочерняя компания, банк) функционирует не просто само по себе, а как часть некоего единого целого.

Для определения места и роли крупной корпорации в системе политической власти в первую очередь требуется выяснить, каким политическим ресурсом она располагает. Исходя из сущностных признаков рассматриваемой структуры, этот ресурс можно представить в виде суммы слагаемых, которые бывают задействованы в процессе политической активности. Главным из них, естественно, оказывается экономический вес корпорации, ее позиции в национальной экономике. Чем выше зависимость народного хозяйства страны или региона от результатов деятельности данной корпорации, тем больше у нее возможностей влиять на политическую власть и принимаемые ею решения. Для современной России, которая держится сегодня “на плаву” благодаря сравнительно узким секторам экономики, этот момент имеет особое значение.

Другим слагаемым политического ресурса выступает “социальный капитал” — прежде всего наемный персонал (работники “нижнего уровня”, специалисты, менеджеры-управленцы) корпорации, а в ряде случаев и потребители ее продукции. К “социальному капиталу” нередко можно причислить также жителей населенных пунктов, где компания располагается, особенно если та является “градообразующей” либо обеспечивает занятость на прилегающих территориях.

Особенность “социального” компонента политического ресурса корпорации заключается в том, что он далеко не всегда проявляет себя в форме прямого политического действия. Но и будучи политически пассивным, “социальный капитал” влияет на политическое поведение и позиции лиц, непосредственно формулирующих и артикулирующих требования корпорации к властям, ибо понятно, что решения последних могут сказаться как на социально-трудовых отношениях внутри самой корпорации, так и на ситуации в городе, регионе и в стране в целом. Как и в случае с “экономическим” ресурсом, здесь многое зависит от “качества” “социального капитала”, т.е. от его способности влиять на политическую стабильность территорий, а также от отношения к нему со стороны “политического” класса и от ценностных установок политической и корпоративной элиты. Естественно, что при преобладании социально-рыночных ориентаций “человеческий фактор” учитывается гораздо больше, нежели при доминировании неолиберальной идеологии “чистого” рынка.

Важнейшей составляющей политического ресурса корпорации являются ее акционеры, которые формируют высшие руководящие органы компании и нередко непосредственно участвуют в определении ее социально-экономической и политической стратегии. В первую очередь это относится к владельцам крупных пакетов акций, однако нельзя игнорировать и роль так наз. миноритарных, т.е. мелких, акционеров. Хотя их возможности напрямую влиять на положение дел в корпорации крайне невелики, они способны объединять усилия для совместного отстаивания своих интересов путем различного рода соглашений и использовать фондовый рынок, значение которого в последнее десятилетие резко возросло. Продавая и покупая акции, акционеры ослабляют либо укрепляют позиции данной компании, тем самым побуждая ее руководство более чутко реагировать на подаваемые “снизу” сигналы. Исследования, проводимые в России и за рубежом, обнаруживают также тенденцию к более активной игре на фондовом рынке крупных акционеров, которые таким образом существенно расширяют арсенал своего воздействия на высший менеджмент корпораций и либо укрепляют, либо ослабляют их политические позиции [см., напр. Apeldorn 2000: 17-22].

К числу важнейших составляющих политического потенциала крупных корпораций, особенно в российских условиях, относится и так наз. административный ресурс, т.е. личные, неформальные связи высшего менеджмента с представителями государственной власти разного уровня. В ряде случаев этот ресурс настолько значим, что затмевает все другие источники политического влияния корпорации. И все же вне совокупности перечисленных выше слагаемых политического капитала административный ресурс либо теряет свою силу, либо становится не корпоративным, а чисто личностным или профессиональным. Но нередко бывает и так, что носитель административного ресурса, превратившись в профессионального политика, сохраняет свою связь с корпорацией и, не представляя ее непосредственно, существенно усиливает ее политические возможности.

Персонифицированный характер административного ресурса делает его наименее устойчивым компонентом политического капитала, крайне неравномерно распределенным среди множества корпоративных игроков. Исключительно велика также его зависимость от типа политической системы и действующих в ней правил игры.

В перечень слагаемых политического ресурса корпорации следует включить и ее способность действовать сообща с другими корпорациями на отраслевом, региональном и общенациональном уровне. Данная “коллективистская” составляющая будет рассмотрена ниже, когда речь пойдет о формах и методах политической активности корпораций.

Взятые в совокупности, перечисленные составляющие политического ресурса позволяют видеть в корпорации не только экономического, но и политического актора или, что в данном случае одно и то же, группу интересов. Хотя у отдельных ее членов есть свои специфические интересы, причем зача-

стую не совпадающие или даже противоречащие друг другу (как, скажем, интересы собственников и наемного персонала), все они имеют и общий, совокупный интерес, заключающийся прежде всего в эффективном функционировании компании, ее жизнеспособности и процветании. Ведь только при этом условии корпорация способна обеспечить занятость и заработную плату персоналу, дивиденды — собственникам, доходы и престиж — руководству.

Корпорация относится к категории так наз. институциональных групп интересов, конституирующих общественно-политическую систему. В то же время, в отличие от ряда других образований подобного типа (министерства, ведомства, в т.ч. военные, местные и региональные бюрократии и т.д.) корпорации, как правило, не могут эффективно выполнять свои непосредственные (в данном случае — экономические) функции, если не выступают одновременно в качестве групп давления. Неудивительно, что политический аспект их деятельности становится одним из важнейших. Именно поэтому корпорации — не просто “игроки” на политическом поле, а органическая часть политической системы.

В качестве группы интересов или политического актора крупная российская корпорация задействована во *всех* основных структурах политической власти — как общенационального, так и регионального и местного уровней.

“ПРЕЗИДЕНТСКИЙ” УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Самым сложным, неустойчивым и неструктурированным является политическое взаимодействие корпораций на вершине нашей государственной власти — на уровне президента и его администрации. Это во многом связано с той гипертрофированной ролью, которую играет там административный ресурс. Именно его использование помогло недавно ряду компаний, в частности “Сибнефти” и банковской группе “МДМ”, осуществить вторжение в металлургическую, энергетическую, машиностроительную и некоторые другие отрасли экономики [Ведомости 21.03.2000]. За короткое время на базе банка “МДМ”, возглавляемого А.Мамутом, была создана мощная финансово-промышленная группа, которую с полным правом можно включить в “большую десятку” интегрированных бизнес-групп [Паппэ 2000]. Что же касается “империи” Абрамовича, то ее экспансия в 1999 — 2000 гг. настолько широко освещалась СМИ, что стала притчей во языцех. Как писала одна (правда, склонная к преувеличениям) газета, “в скором времени 50% российской промышленности могут оказаться в руках одной группы — Абрамовича и Мамута” [Новая газета 21.12.2000].

Судя по всему, наиболее удачливые представители корпоративной элиты полностью уверены в правомерности своих действий. В этой связи весьма примечательно высказывание президента “Сибнефти” Е.Швидлера, который заявил буквально следующее: “На сегодняшний день каждая крупная нефтяная компания обладает некими знакомствами, административными ресурсами и прочим, которые были приобретены ею за долгие годы работы на российском рынке. При приватизации [и не только при приватизации — С.П.] происходит некий конкурс между этими ресурсами. И я думаю, что это и есть справедливая форма конкуренции для данной местности и данного времени” [Ведомости 11.07.2000]. Некоторое время спустя ту же мысль озвучил и “хозяин” “Сибнефти” Р.Абрамович: “Нельзя сказать, что в России уже сложилась рыночная экономика. Поэтому связи имеют огромное значение” (правда, согласно его заключению, оно с каждым годом уменьшается) [Ведомости 29.09.2000].

Можно привести и другие примеры задействования административного ресурса при совершении крупных сделок. Именно с его использованием было связано, в частности, первое после залоговых аукционов масштабное перераспределение собственности в 2000 г., в результате которого узкий круг бизнесменов захватил огромные рынки. Как писали по этому поводу “Ведомости”, “эпоха олигархов, открытая приватизационными аукционами, подошла к концу. Началась эпоха пресловутого административного ресурса” [Ведомости

20.12.2000]. Конечно, было бы неверно связывать все случаи перераспределения собственности лишь с президентской администрацией. Но тот факт, что самые крупные сделки были бы невозможны без “связей” на этом уровне, не подлежит сомнению.

Впрочем, не стоит упрощать ситуацию, особенно сегодня, когда взаимодействие президента и его администрации с корпоративным капиталом приобретает все более разносторонний характер и расчет на “связи”, даже самые прочные, нередко дает сбои. Наглядный пример — реформирование РАО ЕЭС. Несмотря на наличие у А.Чубайса исключительно высокого административного ресурса, его попытки провести собственный вариант реформы данной суперкорпорации по существу терпят провал. Ряд наблюдателей видят в этом следствие разногласий А.Чубайса с А.Илларионовым и другими членами президентской администрации. Думается, однако, что такая интерпретация упускает главное, а именно вмешательство в конфликт представителей гораздо более широких социально-политических сил, интересы которых затрагивает упомянутая реформа, прежде всего тех самых “миноритарных акционеров”, от имени которых выступает Б.Федоров и некоторые другие политики. Показательна также позиция ряда губернаторов, решительно возражающих против реформы “по Чубайсу”. Очевидно, что в данном случае они артикулируют не только собственное мнение, но и точку зрения значительной части рядового персонала компании, а также потребителей, опасющихся бурного роста цен на электроэнергию. Вступление в игру губернаторов, обеспокоенных перспективой серьезных социальных осложнений как внутри, так и вне компании, можно квалифицировать как попытку (и небезуспешную) активизировать другие составляющие политического ресурса компании.

Сегодня все более явной становится тенденция к отказу президента и его администрации от неформальных, часто основанных на субъективных пристрастиях отношений с корпоративным капиталом и переходу к более открытой и сбалансированной модели взаимодействия*. Вместе с тем пока нет оснований считать, что административный ресурс утратил свое значение и уступил место совокупному политическому ресурсу ведущих корпораций страны.

Мне уже приходилось писать о том, что некоторая часть корпоративного капитала не просто лоббирует свои интересы, но и внедряется в те сферы, где определяется стратегия общественно-политического развития страны, т.е. играет роль групп влияния [Перегудов 2000а: 79]. Не вызывает сомнений, что бизнес-элита (к которой принадлежит и ряд ключевых фигур в самой администрации президента и правительстве) и в дальнейшем будет оставаться влиятельным участником процесса выработки “высокой политики”. В то же время вовсе не исключено, особенно в свете отмеченных выше тенденций к институционализации отношений, что не последнее место в нем займет и ассоциированный большой бизнес.

Каким окажется соотношение индивидуального и коллективного участия бизнеса в системе стратегического планирования, покажет ближайшее будущее. Однако совершенно очевидно, что ассоциированный бизнес, даже если он представлен исключительно бизнес-элитой, уже не может игнорировать интересы “социального капитала”, а также других составляющих политического ресурса в той мере, в какой это позволяли себе его “избранные” фигуранты.

* Наглядно иллюстрируют эти изменения встречи президента Путина с руководством обновленного Российского союза промышленников и предпринимателей. Как известно, в ходе проводившейся осенью 2000 г. реорганизации в составе руководящих органов РСПП было образовано “бюро”, куда вошли более десятка влиятельных фигур российского бизнеса. После создания бюро, ставшего фактически высшей руководящей инстанцией Союза, РСПП резко активизировал свою деятельность и по сути занялся выстраиванием более тесных и “ровных” отношений между крупным бизнесом и властью. В свою очередь, президент во время встречи с членами бюро 25 января 2001 г. подчеркнул, что готов говорить исключительно с объединенной бизнес-элитой. Он также пообещал, что представители большого бизнеса смогут принимать непосредственное участие в подготовке документов, разрабатываемых правительством и Госдумой [Ведомости 24.01.2001].

КОРПОРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВО

На уровне правительства система отношений корпоративного капитала и власти также пребывает в постоянной трансформации, причем одним из наиболее существенных факторов последней являются изменения в самой структуре правительства*. Поскольку во второй половине 1990-х годов основной экономической единицей оказалось уже не предприятие или отрасль, а компания либо корпорация, прежняя межотраслевая ("черномырдинская") модель управления фактически была сломана. Отраслевые министерства и ведомства почти утратили свое и без того не слишком большое политическое влияние, а многие из них попросту были ликвидированы. Одновременно возросла роль функциональных министерств и ведомств (финансового, экономического, налогового, таможенного и др.). Следует отметить, что этот процесс продолжается и сегодня — только в ходе последней реорганизации (май 2000 г.) Министерство экономического развития поглотило 6 отраслевых министерств и ведомств. Оставшиеся — Министерство энергетики, МПС, Минатом, Минпромнауки, Росавиакосмос и другие — постепенно лишаются многих своих прежних полномочий, которые переходят к акционерным компаниям корпоративного типа либо к функциональным министерствам и ведомствам.

Вследствие описанных процессов нарушается существовавший до недавних пор механизм взаимодействия корпораций и исполнительной власти. Не секрет, что отраслевые ведомства и министерства были своего рода внутренними лоббистами, передаточным звеном между корпорациями и системой принятия государственных решений, главными элементами которой являлись функциональные ведомства. Наглядной иллюстрацией происходящего сегодня могут служить метаморфозы, претерпеваемые Министерством энергетики. С мая 1990 г. оно не только поменяло название, но и утратило возможность серьезно влиять на таможенную, налоговую и некоторые другие направления государственной политики, касающиеся нефтегазового и энергетического комплекса.

Отмеченные изменения оказали двойное воздействие на отношения между корпорациями и правительством. С одной стороны, многие компании, особенно не располагавшие весомым административным ресурсом, лишились серьезного рычага воздействия на систему выработки и принятия государственных решений. Значение отраслевого лоббизма как основной формы представительства интересов в исполнительной власти существенно снизилось (либо приобрело локальные формы). С другой стороны, лоббизм ведущих корпораций переместился на более высокий уровень. Характерный пример: начиная с лета 2000 г. СМИ чуть ли не в один голос стали утверждать, что резкий рост цен на нефть позволяет изъять у нефтяных компаний получаемые ими сверхприбыли. Столь простое решение экономических и социальных проблем страны встретило горячую поддержку со стороны Министерства финансов и других фискальных органов. Были даже разработаны способы изъятия сверхприбылей (путем повышения внутрикорпоративных цен, экспортных пошлин, введения дополнительной платы за доступ к "трубе"). Понятно, что подобный проект не вызвал энтузиазма у нефтяных компаний, однако их попытки повлиять на позицию министра финансов Кудрина не увенчались успехом. Тогда в переговоры с нефтяниками вступил сам премьер. После решающей встречи, окончившейся фактической победой нефтяных корпораций, М.Касьянов многозначительно заметил, что "у нефтяников есть причины для недовольства правительством, поскольку оно в последние месяцы не вело нормального диалога с ними" [Ведомости 14.12.2000].

* Поскольку правительство практически лишено самостоятельной стратегической роли, я счел возможным ограничиться рассмотрением его чисто административно-исполнительных функций. Это, конечно, упрощение, ибо ряд высших должностных лиц из состава правительства активно сотрудничает с президентской администрацией и фактически входит в "команду" президента. Но такое упрощение представляется оправданным, так как оно позволяет проследить принципиальную разницу между президентскими и правительственными структурами и, соответственно, выявить специфику последних.

Где-то с весны 2000 г., а может чуть раньше, с момента создания Центра стратегического развития Г.Грефа, во властных кругах вновь стала популярна идея "антилоббистского правительства", которую впервые пыталось реализовать правительство Е.Гайдара*. Тогда, как известно, дело кончилось тем, что во власть пришли представители старых министерских структур во главе с Черномырдиным и правительство из "антилоббистского" быстро превратилось в "суперлоббистское".

Маловероятно, что данный вариант возрождения секторальных ведомственных структур повторится сегодня. Изменилась, как уже отмечалось, сама структура экономики, в результате чего ось "предприятие — отрасль — министерство" сменилось осью "корпорация — функциональные ведомства". А это значит, что лоббизм, скорее всего, обретет новое качество и новое место в политической системе.

Пример с нефтяниками показывает, сколь сильно выросла роль "коллективного" лоббирования. Несмотря на некоторые заминки в функционировании созданного осенью 2000 г. при правительстве Совета по предпринимательству, в который вошли главным образом представители бизнес-элиты, совершенно очевидно, что и здесь "индивидуальный" лоббизм если и не отступает на задний план, то существенно дополняется взаимодействием, имеющим общественно-значимый характер.

Правда, пока еще трудно сказать, насколько далеко зайдет процесс институционализации отношений бизнеса и власти на данном уровне и как он скажется на системе функционального представительства в целом. Однако, судя по заявлениям компетентных лиц, правительство заинтересовано в том, чтобы знать и учитывать "консолидированную позицию" крупного бизнеса как по "ключевым направлениям экономической реформы", так и по "прикладным вопросам". Именно так сформулировал позицию правительства руководитель аппарата при премьер-министре, координатор Совета по предпринимательству И.Шувалов. Одновременно он подчеркнул, что "ведет практически ежедневно диалог с предпринимателями" и докладывает о результатах своих консультаций премьеру и другим членам кабинета, которые "по своим направлениям... также входят в контакт с предпринимателями" [Ведомости 04.12.2000].

Иначе говоря, с конца 2000 г. диалог корпоративной элиты с правительством приобрел постоянный, систематический характер, и есть основания полагать, что значение формализованных встреч и процедур будет возрастать.

КРУПНЫЙ БИЗНЕС В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

Как известно, Государственная Дума уже давно стала тем полем, где отраслевой и корпоративный капитал ведет активную лоббистскую деятельность. Правда, в отличие от органов исполнительной власти, здесь наблюдается отчетливая тенденция к непосредственному представительству интересов отдельных корпораций. Растет прямое участие крупнейших корпораций и в самом процессе думских выборов, где они выступают в роли своеобразных электоральных машин [см. Перегудов 2000б: 200-207]. Результатом такого рода активности стало, в частности, создание межфракционной группы "Энергия", насчитывающей более 70 членов. В СМИ упоминалось также о планах образования промышленной группы, однако они так и не были реализованы.

Если представители энергетических, прежде всего нефтегазовых, корпораций пошли на создание в Госдуме организованной группы, то депутаты от ОПК, металлургической, пищевой, легкой промышленности и других сфер бизнеса предпочитают неформальные методы взаимодействия. Как бы то ни было, есть основания утверждать, что в главном законодательном органе стра-

* Отражением подобных настроений в правящей верхушке можно считать такое заявление одного из ведущих российских политологов: "Впервые за 10 лет так наз. реформы возникает возможность отделить государство от бизнеса, что является одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом" [Независимая газета 26.12.2000].

ны корпорации представлены не только своими сторонниками или “посредниками”. Нередко они выступают и в качестве прямых участников законотворческого процесса. Иными словами, в условиях слабости партий и партийного представительства корпорации берут на себя помимо лоббистских и квазипартийные функции.

Было бы, однако, преждевременно утверждать, что данная тенденция обязательно будет укрепляться. Расстановка сил после выборов 1999 г. — это, скорее, временная аномалия, вызванная не только слабостью партий, но и отсутствием четкой вертикали власти. Многое будет зависеть от того, как пойдет “партийное строительство” после принятия нового закона о партиях и какая картина сложится в одномандатных округах, где роль партий еще крайне мала.

Что бы ни говорили у нас и за рубежом об “упадке партий”, замены им пока не придумано. В России именно они вкупе с группами влияния при президенте делают “политическую погоду” и определяют вектор общественно-политического развития страны. Поэтому тенденция к “корпоративизации” партийно-политического представительства, вероятно, следует рассматривать как временную флуктуацию. Несмотря на гипертрофированную роль крупных компаний в высшем законодательном органе страны, узурпация законодательной власти со стороны корпораций нам явно не грозит.

КОРПОРАЦИИ И ВЛАСТЬ В РЕГИОНАХ

Особенно сложны и противоречивы отношения корпораций и власти на региональном и муниципальном уровне. Но при всем многообразии вариантов можно выделить три основные формы взаимодействия крупного бизнеса и местных властей: формально-договорные, неформальные и партийно-политические.

Проще всего идентифицировать формально-договорную систему отношений, которая давно практикуется крупнейшими компаниями общероссийского и регионального масштаба, прежде всего нефтегазовыми и металлургическими. Как правило, они заключают с региональными или городскими и поселковыми администрациями* соглашения, которые определяют условия пользования транспортными и иными средствами и ресурсами данной территории, а также режимы местного налогообложения. В свою очередь, компании обязуются содействовать росту занятости, обеспечивать регионы своей продукцией (иногда на льготных условиях), строить или реставрировать социально-культурные объекты, дороги и т.п. Все большее значение в подобных договорах придается вопросам сохранения окружающей среды. Нередко они подписываются дочерними компаниями, входящими в ту или иную крупную корпорацию.

Вступая в договорные отношения с местными властями, корпорации становятся активными участниками процесса формирования региональной и местной социально-экономической политики. Для целого ряда регионов такие соглашения имеют чрезвычайно важное, а в некоторых случаях и определяющее значение. Однако подобная форма взаимодействия бизнеса и власти не всегда приносит желаемый эффект. К примеру, компания “Сибирский алюминий”, заключив соглашение с администрацией Самарской области об условиях эксплуатации приобретенного ею авиационного завода “Авиатор” и взяв на себя обязательство “поднять” предприятие и наладить выпуск современных самолетов, не только ничего не сделала для реализации своих обещаний, но и немало содействовала дальнейшей деградации производства. Учитывая этот опыт, администрация Нижегородской области при заключении договора с “Сибирским алюминием” (в связи с приобретением последнего контрольного пакета акций ГАЗа) настояла на том, чтобы в нем были определены не просто обязательства сторон, но и санкции на случай их невыполнения.

Нередко договоры используются корпорациями для вытеснения конкурентов и монополизации доступа к тем или иным ресурсам. Тем не менее, учи-

тывая взаимовыгодный характер подобных соглашений, а также традиционную зависимость многих городов и регионов от деятельности нескольких (а иногда и одного) крупных хозяйственных комплексов, их роль в целом следует признать положительной. Позитивным моментом является и то, что они способствуют росту открытости и гласности в отношениях бизнеса и власти, и потому вряд ли правомерно видеть в них “крышу для неформальных соглашений” [Российский региональный бюллетень 10.04.2000: 22-23].

Конечно, сам факт тесной взаимозависимости формальных и неформальных отношений не вызывает сомнений: чем выше удельный вес последних, тем сильнее они девальвируют первые. Вместе с тем очевидна и обратная зависимость, а потому формализация отношений власти и корпоративного бизнеса в регионах служит эффективным средством вытеснения клановости (зачастую неотделимой от криминалитета) и замены ее более цивилизованными партнерскими отношениями.

Способствует преодолению клановости и такой путь формализации отношений бизнеса и власти, как организация межрегиональных центров экспертно-консультативного характера при представителях президента в федеральных округах. Принципиально новыми эти структуры назвать нельзя. Ко времени создания округов уже существовали восемь межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия, причем некоторые из них (“Сибирское соглашение”, “Северозапад” и др.) действовали весьма активно и к тому же если не полностью, то в значительной степени совпадали с образованными округами территориально.

Тем не менее речь идет не просто о формальном приспособлении уже сложившихся структур к новой ситуации. Во-первых, в ходе последовавший за созданием округов реорганизации и территориальной передислокации были существенно расширены функции ассоциаций. Согласно “Положению о полномочном представителе...”, назначенные на эти должности лица “разрабатывают совместно с межрегиональными ассоциациями экономического взаимодействия программы социально-экономического развития территорий в пределах федерального округа” [Российский региональный бюллетень 17.07.2000: 38]. Тем самым из чисто вспомогательных, не имеющих четких полномочий форумов ассоциации превращаются в центры стратегического планирования, решения и рекомендации которых обретают обязательный характер. Во-вторых, наиболее авторитетные представители бизнеса превращаются в полноправных членов влиятельных центров разработки и принятия социально-экономических решений федеральных округов.

Судя по всему, процесс формирования данных центров еще не завершен, однако есть все основания полагать, что уже в скором времени полноценное функциональное представительство будет создано. Иначе говоря, почти стихийные процессы в области межрегионального экономического сотрудничества и кооперации обретают, наконец, прочную институциональную и политическую базу.

Надо надеяться, что укрепление центров стратегического развития, если, конечно, оно пойдет по рациональному сценарию, серьезно повлияет на всю систему отношений бизнеса и власти на региональном уровне и будет способствовать ее деперсонификации и институционализации.

* * *

Принято считать, что постепенная “коллективизация” корпоративного капитала вызвана его реакцией на действия властных структур, в частности на попытки президента поставить на место “олигархов”, если не покончить с ними. Представляется, однако, что причина гораздо глубже и происходящие изменения связаны не только с новой ориентацией властей.

После дефолта 1998 г. магистральным направлением корпоративного строительства стало укрепление промышленных, а не финансовых объединений. А это означало, помимо прочего, переориентацию корпораций с присущей

* Последнее особенно характерно для добывающих компаний.

“олигархам” погони за государственной собственностью и политической рентой на консолидацию внутренних ресурсов и, соответственно, на преимущественно рыночное поведение.

Все это способствовало изменению характера отношений между корпорациями и государством и уменьшению роли неформальных, межличностных связей. Одновременно сокращалась и зависимость власти (особенно центральной) от поддержки со стороны “олигархов”, поскольку угроза возвращения к доперестроечным временам становилась все более призрачной.

Кроме того, ощутимо возросло значение социальных составляющих “политического ресурса” крупных корпораций, прежде всего наемного персонала и акционеров-собственников. Между тем и те, и другие заинтересованы в укреплении экономической и политической устойчивости корпорации, в установлении более упорядоченных, лишенных элементов случайности отношений с властями. Руководители крупных компаний стали придавать все большее значение созданию благоприятного социального климата как внутри корпораций, так и на прилегающих к предприятиям территориях*. Немалое воздействие на этот процесс оказывает концепция социальной ответственности бизнеса, которую все более четко проводят в жизнь соответствующие правительственные ведомства. Находят отклик в органах власти и возросшие требования акционеров к менеджменту компаний. Об этом, в частности, свидетельствуют планы разработки корпоративного кодекса, фиксирующего права и обязанности акционеров и менеджеров компаний.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что индивидуальный лоббизм постепенно уступает место взаимодействию преимущественно коллективных интересов большого бизнеса, т.е. в России формируется нормальная система функционального представительства. А это означает, что политическое участие корпоративного капитала может стать существенным позитивным фактором общественно-политического развития страны, что, в свою очередь, позволит создать условия для полноценного участия мелкого и среднего предпринимательства в выработке политического и экономического курса.

Ведомости. 2000.

Независимая газета. 2000.

Новая газета. 2000.

Перегудов С.П. 2000а. Корпоративный капитал в российской политике. — *Полис*, № 4.

Перегудов С.П. 2000б. Корпоративный капитал в борьбе за избирателя. — *Куда идет Россия?* М.

Паппэ Я.Ш. “Олигархи”. *Экономическая хроника 1992 — 2000 гг.* М.

Российский региональный бюллетень. 2000.

Apeldom B.V. 2000. *The Rise of Shareholder Capitalism in Continental Europe? Paper for the XVIII IPSA Congress.* Quebec-City.

ПОСТИМПЕРСКАЯ АДАПТАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО СОЗНАНИЯ: БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

О.Б. Подвинцев

В материале, опубликованном в “Полисе” № 3 за 1999 г. [см. Подвинцев 1999], мною были рассмотрены условия, благоприятствующие сохранению и — более того — возрождению в нашей стране консервативного имперского сознания. Но в современной России имеются и факторы, способствующие адаптации патриотов-державников к произошедшим изменениям, примирению их с новыми реалиями. Анализ этих факторов и посвящена данная статья.

ИЛЛЮЗИЯ ОБРАТИМОСТИ И НЕЗАВЕРШЕННОСТИ РАСПАДА ИМПЕРИИ

“Империи распадаются без наркоза!” — предостерегал в 1990 г. публицист Б.Львин [Львин 1990: 11]. Но это не совсем так. Существуют, по крайней мере, два иллюзорных представления, смягчающих травму, вызванную распадом имперского образования.

Представление об обратимости происходящего получает распространение как при постепенном “размывании” державы, так и в условиях ее скоротечного “обвала”. В первом случае фазы распада растянуты во времени, и каждый шаг в направлении дезинтеграции может рассматриваться как ограниченное по своим масштабам и последствиям событие. Потери, понесенные империей, оцениваются ее сторонниками как временные неудачи в длительной позиционной борьбе, которую предстоит вести дальше (ее окончательный итог не вполне ясен).

Скоротечный “обвал” империи, напротив, воспринимается ее апологетами как катастрофа, но катастрофа преходящая. Поскольку великая держава пала так легко и быстро, то складывается впечатление, что она столь же легко и быстро будет восстановлена. Один из лидеров депутатской группы “Союз” и движения “Наши” в прежней Государственной Думе В.Алкснис заявлял в интервью, данном вскоре после беловежских соглашений: “Когда сегодня говорят “бывший Советский Союз”, я этого не признаю. Это каким-то политикам хотелось бы похоронить Союз. Но он живой! Жив наш народ, десятки, сотни миллионов людей объединены понятием “советский народ”, и не так-то просто это вытравить из их душ”. На вопрос корреспондента: “Когда начнется возрождение Союза?” Алкснис отвечал вполне оптимистично: “Уже весной в обществе настроение будет иным” [Алкснис 1991]. Автор одного из откликов на это интервью писал, что прочитал его и “на душе стало немного веселей” [Несостоявшийся юбилей 1992: 537].

Распространению и утверждению в общественном сознании иллюзии обратимости распада способствует также тот факт, что крушение империи не приводит к немедленному слому ее экономической, прежде всего транспортной, инфраструктуры. В заключительной части своей “Истории Российской империи” М.Геллер, в частности, пишет, что “сохранились, как кровеносные сосуды одного организма, железнодорожные линии, нитки газо- и нефтепроводов, экономические связи, стягивающие далекие регионы. Сохранилось живое наследство империи после того, как ее политические формы были разбиты” [Геллер 1997: 282]. В дальнейшем эти “кровеносные сосуды” либо прерываются, либо становятся частью иной системы, которая питает другой организм. Это происходит не сразу, и возникает надежда, что “экономика все-таки возьмет свое”, “не выдержит надругательства над собой” (как предрекал тот же

ПОДВИНЦЕВ Олег Борисович, кандидат исторических наук, доцент кафедры политических наук историко-политологического факультета Пермского государственного университета.

* В данной связи весьма показательно, что в прошедшем недавно всероссийском конкурсе “Российская организация высокой социальной эффективности” приняли участие свыше 500 компаний [Новая газета 14.12.2000].

Алкснис). Экономика, по большому счету, действительно “берет свое”, но далеко не всегда оправдывает ожидания тех, кто рассчитывал на восстановление прежних экономических связей и интересов.

Другая иллюзия, сохраняющаяся даже после распада великой державы, связана с представлением о возможности *трансформировать империю в “содружество”*.

Концепция “содружества наций”*, активно разрабатывавшаяся в Британии в период кризиса империи, предполагает замену отношений “центр — периферия” добровольными, равноправными, взаимовыгодными союзническими отношениями между странами, составлявшими бывшую империю. Такое содружество мыслится как “сообщество государств и наций”, динамично развивающаяся “система наций”, “всегда идущая навстречу новой судьбе” [Smuts 1942: 37]. В рамках содружества не ставится задача создания единой общности, отсутствует стремление к ассимиляции входящих в него народов.

Идея о преобразовании в содружество возникала и муссировалась во многих имперских образованиях, переживавших период распада. В качестве примера можно, в частности, сослаться на трансформацию державы Габсбургов в Австро-Венгрию и планы по созданию Австро-Венгро-Чехии и — частично — Дунайской федерации. Аналогичным образом предполагалось, что полноценным преемником французской колониальной империи станет Французский Союз (по Конституции IV Республики) или Французское Сообщество (по Конституции V Республики). Подобная идея лежала и в основе многочисленных проектов реформирования СССР, получивших распространение в период перестройки и вылившихся в конечном итоге в скоропалительное создание СНГ. Такие планы, вызванные кризисом и начинающимся распадом системы, свидетельствуют о стремлении спасти империю путем ее трансформации в иное образование.

Британцы, дальше других продвинувшиеся по пути преобразования своей империи в содружество, в известной мере сумели воплотить данную теоретическую модель в жизнь. Если первоначально Британское Содружество объединяло метрополию и шесть ее “белых” доминионов (пять переселенческих колоний, включая Ньюфаундленд, и Ирландию), то во второй половине XX столетия в него в качестве равноправных членов вошли почти все прежние британские колонии, ставшие к тому времени независимыми государствами**. В рамках Содружества выработаны новые механизмы взаимодействия бывших колоний, созданы структуры, которых не было в империи. Главы стран — участниц союза до сих пор регулярно собираются на совместные конференции, где обсуждают наиболее значимые в политическом отношении проблемы. Действуют “ассоциация парламентов” Содружества, другие организации. Между партнерами по Содружеству сохраняются тесные связи в сфере образования и культуры. Важным событием в мире спорта становятся проводимые в рамках Содружества Игры и другие состязания. Как отмечает британский историк Д.Лоу, Содружество представляет собой не просто еще одну, “меньшую по размерам ‘Организацию Объединенных Наций’”. ООН — это организация правительств. Содружество же есть нечто большее” [Low 1993: 336].

Но уже с 1960-х годов Британское Содружество не без оснований стали сравнивать со Священной Римской империей времен позднего средневековья. Его деятельность во многом приобрела формальный, ритуальный характер. Сущест-

вовавшие прежде связи и отношения оказались радикальным образом нарушены. В адрес Содружества посыпались обвинения в том, что оно “не обладает силой, необходимой для принятия решений, не имеет веса, является ‘жерновом на шее’, ‘пустопорожней церемонией’, ‘клубом бывших однокашников’”. Одновременно начали высказываться сомнения по поводу целесообразности его дальнейшего существования [см. Blackwell Encyclopaedia 1993: 120-121].

Не состоявшись как политическое и культурно-историческое целое, Британское Содружество долго не могло обрести себя и в качестве полноценной международной организации с четко зафиксированными интересами участников. Французский политолог К.Кольяр писал по этому поводу на рубеже 1970-х годов: “Существующие между государствами Содружества связи одновременно и прочны, и хрупки, часто трудно осязаемы и, во всяком случае, не подлежат чисто юридическому анализу. С точки зрения тех авторов, которые рассматривают эволюцию Британской империи как процесс распада федерации, в настоящее время эта дезинтеграция достигла крайних пределов” [Кольяр 1972].

Действительно, к тому времени Содружество перестало быть цельным образованием — многие прежние связи давно распались. Не могло оно служить и гарантом безопасности для входивших в него государств, подтверждением чему стали события 1983 г. в Гренаде. Более того, оно оказалось не способно предотвратить возникновение острых конфликтов между странами-участницами. Вопреки надеждам тех, кто некогда стоял у истоков Содружества, оно не стало единым блоком государств — ни в военном, ни в политическом отношении.

Справедливости ради необходимо отметить, что в период после распада империи (т.е. до окончания основной фазы постимперской адаптации) Британское Содружество не только устояло, но и существенно укрепило свой авторитет среди других международных организаций и союзов. В частности, оно в немалой степени способствовало распространению демократических порядков и институтов в бывших британских владениях. Важную роль в этом отношении сыграло фактическое исключение ЮАС из состава Содружества в 1961 г. Инициаторами такой акции выступили азиатские и африканские члены союза, и уже сам тот факт, что бывшая метрополия и “белые” доминионы, отказавшись от “расовой солидарности”, посчитались с их требованием, имел принципиальное значение для будущего организации. Однако глубинный смысл этого шага раскрылся относительно недавно, когда на юге Африки пал режим апартеида и ЮАР начала плавно переходить к демократии*. Возвращение ее в состав Содружества стало наиболее ярким показателем признания мировым сообществом произошедших там демократических перемен.

Данный прецедент позволил устоять позиции, применить эффективные политические санкции и по отношению к диктаторским режимам в бывших “туземных” колониях. На 43 парламентской Ассамблее стран — членов Содружества, состоявшейся в сентябре 1997 г., с гордостью отмечалось, что “парламентская демократия в Содружестве укоренена сильнее, чем в любой другой подобной международной группировке”. Если в 1991 г. военные или однопартийные режимы действовали по меньшей мере в девяти из входивших в него государств, то к концу 1990-х годов они сохранились только в Нигерии и Сьерра-Леоне [Parliamentarian 1998: 47]. Повышение престижа членства в Содружестве привело к тому, что заявки на вступление в эту организацию поступают даже от стран, никогда не являвшихся колониями Великобритании**.

* Считается, что в близком к современному значении термин “содружество” был впервые использован будущим премьер-министром Великобритании лордом Розбери во время визита в Австралию в 1884 г. К началу первой мировой войны этот термин уже имел широкое хождение. Немалую роль в его дальнейшей популяризации сыграли Я.Смэтс, Б.Шоу и ряд других английских деятелей науки и культуры.

** В начале 1990-х годов в Содружество входили 50 весьма несхожих между собой государств. Констатируя этот факт, профессор Д.Лоу, возглавляющий “смэтсовскую” кафедру в Кембриджском университете, отмечал: “Взятые вместе, они заключают в себе четверть населения земного шара и составляют треть общего числа существующих в мире национальных государств. При любой калькуляции, они образуют огромный международный конгломерат, который не имеет себе равных” [Low 1993: 333].

* Более 50 экспертов из стран Содружества оказывали помощь ЮАР в организации выборов 1994 г., которые впервые проводились на основе всеобщего и равного избирательного права. Около 100 специалистов из 19 государств работали там и позднее, помогая южноафриканцам в осуществлении демократической трансформации [Parliamentarian 1998: 48].

** Именно с реализацией данной модели многие российские политологи связывают и перспективы развития СНГ. Так, еще в 1992 г. А.М.Салмин высказывал мысль о том, что “союз с национальным контролем и регулированием нужен в первую очередь для защиты прав личности и прав народов” [Салмин 1992: 55]. Однако сейчас, как и в начале 1990-х годов, политики мало прислушиваются к такому мнению.

Примечательно, что “ренессанс” Британского Содружества проходит в условиях, когда прежняя имперская политическая система давно отошла в прошлое, а бывшая метрополия уже не в состоянии претендовать на роль абсолютного лидера.

В целом приходится признать, что ни один проект трансформации империи в содружество так и не был в полной мере реализован. Еще никому не удалось преобразовать систему “центр — периферия” или “метрополия — колонии” в добровольную ассоциацию стран и народов, сохранив при этом позитивный потенциал империи — ее мощь, престиж, возможность аккумулировать ресурсы и осуществлять грандиозные проекты и т.д. Но как бы в дальнейшем ни складывалась судьба содружеств, возникающие по поводу них иллюзии облегчают тем, кто продолжает исповедовать имперскую систему ценностей, процесс адаптации к новым условиям. По признанию Лоу, специфическое значение Содружества для Британии состояло в том, что оно смягчило “травму перехода к постимперской эре” [Low 1993: 335]. Аналогичную роль сыграло СНГ в первые годы после крушения СССР.

Фактором, способствующим адаптации, оказывается и *обращение к историческим прецедентам возрождения империй*. Исторические реминисценции призваны подкреплять веру в обратимость происходящего. Так, в дни распада СССР Алкснис, обосновывая неизбежность восстановления державы, приводил, в частности, следующий аргумент: “Вспомним историю. В семнадцатом году наше государство тоже могло распасться на части. Ситуация во многом сходная”. Примечательно, что в качестве дополнительного довода в пользу реальности повторения прежнего сценария приводились и различия в ситуации — “тогда не было двух объединяющих нас факторов: единого экономического пространства, единой экономики и не было советского народа” [Алкснис 1991].

БРЕМЯ ИМПЕРСКИХ И ПОСТИМПЕРСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Процесс распада империи обычно сопровождается большим напряжением сил и значительными потерями для метрополии и той части общества, которая служила опорой имперским структурам. Последствия безуспешных попыток сохранить империю проявляются во многих сферах жизнедеятельности, осложняют нравственно-психологический климат в обществе, порождают проблемы на международной арене. “В целом можно утверждать, что вся послевоенная история Франции вплоть до середины 1960-х годов была отмечена глубоким негативным воздействием болезненного распада французской колониальной империи и вызванных им социально-экономических и политических последствий”, — утверждает историк П.П.Черкасов [Черкасов 1985]. Аналогичный вывод, безусловно, справедлив и по отношению к ряду других стран, служивших ядром имперских образований.

Постепенное, не “скачкообразное” избавление метрополии от колоний при слабом внешнем воздействии может означать, в первую очередь, утрату имперских преимуществ. Бывшая метрополия, выполняя прежние обязательства, вынуждена брать на себя заботу об обороноспособности, безопасности, экономическом развитии новых независимых государств, оказывать им гуманитарную помощь, готовить специалистов и т.д. В практическом плане такие действия не приносят метрополии видимой пользы, а при серьезных экономических трудностях подобная трата усилий и средств вызывает раздражение внутри страны. Содружество обходится весьма дешево.

Особенно острые проблемы возникают в связи с наплывом иммигрантов, которых притягивает в метрополию более высокий, чем в ее бывших владениях, уровень жизни. Подобную экономическую иммиграцию облегчают упрощенные правила пересечения границ в постимперском пространстве. Например, в Великобританию на рубеже 1950 — 1960-х годов ежегодно прибывало около 100 тыс. афро-азиатских переселенцев. По меткому замечанию новозеландского историка Д.Макинтайра, мультикультурность нынешнего англий-

ского общества стала “прошальным подарком Империи постимперской Британии” [McIntyre 1998: 132].

Все увеличивающееся число иммигрантов, воспитанных в иной культурной традиции и привыкших к иному образу жизни, неизбежно провоцируют в бывшей метрополии расовую и межнациональную напряженность. Это способствует росту праворадикальных политических сил, но одновременно выбивает почву из-под ног у традиционных “империалистов”, заставляя консервативные круги быстрее адаптироваться к изменившейся ситуации, вырабатывать новую систему ценностей. Иными словами, наплыв иммигрантов из стран-сателлитов способствует росту не столько реваншистских и экспансионистских, сколько изоляционистских настроений. Вероятно, ничто так не дискредитирует имперское наследие в глазах жителей метрополии, как приток нежелательных иммигрантов.

КРУШЕНИЕ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ В НОВЫХ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВАХ

На смену эйфории приходит отрезвление. Не является исключением и националистическая эйфория, возникающая как реакция на распад империи, тем более что ни о каком экономическом процветании вновь образованных стран (по крайней мере, сразу после обретения ими независимости) не может быть и речи, так как разрыв прежних связей и разрушение внутреннего рынка империи закономерно порождают системный кризис и требуют серьезной трансформации общественных отношений.

После окончательного краха империи существенно уменьшается интерес мирового сообщества к тем народам, которые ранее оказывали наибольшее сопротивление метрополии. Сокращается и поддержка, оказываемая этим народам державами — соперницами империи. Так, в начале 1990-х годов центральные российские газеты (с явным удовлетворением, а иногда и злорадством) писали о “конце геополитической Балтии”. Поэтому повышение формального статуса страны может сопровождаться снижением статуса фактического. “Проигравшие” империалисты в бывшей метрополии и “победившие” националисты в новых независимых государствах сталкиваются, таким образом, со схожими проблемами — падением авторитета страны и необходимостью заново встраиваться в систему мировых отношений.

Возьмем, к примеру, ситуацию в Грузии. Как отмечает публицист М.Стуруа, в советские времена в республике распространился миф о том, что она якобы ежегодно отдает в союзный бюджет двадцать миллиардов рублей, а получает из него только пять. Если бы это представление отражало реальное положение вещей, то обретение независимости привело бы к значительному повышению благосостояния Грузии. Однако после распада Советского Союза стала очевидна реальная конкурентоспособность производимых в республике товаров и услуг. Не принесла независимость и геополитических выгод. В результате, говоря словами Стуруа, “привилегированный доминион советской коммунистической империи превратился буквально с ночи на утро в евроазиатские задворки” [Стуруа 1995: 132-133].

Подобное развитие событий отрезвляюще действует на националистов. Недаром публицист М.Лайков, в черных красках рисуя портрет “незалежной” Украины 1996 — 1997-х гг., напоминает разговоры кануна выхода из СССР: “В два года озолотимся! В два года” [Лайков 1998].

Сложное экономическое положение и другие трудности, с которыми сталкиваются добившиеся независимости страны, не только дают радетелям империи повод для морального реванша, но и подкрепляют у них иллюзию обратимости процесса имперского распада. Иными словами, возрождение консервативного сознания в бывшей метрополии и других постимперских государственных образованиях связано не столько с неудачами, сколько с успехами вышедших из империи народов, поскольку такие успехи разрушают надежду на возможность возврата к старому порядку.

УЧАСТИЕ КОНСЕРВАТИВНЫХ СИЛ В ПОЛИТИЧЕСКОМ “ОБУСТРОЙСТВЕ” ПОСТИМПЕРСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Противоречивость и неустойчивость процессов в постимперском пространстве порой позволяет сторонникам прежней империи получить власть в каком-либо из новых независимых государств. При этом проимперски настроенные группы или отдельные лидеры, не отказываясь от лозунгов восстановления державы, все же вынуждены считаться с изменившимися условиями и правилами ведения политической игры.

Двоякий смысл, с точки зрения постимперской адаптации консерватизма, имеет появление “заповедников” империи. С одной стороны, их существование укрепляет надежду на обратимость происшедшего и может активизировать деятельность в этом направлении. С другой стороны, если социальные и экономические параметры “заповедника” невелики (либо очевидно, что на восстановление империи рассчитывать не приходится), то он выполняет функцию сохранения имперских традиций, символики, ритуалов, идеологии и т.д.

В условиях глубокого политического раскола российского общества во второй половине 1990-х годов, имевшего, помимо прочего, и территориальную конфигурацию, закономерным выглядело предположение, что “раздробление большого государства позволит каждой частичке создать такой политический режим, какой больше устраивает местное население” [Комсомольская правда 1998]. Подобные мотивы сыграли существенную роль и при принятии решения о разделении Чехии и Словакии на рубеже 1992 — 1993 гг.

У проблемы временного реванша консервативных сил есть и иное измерение. После “обвала” империи во главе вновь образовавшихся национальных государств нередко оказываются политики “имперской формации”: вспомним хотя бы контр-адмирала бывшего имперского флота М.Хорти, возглавившего ставшую сухопутной Венгрию, или остзейского немца, царского генерала К.Г.Маннергейма, ставшего лидером независимой Финляндии. Можно привести немало и других примеров того, как политические деятели, военные, теоретики и проповедники, состоявшие на службе у прежней империи и более чем лояльные к ней, в дальнейшем занимали высокие посты в независимых государствах. Если абстрагироваться от случаев откровенного политического приспособленчества, следует констатировать, что создание нового государственного аппарата открывает возможности для реализации многих карьеристских устремлений и деловых инициатив, а это, в свою очередь, сказывается на степени приверженности прежнему политическому идеалу.

Короче говоря, постимперское развитие молодых государств способствует крушению иллюзий — как национально-демократических, освободительных, так и имперских. Весьма показательно в этом отношении следующее рассуждение латышского литератора И.Аузиня:

“Они проиграли, мы не выиграли” — это единственное, по-моему, исчерпывающее название для очерка о событиях последних лет.

Борьба в большой мере еще впереди.

Они проиграли, мы не выиграли... Может быть, поэтому одни не ощущают радости победы, а другие — драмы побежденных?

Сейчас, вполне возможно, среди мнимых ‘побежденных’ больше ликования, чем среди ‘победителей’; чем плохо на теплом местечке при меньшей ответственности? Как много знакомых лиц!” [Аузинь 1996: 150].

ПОСТИМПЕРСКИЕ КОМПЕНСАЦИИ

Утраченное державное величие, подорванные позиции на мировой арене могут хотя бы частично быть компенсированы “выигравшей” стороной. Необходимость такого рода “компенсаций” осознавалась еще во времена Венского конгресса и со всей очевидностью была доказана развитием событий в Германии в период между первой и второй мировыми войнами. Удачным, но редким примером “компенсации”, с моей точки зрения, является перемещение на запад “центра тяжести” польского государства после второй мировой

войны*. Присоединение к Польше новых территорий, на большую часть которых она имела весьма сомнительные исторические права, сразу умерило пыл польских национал-патриотов, требовавших земель, вошедших в состав Украины, Белоруссии и Литвы. Это в немалой степени облегчило их “адаптацию” к установившемуся в стране просоветскому режиму и частичной утрате ею суверенитета. Интересно, что через сорок с лишним лет, когда данный режим пал, волна националистических и “реставрационных” настроений в Польше оказалась менее мощной и продолжительной, чем можно было ожидать (особенно по сравнению с Латвией или Эстонией).

Однако поскольку далеко не всегда “под рукой” имеется столь же “провинившееся” (и слабое) государство, как тогдашняя Германия (за счет которой и была предоставлена “компенсация” Польше), приведенный случай во многом уникален. Возможности для “компенсации” обычно ограничены. Укрепившиеся в результате распада империи державы не забывают о собственных интересах. Кроме того, любое их действие в отношении бывшей метрополии вызывает острую реакцию у других стран, образовавшихся на постимперской территории.

Курьезным примером такого рода могут служить исторические параллели, проводимые одним из современных украинских историков: “Похоже на то, что трагические события преддверия второй мировой войны и дальнейшая экспансия сталинской империи до самого центра Европы ничему не научили наследников ‘мюнхенцев’ 1930-х годов. Те, кто на Западе, как в свое время Чемберлен, Даладье и, очевидно, Рузвельт, не хотят или не могут понять, что рано или поздно усилиями Грачевых или Жириновских, Руцких или Хасбулатовых, Зюгановых или Лебедей, и тех имперских сил, что стоят за их спиной, Россия, как уже было не раз на протяжении веков, вновь поднимется на ноги и вновь ее военно-промышленный комплекс найдет способы ‘открыть окно в Европу’. На шаткую основу поставлены не только целостность, суверенитет и независимость Украины. Из-за таких умов сохраняется угроза для безопасности и независимости Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, народов Прибалтики, бывшей Югославии; раз уж Россия целиком солидаризируется с великодержавными амбициями великосербских шовинистов, что мечтают о возрождении балканской империи Тито и Карагеоргиевичей, а страны бывшего СССР и бывшего СЭВ просто считают сферой своего влияния” [Трубайчук 1994: 99-100]. Логика нарастающего противоборства мешает принимать взвешенные решения, учитывающие интересы сторон, выработать продуманную программу постимперской компенсации.

ОДНОВРЕМЕННЫЙ РАСПАД НЕСКОЛЬКИХ ИМПЕРСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

В 1917 — 1918 гг. пали три крупнейшие европейские державы — Россия, Германия и Австро-Венгрия. Тогда же окончательно рухнула Османская империя. Важно отметить, что, хотя все эти страны принимали участие в первой мировой войне, военные неудачи сопутствовали процессам распада, но не были их причиной.

После второй мировой войны развал колониальных держав, прежде всего — британской и французской, тоже происходил почти синхронно. Более того, их элиты даже обменивались опытом, советовались друг с другом**, предпринимали совместные действия против национально-освободительных движений (Суэцкий кризис). Но все усилия, затраченные на спасение имперских систем от распада, оказались тщетными. Интересно, что и эти империи, являвшиеся давними соперниками — партнерами, принадлежали к одному типу.

* Эта идея активно обсуждалась лидерами держав антигитлеровской коалиции. И хотя в ее реализации был заинтересован прежде всего Советский Союз, в наиболее четкой форме она, как известно, была сформулирована У.Черчиллем.

** Например, в конце 1940-х — начале 1950-х годов в британских политических кругах обсуждалась идея о превращении Индокитая в доминион в рамках Французского Союза.

Одновременность событий позволяла проимперски настроенной части общества сделать вывод о неизбежности происходящего, о некоем "велении времени". Поэтому безрезультатные попытки силового подавления освободительного движения в одной империи вполне могли удержать правящие круги другого государства от масштабного применения насилия в критической ситуации. Так, малоэффективные войны, которые вела Франция в Индокитае, а затем в Алжире, оказали серьезное сдерживающее воздействие на британские власти, не допустившие развязывания подобных вооруженных конфликтов в своих колониальных владениях.

В этом смысле условия для "преодоления травмы", вызванной крушением СССР, оказались крайне неблагоприятными. Разделение Чехословакии и дезинтеграция Югославии скорее негативно, чем позитивно повлияли на процесс адаптации "державников" России и других бывших республик Союза к новой ситуации. Чехословакия была одной из "неформальных" частей советской империи, а после "развода" со Словакией Чехия сразу же превратилась в главного кандидата на вступление в НАТО. Югославия при Тито представляла собой мини-державу, потенциально относившуюся к зоне советского влияния, — нечто вроде непокорного вассала, периодически переходящего от бунта к фронде в отношениях с сеньором. Ожесточенные межэтнические конфликты на территории бывшей Югославии привели к значительному усилению американского присутствия на Балканах. Таким образом, распад этих государств только усилил в России чувство "ущемления державного достоинства".

Определенным утешением отечественным державникам мог служить тот факт, что СССР — далеко не единственная в истории империя, потерпевшая крах. Вскоре после распада СССР Д. Драгунский, проводя параллели с крушением других великих мировых держав — державы Александра Македонского, Римской империи, Османской Порты, Австро-Венгерской и Британской империй, с некоторой долей сожаления, но достаточно спокойно констатировал: "наступил черед и Рима Третьего" [Драгунский 1992: 21].

Неудивительно, что ностальгирующая по СССР часть общества с явной симпатией реагирует на малейшие — подлинные или мнимые — проявления сепаратизма в странах Запада. Большая информированность о происходящих там процессах децентрализации, о кризисных моментах в развитии различных государственных образований, вероятно, могла бы позитивно сказаться на адаптации российских державников.

Показательно, что быстрый распад Советского Союза был воспринят на Западе как окончательное подтверждение исторической обоснованности и неизбежности деколонизации. Драма СССР оправдывала и затмевала схожие послевоенные процессы: "События 1989–1991 гг. почти полностью отодвинули британские рубежные даты — 1947–1948, 1959–1961, 1967–1968 — в историческую тень" [McIntyre 1998: 105–106].

* * *

Учет факторов постимперской адаптации консервативного сознания создает реальные предпосылки для корректировки этого процесса с помощью осознанного и целенаправленного воздействия на него. Главное — понять, могли ли попытки державно-имперского строительства привести в современных условиях не только к кратковременным успехам, но и к значимым результатам?

- Алкснис В. 1991. И все-таки я верю. — *Советская Россия*, 11.12.
 Аузинь И. 1996. Эхо — еще не душа. — *Дружба народов*, № 11.
 Геллер М. 1997. *История Российской империи*. Т. 3. М.
 Драгунский Д. 1992. Имперская судьба России: финал или пауза. — *Век XX и мир*, № 1.
 Кольяр К. 1972. *Международные организации и учреждения*. М.
 Комсомольская правда. 1998. 26.11.
 Лайков М. 1998. Гуляй, Украина! — *Москва*, № 4.
 Львин Б. 1990. Долой империю! Задачи национально-освободительной антиимпериалистической борьбы на современном этапе. — *Век XX и мир*, № 8.

Несостоявшийся юбилей. 1992. М.

- Подвинцев О.Б. 1999. Сложности постимперской адаптации консервативного сознания: постановка проблемы и опыт классификации. — *Полис*, № 3.
 Салмин А.М. 1992. Союз после Союза. Проблемы упорядочения национально-государственных отношений в бывшем СССР. — *Полис*, № 1 — 2.
 Стуруа М. 1995. Сапожки царицы Тамары. — *Дружба народов*, № 12.
 Трубайчук А. 1994. *Містер з парасолькою*. Невіл Чемберлен. Київ.
 Черкасов П.П. 1985. *Распад колониальной империи Франции. Кризис французской колониальной политики в 1939–1985 гг.* М.
 The Blackwell Encyclopaedia of Political Science. 1993. Oxford.
 Low D. A. 1993. *Eclipse of Empire*. Cambridge.
 McIntyre W.D. 1998. *British Decolonisation, 1946–1997. When, Why and How Did the British Empire Fall?* L.
 The Parliamentarian. 1998.
 Smuts J.C. 1942. *Plans for a Better World*. L.

...Ощущение возможной реальности
следует ставить выше ощущения реальных возможностей.

Р.Музиль

“Времена, в которые мы живем, полны угроз и опасностей. Но мы настолько занялись собственными делами, что, в конце концов, утратили представление о сложности окружающего нас мира... В истории трудно найти другой период, когда люди смотрели бы в будущее с такой неподдельной тревогой. В самом деле, это похоже на возврат к средним векам, когда разум человека был обвят страхом перед наступлением нового тысячелетия...” [Римский клуб 1997].

Слова, процитированные выше, принадлежат А.Печчеи, основателю и первому президенту Римского клуба; они были произнесены еще в середине 60-х годов ушедшего века — как раз накануне *“вступления в фазу новой метаморфозы всей человеческой истории”* (З.Бжезинский), *“великого перелома”* (Р.Диес-Хохлайтнер — нынешний президент Римского клуба) или даже *“мировой революции”* (И.Валлерстайн). Уже тогда разгорались дискуссии о перспективах современной цивилизации, о необходимости внесения серьезных коррективов в стратегию ее развития, о стоящих перед человечеством глобальных проблемах, о конфигурации социального космоса, о контурах грядущего мира. В те годы формировалась также новая концепция социальных наук, в основу которой были положены принципы междисциплинарного подхода к анализу возникающей реальности, долгосрочного прогноза развития ситуации и планетарного охвата множасьей феноменологии перемен.

Иначе говоря, речь шла о глобальной трансформации всего сложившегося миропорядка и параллельно — о серьезном осмыслении нового социального универсума...

Сейчас, на пороге наступившего века, можно, кажется, подвести некоторые предварительные итоги происшедшего глобального сдвига. Очевиден также рост интереса к *“планированию истории”*, к глубинным смыслам социального бытия. Нас равно интригуют и дальняя перспектива*, и объемная ретроспектива истории, приоткрывающие ее сокровенную суть, *“мы... оглядываемся назад, ища причин, либо смотрим в будущее, ожидая свершений”* [Милош 2000: 62]. Посему не случайно и почтительное семантическое изменение в наименовании актуального рубежа эпох: от *fin de siecle* к *fin de millenium*.

Множественность перемен вкупе с энергией информационной революции порождают, однако, своего рода *“техническую проблему”* сохранения целостности социального знания, постижения всего разнообразия интеллектуального контекста, когда даже простой учет увеличивающихся исследований и точек зрения по актуальным проблемам современности становится все более трудновыполнимой задачей. В самом конце уходящего тысячелетия о контурах новой цивилизации, о своем видении будущего общества сочли необходимым высказаться многие из ведущих исследователей социальной перспекти-

НЕКЛЕССА Александр Иванович, заместитель директора Института экономических стратегий (ИНЭС), заведующий лабораторией ИАФ РАН. © А.И. Неклесса.

* Вот по необходимости весьма краткий список трудов последнего десятилетия, оценивающих новые горизонты общества (помимо упомянутых в других местах статьи): [Sakaya 1991; Reich 1992; Kennedy 1993; Drucker 1993, 1994, 1996; Thurow 1993; McRae 1995; Heilbroner 1995; Schwartz 1996; Hopkins, Wallerstein et al. 1996; Cannon 1996; Easterlin 1996; de Santis 1996; Gibson 1997; Dertouzos 1997; Celente 1997; Hesselbein, Goldsmith, Beckhard (eds.) 1997; Yergin, Stanislaw 1998; Hesselbein, Goldsmith, Beckhard, Schubert (eds.) 1998; Hammond 1998].

вы: [см. Naisbitt 1995; Toffler A, Toffler H. 1995; Huntington 1996; Galbraith 1996; Thurow 1996; Castells 1996 — 1998; Brzezinski 1997; Luttwak 1998; Wallerstein 1998; Etzioni 1999; Fukuyama 1999; Giddens 2000 и др.]. Среди дискуссионных проблем современности такие ключевые феномены, как глобализация*, социальный постмодерн**, хозяйственная трансформация мира***, интенсивное развитие информационной экономики (или, как ее стали определять, *knowledge-based economy*)****, наконец, генезис *“новой экономики”* в США*****. В последние годы публикуется также значительное число работ об Азиатско-Тихоокеанском регионе, о становлении там комплементарного пространства индустриальной цивилизации — Нового Востока, преимущественно на просторах Восточной и Юго-Восточной Азии*****.

При всем том процессы, разворачивающиеся на планете, вряд ли можно считать однозначными, тем более легко прочитываемыми. Социальные, политические, экономические мутации образуют новые понятийные конструкции, структура звеньев которых в каждом отдельном случае вроде бы ясна, но общий смысл — темен, а механизм действия нередко обескураживает. Осмысление глобальной трансформации мира является сейчас едва ли не основным интеллектуальным занятием гуманитарного научного сообщества. Так, например, в поствестфальской системе международных отношений помимо многочисленных частных изменений происходит мутация самой номенклатуры данных отношений, понимаемых как *inter-national relations*, т.е. сфера компетенции исключительно национальных государств, этого специфического продукта эпохи Нового времени. Расширившееся поле международных связей Нового мира представляет в настоящий момент гораздо более диверсифицированную систему взаимодействия самых разнообразных источников глобального влияния, или *intra-global relations*.

К началу нынешнего века на планете отчетливо проступили контуры иной, монополярной геометрии. *“Окончание тысячелетия совпадает с периодом, когда преимущество Америки превратилось в доминирование, — констатировал в 2000 г. Г.Киссинджер. — Никогда прежде ни одна страна не достигала такого преобладающего положения в мире и в столь многих областях деятельности, начиная от производства вооружений до предпринимательской активности, от технологических достижений до массовой культуры”* [Kissinger

* Перечислю лишь малую толику работ, опубликованных в это время и связанных с темой глобализации мира: [Robertson 1992; Dicken 1992; Carnoy, Castells, Cohen, Cardoso 1993; Dunning 1993; Ohmae 1994; Barber 1995; Waters 1995; Ohmae (ed.) 1995; Hirst, Thompson 1996; Sassen 1996; Solingen 1998; Burtless, Lawrence, Litan, Shapiro 1998; Kofman, Youngs (eds.) 1998; Michie, Smith (eds.) 1999; Held et al. 1999].

** Среди работ 90-х годов, посвященных социальному постмодерну: [Pfohl 1990; Lash 1990; Giddens 1990; Poster 1990; Inglehart 1990; Rose 1991; 1991; Jameson 1991; Sayer 1991; Featherstone 1991; Lash et Friedman (eds.) 1992; Gellner 1992; Crook, Pakulski, Watters 1992; Beck 1992; Smart 1992; 1996; Touraine 1992; 1997; Callinicos 1994; Bauman 1994; Lyon 1994; Turner (ed.) 1995; Harvey 1995; Bertens 1995; Kumar 1995; Handy 1997; Inglehart 1997; Albrow 1997; Best, Kellner 1997]. На русском языке см.: [Новая постиндустриальная волна на Западе 1999; Глобальное общество: новая система координат 2000].

*** См.: [Davidow, Malone 1992; Dunning 1993; Cline 1995; Etzioni 1996; Caufield 1997; Strange 1997, 1998; Cohen 1998; Taffinder 1998; Halal, Taylor (eds.) 1999].

**** Данная тема стала одной из ведущих в специальной литературе, и потому привести сколько-либо полный список работ, к сожалению, не представляется возможным. Назову следующие: [Crawford 1991; Connors 1993; Boyle 1996; Davenport, Prusak 1997; Stewart 1997; Dertouzos 1997; Sveiby 1997; J.Roos, G.Roos, Dragonetti, Edvinsson 1997; Costtada (ed.) 1998; Neef, Siesfeld, Cefola (eds.) 1998; Coyle 1998; Thurow 1999].

***** См.: [Gordon, Morgan, Ponticell 1994; Danziger 1995; Frank, Cook 1996; Bootle 1996; Chatfield 1997; Galbraith 1998; Koch 1998; Davis, Wessel 1998; Elias 1999].

***** Среди них: [Naisbitt 1996; Pomfert 1996; Weidenbaum, Hughes 1996; Brahm 1996; Drucker, Nakauchi 1997; Hiscock 1997; Naughton (ed.) 1997; Kemenade 1997; Postiglione, Tang (eds.) 1997; Dorn (ed.) 1998; Bernstein, Keijzer 1998; Haley, Tan, Haley 1998; Rowen (ed.) 1998; Katz 1998; Yip 1998; Lee 1998; Harrison, Prestowitz Jr. (eds.) 1998; McLead, Garnaud (eds.) 1998; Gough 1998; Goldstein 1998; Henderson 1999; Godement 1999; см. также в рус. переводе: Накасонэ 2001].

2000]. А С.Бергер, помощник по национальной безопасности 42-го президента США У.Клинтон, выступая тогда же в Национальном клубе печати с докладом “Американское лидерство в XXI веке”, закончил речь следующими словами: “Америка достигла такого уровня, когда по своей силе и процветанию мы не имеем себе равных. Это очень хорошая позиция для вступления в новую эру” [Бергер 2000].

“Кто равен мне в мире сем?” Однако лидерство США в постсовременном мире все чаще связывается с экономическим и военным превосходством и все реже — с превосходством моральным. Критике, в частности, подвергались расхождение между политической риторикой и повседневной практикой американской администрации, ее неумение плавно и гармонично трансформировать декларируемые принципы правления в общепринятые нормы поведения, выражались сомнения в способности США удержать мир от сползания к хаосу и последующему коллапсу.

Действительно, построение универсального сообщества, основанного на началах свободы личности, демократии и гуманизма, на постулатах научного и культурного прогресса, на идее вселенского содружества национальных организмов, на повсеместном распространении модели индустриальной экономики — эти цели и принципы оказались сейчас под вопросом. Напротив, происходит размывание структур гражданского общества, секулярного мироощущения, демократических принципов и процедур, все чаще используемых как камуфляж для совсем не демократической политики. В результате мировое сообщество оказывается перед дьявольской альтернативой: императивом создания комплексной системы глобальной безопасности, “ориентированной на новый орган всемирно-политической власти” или переходом к явно неклассическим сценариям иной, нестационарной модели международных отношений. “Не будет преувеличением утверждение, что в наиболее сознательных кругах западного общества начинает ощущаться чувство исторической тревоги и, возможно, даже пессимизма, — описывает создавшееся положение З.Бжезинский. — Эта неуверенность усиливается получившим широкое распространение разочарованием последствиями окончания холодной войны. Вместо “нового мирового порядка”, построенного на консенсусе и гармонии явления, которые, казалось бы, принадлежали прошлому, внезапно стали будущим” [Бжезинский 1998: 251].

В провозглашенной Америкой “Национальной стратегии для нового столетия” прямо констатировалось, что баланс безопасности в мире динамичен и неустойчив, поскольку подвержен угрозам, опасный потенциал которых “имеет тенденцию к росту”. А Киссинджер в процитированной выше статье, опубликованной, кстати, под характерным названием “Наше близорукое видение мира”, отмечает, что американское общество “в результате окончания холодной войны испытало искушение навязать миру в одностороннем порядке свои предпочтения без учета реакции других народов либо иных долгосрочных издержек данного курса” [Kissinger 2000].

Современная цивилизация переживает универсальную, системную трансформацию и в ряде своих жизненно важных проявлений демонстрирует черты новой эпохи. Вот, пожалуй, главный итог, сухой остаток от многочисленных дискуссий XX в. В конце столетия чаще, чем прежде, можно было услышать и о неприглядных, теневых сторонах Нового мира.

Зародившаяся тревога за будущее цивилизации заставляет напряженно размышлять о признаках катастрофы — все более отчетливых сполохах роковой надписи “мене, текел, фарес” на возводимых конструкциях постсовременного мира. В 90-е годы, в разительном контрасте со схемами *global village* 60-80-х годов, звучат рассуждения о наступлении периода *глобальной смуты* [Brzezinski 1993], о грядущем *столкновении цивилизаций* [Huntington 1993; 1996], об угрозе *планетарного хаоса* [Santoro 1994], о движении общества к *новому тоталитаризму* [Окружное послание папы Иоанна Павла II 1997], о *конце либерализма* [Wallerstain 1995], о капиталистической *угрозе демократии* со стороны не

ограниченного в своем “беспределе” либерализма и рыночной стихии [Soros 1998], о *поражении цивилизации и пришествии нового варварства*... Определенную и характерную трансформацию претерпели взгляды Ф.Фукуямы [см. Fukuyama 1999]. В ряде исследований стала проявляться весьма критичная оценка процесса экономистичной глобализации, указывающая как минимум на его неоднозначность [Barnet, Cavanagh 1994; Martin, Schumann 1997; Greider 1997; Rodrik 1997, 1998; Doremus et al. 1998; Shutt 1998; Gray 1998].

Характер актуальной экономической реальности может быть выражен следующей формулой: *то произведено, что продано, то капитал, что копируется на рынках, а бытие определяется правом на кредит* (неосвоенной пока остается, пожалуй, лишь завершающая логический круг теза: *тот не человек, кто не налогоплательщик*). Ярко проявились такие феномены, как мировая резервная валюта — алхимический кредит последней инстанции; глобальный долг, процентные выплаты по которому служат источником следующих займов; последовательная приватизация прибылей вкупе с социализацией издержек; свобода движения капиталов и параллельно — препоны на путях перемещения трудовых ресурсов; экспорт сверхэксплуатации и манипулирование рынком; управление рисками и хорошо темперированная хаотизация; универсальная коммерциализация жизни и механистичная максимизация доходов без учета состояния социальной среды и хозяйственной емкости биосферы. Кроме того, экономика “вашингтонского консенсуса” оказалась потенциально уязвима для эффекта “глобального домино”.

Серьезные трансформационные процессы развиваются также в сфере культуры. Ее плоды рассматриваются как специфический интеллектуальный ресурс — интернациональное сырье информационно-экономических процессов и проектов. Иначе говоря, происходит декомпозиция культуры с последующей интенсивной эксплуатацией прежних достижений, их произвольной реконструкцией и “оптимизацией” в соответствии с той или иной конкретной задачей (подчас противоположного свойства). Отдельные элементы обширного культурного наследия человечества все шире используются с достаточно утилитарными, “прикладными” целями, превращаясь в компоненты (a la Lego) эклектичного трансформера постсовременной культуры. Особая роль при этом отводится не углублению содержания, а совершенствованию обработки, аранжированию разнородного материала, стратегическая же цель видится не в познании смысла жизни, а скорее в ее системной организации. К тому же создатель культурного объекта нередко заранее учитывает маркетинговую стратегию, встраивая ее компоненты непосредственно в художественную ткань. Весьма схожие процессы развиваются и в науке.

В последние годы чаще звучит тема деконструкции, связанной с глобализацией массовой мифологии, нередко затмевающей драматичные реалии нового мира, скрывающей процесс его осмысления. Глобализация рассматривается теперь более “объемно” — как процесс, объединяющий широкую интеграцию ряда сфер человеческой деятельности и повсеместное распространение определенного цивилизационного стандарта, подчас форсированное. Между тем возникает тема конкуренции различных версий глобализации как основное проблемное поле наступившего века. Кроме того, стало формироваться международное антиглобалистское протестное движение, объединившее несколько сот неправительственных и религиозных организаций и уже проявившее себя в 1999 — 2000 гг. акциями в Сिएтле, а также в Кельне, Лондоне, Бангкоке, Давосе, Вашингтоне, Нью-Йорке и, наконец, в Праге и Ницце. На этом поле столкнулись чрезвычайно различные силы, питаемые совершенно разными источниками...

Глобальное гражданское общество так и не сложилось, более того, его перспективы становятся все более туманными. Теперь, задумываясь о горизонтах и альтернативах современной цивилизации, все чаще приходится размышлять и о вероятности иного, *постглобалистского* конца истории. Современная “археология будущего” (*future research*) подчас напоминает модернизированный

ящик Пандоры. Параллельно развивается *нормативное* прогнозирование, разновидность волевой организации будущего. Переставая быть дочерью социологии и права, политология обретает сегодня новых родителей или, точнее, опекунов в лице стратегического анализа и планирования. Еще Э.Янч, один из отцов-основателей Римского клуба, писал об *“активном представлении будущего”*, или, что то же самое, о *“поглощении прогнозирования планированием”*. Значительно раньше, по-видимому, о том же писал некто К.Маркс, призывая науку перейти от *объяснения* реальности к ее *преобразованию*.

На профессиональной футурологической кухне сейчас пекутся весьма специфические пироги, которые, однако, не всегда доступны публике с улицы. Впрочем, время от времени пара-тройка очередных экзотичных блюд все же предлагается *urbi et orbi*, становясь таким образом “достоянием общественности” и служа темой застольных бесед, пока либо блюдо не остынет, либо повседневность не переменится.

Примерами тут могут служить сюжеты о создании общепланетарной налоговой системы и всемирной *currency board*; об институционализации глобального страхования национальных рисков и долгосрочном планировании динамики и географии ресурсных потоков; о конвертации финансового пузыря в реальные активы и последующем масштабном перераспределении основных фондов; о возможном контрнаступлении мобилизационных и административных проектов; о перспективах радикального отхода некоторых ядерных держав от существующих “правил игры” и более свободного, нежели прежде, применения современных военных средств, в т.ч. в качестве репрессалий; о растущей вероятности демонстрационного использования оружия массового поражения и той или иной формы ядерного инцидента; о транснационализации криминальных структур и превращении терроризма в международную систему; об угрозе универсальной децентрализации международного сообщества и освобождения социального хаоса...

Вот один из тревожных “кухонных” рецептов наступившего века под названием *“Конец эпохи”*: модель развития событий, “перпендикулярная” по отношению к распространенным схемам эры процветания — как Америки, так и мира.

Спазмы практически ежегодных локальных и региональных кризисов на планете, кажется, постепенно ведут к заключительному аккорду современной эпохи — масштабной кризисной ситуации в США. Сброс многих проблем американской экономики во внешний мир — начало чему было положено утверждением уникального статуса доллара как фактически мировой резервной валюты — имеет свою пограничную линию: глобальный фундамент финансовой “пирамиды”. (При толике фантазии и мрачного юмора можно предположить, что нечто подобное как раз и изображено на долларовой банкноте). Данная ситуация была, практически, реализована на планете в 90-е годы прошлого столетия после краха Восточного блока и распада СССР. Кроме того с отменой золотого паритета доллары, утратив объективное измерение, трансформировались, по сути, в акции “корпорации США”, чье обеспечение есть *символическая производная* от общего благосостояния страны (и образа этого благосостояния), а потому оно проблематично, когда речь заходит о “гамбургском счете” и реальных ресурсах.

Соответственно, другой “черный” сюжет современности — крах перегретого американского фондового рынка вследствие специфических проблем современной экономики и растущих диспропорций между экономикой “старой” и “новой” — будет иметь следствием не дефляцию, а инфляцию доллара. При этом основной вопрос для профессионалов даже не в вероятности развития кризиса, а в определении его масштабов и траектории.

Федеральная резервная система и фондовый рынок — мозг и сердце американской экономики. Однако уже не только американской... Учитывая замыкание Америки на себя основных экспортных и финансовых потоков планеты, кризис, судя по всему, имеет шансы стать общемировым. В условиях коллапса мировой торговли автоматически возрастают роль протекционизма, значени-

национальных ресурсов и производственных мощностей, что, наряду с валютной лихорадкой, стимулирует глобальное перераспределение собственности и “новый реализм” в отношении особо значимых фондов. Возможности же повторного комплексного сброса энтропии вовне лежат теперь для США в значительной мере в области не столько финансовых, сколько военно-политических технологий. Тень этого “сломанного горизонта” можно при желании опознать в нетрадиционных для Америки перипетиях последней президентской кампании — открытой борьбе за право управлять стратегией и траекторией кризиса.

Еще один актуальный продукт политологической кухни получил недавно весьма характерную этикетку — *“Второй ядерный век”*.

Как писал во влиятельном журнале “Foreign Affairs” профессор Йельского университета П.Брекен: “Созданному Западом миру (уже) брошен вызов... в культурной и в философской сферах. Азия, которая стала утверждаться в экономическом плане в 60-70-х годах, утверждается сейчас также в военном аспекте” [Foreign Affairs 2000]. Выдвигая тезис о наступлении “второго ядерного века” — т.е. ядерного противостояния вне прежней биполярной конфигурации мира, — американский политолог характеризует его следующим образом: “Баллистические ракеты, несущие обычные боеголовки или оружие массового поражения, наряду с другими аналогичными технологиями сейчас доступны, по крайней мере, десятку азиатских стран — от Израиля до Северной Кореи, и это представляет собой важный сдвиг в мировом балансе сил. Рост азиатской военной мощи возмещает о начале второго ядерного века...” [Foreign Affairs 2000].

Еще более резко сформулировал свою позицию Международный институт стратегических исследований (IISS) в ежегодном докладе о тенденциях развития мировой политики. Его вывод: США в целом оказались неспособны претендовать на статус сверхдержавы, а главную угрозу для человечества представляют сейчас региональные конфликты в Азии с участием ядерных держав, вследствие чего человечество *“балансирует на грани между миром и войной”*. Действительно, даже краткое перечисление основных субъектов азиатской военной мощи — Китай, Япония, Северная Корея, Индия, Пакистан, Иран, Израиль, — несмотря на неполноту и явную эклектичность списка, а быть может, именно вследствие этой эклектичности, заставляет лишний раз задуматься о степени безопасности и конфигурации глобальной системы XXI в.

Таким образом, экономистичному менталитету Запада может быть в не столь отдаленном будущем противопоставлен цивилизационный вызов Нового Востока, включающий более свободное, нежели прежде, базирующееся на иной культурной платформе использование современных вооружений. И здесь мы вновь возвращаемся к проблеме ядерной химеры и все чаще возникающим реминисценциям на тему исторической судьбы государств крестоносцев...

...Есть также блюда *“Реориентализация”* и *“Новая мировая анархия”*.

Ш.Перес в исследовании “Новый Ближний Восток” уже обращал внимание на происходящую трансформацию начал современного общества: “До конца XX столетия концепция истории уходила корнями в европейскую модель государственной политики, определявшейся националистическими ценностями и символикой. Наступающая эпоха будет во все большей мере характеризоваться азиатской моделью государственной политики, базирующейся на экономических ценностях, которые предполагают в качестве основного принципа использование знаний для получения максимальной выгоды” [Перес 1994: 188]. Перерождение социальной типологии дополняется демографической ориентализацией мира: вспомним, что в развивающихся странах проживает (по данным на начало 1999 г.) около 5/6 населения планеты и на их же долю приходится 97% его прогнозируемого прироста. Повышается также удельный вес восточных диаспор непосредственно в странах Севера, и одновременно проявляются опасения по поводу перспектив новой волны расовых волнений, особенно в случае серьезных экономических потрясений.

Крышки с некоторых котлов не хочется даже приподнимать (тут вспоминается известный эпизод из “Синей птицы”, только на этот раз предостере-

жения феи Ночи совсем не кажутся фальшивыми). Например, вероятность групповой атаки низколетящими спортивными самолетами, пилотируемыми камикадзе, атомных электростанций индустриально развитых государств. При этом цель полета в случае обнаружения самолета в воздухе может быть декларирована, скажем, как экологическая акция протеста, а на борту публично (с целью выигрыша критически важного времени) заявлено что-либо наподобие отходов этих самых электростанций...

О перспективе же новой мировой анархии заговорили еще несколько лет назад, но скорее как о символической альтернативе новому мировому порядку. Тезис, однако, оказался многомернее и глубже его распространенных публицистических интерпретаций.

Речь идет о поиске собственных, оригинальных начал грядущего строя, о радикально иных прописях взаимодействия человека и общества в меняющейся социальной среде. При этом вспоминаются не только постулаты открытого общества и свободной конкуренции или опыт корпоративизма и солидарности, но также идеи субсидиарности и мысли Прудона, Бакунина, Кропоткина, Чаянова о "локальной самоорганизации"*.

Испытывающая кризис парадигма демократического управления обществом сталкивается в настоящее время с развитием альтернативной системы политических воззрений — набирающей вес концепцией действенного суверенитета личности ("тот маг, кто свободен, знает и действует"), а также сопутствующей ей схемой сетевой, горизонтальной организации социума.

На протяжении истории демократия претерпевала метаморфозы. Очевидно, что демократия рабовладельческого полиса с ее традициями ostracism и модель гражданского общества, ориентированного на соблюдение прав меньшинств, весьма различны. Современный кризис института демократии также имеет не частный, а системный характер: массовое общество потребления заметно отличается от модели гражданского общества Нового времени. Диапазон воздействия на социальные процессы сейчас существенно шире, в т.ч. за счет прогресса технических средств управления массовым поведением, что провоцирует развитие вполне легальных политтехнологий, извращающих и подрывающих такие принципы демократии, как институт народного волеизъявления или публичность политики, превращая их, по сути, в фикцию. В результате все большее распространение как на Мировом Юге, так и на Мировом Севере, — хотя и в разных формах, — получает химера "управляемой демократии": своего рода симбиоз политических декораций демократии и реально действующих механизмов олигархии либо авторитаризма.

Сейчас, при сохранении формальной приверженности принципам демократии, все очевиднее становится вызревание механизма управления, основанного на иных, нежели публичная политика, принципах: примата безличной или прямо анонимной "власти интеллектуальной элиты и мировых банков" как на национальном, так и на глобальном уровне. Институты демократии вытесняются властью иерархии, происходит "постепенное формирование все более контролируемого и направляемого общества, в котором будет господствовать элита... Освобожденная от сдерживающего влияния традиционных либеральных ценностей, эта элита не будет колебаться при достижении своих политических целей, применяя новейшие достижения современных технологий для воздействия на поведение общества и удержания его под строгим надзором и контролем" [Brzezinski 1976: 252]. Во всем этом чувствуется дыхание даже не кальвинистского, а иного, более жесткого, гностического элитаризма.

Демократия действительно организовывала, контролировала и ограничивала власть национального государства, однако ее возможности заметно снижаются в условиях транснационализации мира, роста слабо регулируемых экономических и информационных констелляций, чье политическое влияние и арсенал манипулирования поведением людей выхолащивают саму идею публичной политики. В новом контексте тезис об универсальности и приоритете прав человека становится антиномией политической практики, кодируя две различные ее тенденции. Одну, вполне проявившуюся, — ослабление роли национальных политических институтов и возвышение структур транснациональных. Здесь принцип защиты прав человека служит подчас рычагом для взлома прежней системы политической регуляции. И другую — напрямую связанную со статусом личности, ее претензией на универсальный суверенитет ("человек — личность, а не частица хора"), воплощающуюся сейчас в первых версиях сетевого общества и частично проявившуюся в столь разных феноменах, как, скажем, венчурная экономика или антиглобалистское движение. Самоорганизация тут заменяет иерархию.

Политика, любая примысленная извне политика — в своем сердце ленива, продажна и утопична, она проектирует гиперреальность коллективного бессознательного либо гротеск. Предприниматели в сравнении с ней сама трезвость: они строят мир, в котором люди живут, а не грезят. Их рефлексорное целеполагание — деятельный здравый смысл, а оргструктура рынка — сама по себе минимально необходимая и максимально достаточная политика. И одновременно — анархия..., ибо, являясь самодостаточным, рынок естественным образом отрицает необходимость иной власти.

Планирование здесь основано на индивидуальном риске, это обдуманый и персональный шаг в бездну: союз — доброволен, добровольно даже "партерство в безумии", переходящем в прорыв или крах (в бизнесе свой реестр как свершившихся, так и тотально обанкротившихся "безумных идей"); социальная политика — модус реального состояния человеческого сердца, но никак не бюрократическая аллегория. Политическая же (демократическая) власть видит во всех этих материях прекрасные резоны ("PR-опции") для самооправдания; она инстинктивно тянется к риторике и демагогии как профессиональная дубинка, будучи порой буйно сентиментальной. Временами она тяготеет к шаржу или тому, что "читателям газет" представляется шаржем; нагуливая подчас в разряженной атмосфере *облагодетельствованных граждан* ("наситесь, мирные народы, к чему стадам дары свободы?") очередную и нередко тоталитарную по своим последствиям утопию.

Фантазеры, впрочем, давно проникли и в рыночную среду. Пользуясь финансово-денежной магией, этим действенным аналогом умозрительной "игры в бисер", они выстраивают собственные воздушные замки, разворачивают свою *neverending story* алхимического кредитного замысла и лабиринтообразную картографию нескончаемых платежей. А когда утихомирность окружающего мира серьезно поколеблена, утопия сменяется готической *fantasy* условно управляемого хаоса и хорошо продуманного, но в конечном итоге столь же ограниченного по своим возможностям страхования рисков.

В сущности, сама по себе демократия безлична и неконструктивна, более того, она творчески стерильна, о чем писал уже Герцен (хотя первым в этом ряду следует поставить, наверное, Аристофана с его лысым и выжившим из ума Демосом), плодотворна же кооперация личностей, их "заговор" — "проект": все последующее зависит от состояния душ "заговорщиков". Постсовременная Демократия может быть охарактеризована и как уплощенная соборность — соборность, из которой изъята суверенная личность, — этой своей стороной напоминая управляемую общину с ее трайбалистскими инстинктами и бессмысленными ритуалами. Данный изъян демократии стремится компенсировать, делегируя власть, приглашая "варягов", однако делает это все более несовершенным образом и уже не вполне самостоятельно.

* "Двадцатый век стал свидетелем целой серии бунтов против секулярно-либерально-капиталистической демократии. Эти бунты потерпели поражение, но источники, питающие подобные бунты, остаются", — пишет известный американский интеллектуал И.Кристалл. Подобные "кампредкновения" ("problematics of democracy") существуют, по его мнению, и в США, включая в себя "тоску по сообществу, духовности, растущее недоверие к технологии, перепутавшиеся понятия свободы и вседозволенности и многое другое" [цит. по Ошеров 2001: 184].

Подобная аргументация, в силу различных причин маргинальная, “подозрительная” и совсем неактуальная еще лет десять назад, ныне обретает второе дыхание в мире идей новой оргструктуры рынка и схем сетевого общества.

Кардинальные перемены в мировоззренческом строе, в общественной психологии для нас на деле ничуть не менее важны, чем содержание материальной, событийной жизни общества, ибо они-то, в конечном счете, и являются тем основным, определяющим фактором социальных революций, который инициирует грандиозные трансформации экономического и политического статуса мира. Именно изменение состояний души и ума, появление альтернативных мировоззрений, а на их основе — влиятельных интеллектуальных концептов, вселенских социокультурных проектов, воплощавшихся затем с той или иной мерой полноты, разрывали инерцию бытия, порождая его новые устойчивые формы...

И здесь наше внимание привлекает еще один, словно бы начертанный на древнем пергаменте, рецепт сумрачной кухни, рецепт на этот раз несколько иного рода, хранящийся в дальнем углу, под ярлыком “*Постхристианская цивилизация*”.

Прежняя конструкция цивилизации претерпевает на протяжении всего XX в. серьезную трансформацию, постепенно сокращая и утрачивая свой исторический горизонт. Социальное творчество наступившего века характеризуется интенсивным продвижением нового поколения исторических проектов, международных систем и социальных мотиваций, полностью отринувших существовавшие культурные корни и исторические замыслы, но при этом вполне воспринявших внешнюю оболочку современности, ее поступательный цивилизационный импульс. Начала же, порядки и целеполагания прежнего миропорядка подвергаются при этом фундаментальной ревизии, и то специфическое, что одухотворяло его институты, со временем, пожалуй, будет вновь — как когда-то, в первые века нашей эры — легитимно обитать в сердцах и нигде более.

Иной культурно-исторический геном эпохи социального Постмодерна утверждает сейчас на планете собственный исторический ландшафт, политико-правовые и экономические реалии которого заметно отличны от аналогичных институтов общества Модерна. Несостоявшееся духовное и социальное единение планеты на практике замещается ее хозяйственной унификацией. А место гипотетичного мирового правительства, действующего на основе принципа объединения наций, фактически занимает безликая, анонимная экономистичная власть. Сегодня в лоне мирового сообщества складывается универсальный трансформер *Pax Oeconomica*, объединяющий на основе доступного всем языка прагматики светские и посттрадиционные культуры различных регионов планеты.

Рожденная на пороге третьего тысячелетия неравновесная и эклектичная конструкция Глобального Града есть, таким образом, продукт постмодернизационных усилий и совместного творчества всех актуальных персонажей современного мира. Первые плоды глобализации имеют странный, синтетический привкус, а ее конструкции, являясь универсальной инфраструктурой, подчас напоминают мегаломаническую ирригационную систему, чьи каналы обеспечивают растекание по планете уплощенной информации и суррогата массовой культуры. В результате распространение идеалов свободы и демократии нередко подменяется экспансией энтропийных, понижающихся стандартов в различных сферах жизни; поток же истории между тем вливается в новое русло.

Духовный кризис цивилизации привел к расщеплению модернизации и вестернизации на обширных пространствах Третьего мира. В результате традиционная периферия евроцентричного универсума породила ответную цивилизационную волну, реализовав повторную встречу, а затем и синтез поднимающегося из вод истории неотрадиционного Нового Востока с постхристианским Западом. Культура христианской Ойкумены, все более смещаясь в сторону вполне земных, материальных, человеческих, даже слишком человеческих ценностей, столкнулась с рационализмом и практичностью неотрадици-

онного общества, успешно оседлавшего к этому времени блуждающую по миру волну утилитарности и прагматизма.

Процессы демодернизации — это также второе дыхание духовных традиций и течений, отодвинутых когда-то в тень ценностями и реалиями общества Модерна; взглядов и воззрений, иной раз прямо антагонистичных по отношению к культурным основам Нового времени, но выходящих сейчас на поверхность то в виде разнообразных неоязыческих концептов, плотно насытивших культурное пространство западного мира, то как феномен возрождения и прорыва квазифундаменталистских моделей (а равно и соответствующих политических схем) на обширных просторах бывшей мировой периферии. На планете дует свежий ветер. Как почти две тысячи лет назад, в начале нашей эры, речь идет о новом глобальном проекте, новом универсальном мире, новом интернациональном сообществе.

История вышла за пределы Мира Модерна. На планете возник контур иной универсальной цивилизации, содержащей, однако, в своей симфонии странно знакомые обертоны. Мир древний, *античный* из мира предшествующего в чем-то существенном становится, кажется, миром наследующим, миром-предводителем. При этом место традиционных, охранительных по своей природе и страшщихся будущего культур занимает энтузиазм динамичной и устремленной в будущее идеологической конструкции. Глубинная страсть этого Нового мира — элитаризм, избранничество, основа социальной конструкции — вселенское неравенство, духовное зерно — освобожденный от многочисленных пут, сияющий *гнозис*... “*И будете как боги, знающие добро и зло*”.

Так в приходе III тысячелетия, в контексте цивилизованного взаимодействия, тайного соперничества, открытых столкновений схем мироустройства и культурных архетипов складывается многомерный и пока еще окутанный дымкой утреннего тумана Новый мир наступившего века.

Бергер С. 2000. Американское лидерство в XXI веке. — *Компас*, № 5.

Бжезинский З. 1998. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. М.

Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме). 2000. (отв. ред. А.И. Неклесса). СПб.

Милош Ч. 2000. О конце света. — *Новая Польша*, №1.

Накасонэ Я. 2001. Государственная стратегия Японии в XXI веке. М.

Новая постиндустриальная волна на Западе. — Иноземцев В.Л. (ред.). *Антология. М. Окружное послание “Evangeliū Vitae” папы Иоанна Павла II о ценности и нерушимости человеческой жизни*. 1997. — Париж-М.

Ошеров В. 2001. Глобализация или глобализаторство? — *Новый мир*, №1.

Перес Ш. 1994. Новый Ближний Восток. М.

Постиндустриальный мир: центр, периферия, Россия. Сборники 1, 2, 3. 1999. — Серия “Научные доклады”, № 91, № 92, № 93. М.

Римский клуб. 1997. История создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы. М.

Albrow M. 1997. *The Global Age. State and Society Beyond Modernity*. Stanford (Ca.).

Barber B.R. 1995. *Jihad vs. McWorld. How Globalism and Tribalism Are Reshaping the World*. N.Y.

Barnet R.J., Cavanagh J. 1994. *Global Dreams, Imperial Corporations and the New World Order*. N.Y.

Bauman Z. 1994. *Intimations of Postmodernity*. L., N.Y.

Beck U. 1992. *Risk Society: Toward a New Modernity*. L., Thousand Oaks.

Bernstein D., de Keijzer A. 1998. *Big Dragon. China's Future: What it means for Business, the Economy and the Global Order*. N.Y.

Bertens H. 1995. *The Idea of the Postmodern: A History*. L., N.Y.

Best S., Kellner D. 1997. *The Post-Modern Turn*. N.Y., L.

Bootle R. 1996. *The Death of Inflation. Surviving and Thriving in the Zero Era*. L.

Boyle J. 1996. *Shamans, Software and Spleens. Law and the Construction of the Information Society*. Cambridge (Ma.), L.

Brahm L.J. 1996. *China as № 1. The Superpower Takes Central Stage*. Singapore.

* В свое время христиане называли себя *moderni*, чтобы отличить от обитателей прошлого, ветхого мира — *antiqui*. Античный мир есть мир противоположный христианскому: *анти-мир* (корень здесь именно такой).

Brzezinski Z. 1976. *Between Two Ages. America's Role in the Technotronic Era*. N.Y.
 Brzezinski Z. 1993. *Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century*. N.Y.
 Brzezinski Z. 1997. *The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives*. N.Y.
 Burtless G., Lawrence R.Z., Litan R.E., Shapiro R.J. 1998. *Globophobia. Confronting Fears about Open Trade*. Wash.
 Callinicos A. 1994. *Against Postmodernism. A Marxist Critique*. Cambridge.
 Cannon T. 1996. *Welcome to the Revolution. Managing Paradox in the 21st Century*. L.
 Carnoy M., Castells M., Cohen S.S., Cardoso F.H. 1993. *The New Global Economy in the Information Age: Reflections on Our Changing World*. University Park (Pa.).
 Castells M. 1996 — 1998. *The Information Age: Economy, Society and Culture*. Vol.1 — 3. Malden (Ma.), Oxford (UK).
 Caufield C. 1997. *Masers of Illusion. The World Bank and the Poverty of Nations*. N.Y.
 Celente G. 1997. *Trends 2000. How to Prepare for and Profit from the Changes of the 21st Century*. N.Y.
 Chatfield Ch.A. 1997. *The Trust Factor. The Art of Doing Business in the Twenty-First Century*. Santa Fe (Ca.).
 Cline W.R. 1995. *International Debt Reexamined*. Wash.
 Cohen D. 1998. *The Wealth of the World and the Poverty of Nations*. Cambridge (Ma.), L.
 Connors M. 1993. *The Race to the Intelligent State*. Oxford (UK), Cambridge (Ma.).
 Costada J.W. (ed.). 1998. *Rise of the Knowledge Worker*. Boston (Ma.), Oxford.
 Coyle D. 1998. *The Weightless World. Strategies for Managing The Digital Economy*. Cambridge (Ma.).
 Crawford R. 1991. *In the Era of Human Capital. The Emergence of Talent, Intelligence and Knowledge as the Worldwide Economic Force and What It Means to Managers and Investors*. L., N.Y.
 Crook S., Pakulski J., Watters M. 1992. *Postmodernisation. Change in Advanced Society*. L.
 Danziger S., Gottschalk P. 1995. *America Unequal*. N.Y., Cambridge (Ma.).
 Davenport T.H., Prusak L. 1997. *Information Ecology. Mastering the Information and Knowledge Environment*. N.Y., Oxford.
 Davidow W.H., Malone M.S. 1992. *The Virtual Corporation. Structuring and Revitalizing the Corporation for the 21st Century*. N.Y.
 Davis B., Wessel D. 1998. *Prosperity. The Coming Twenty-Year Boom and What It Means to You*. N.Y.
 Dent H.S., jr. 1998. *The Roaring 2000s*. N.Y.
 Dertouzos M.I. 1997. *What Will Be. How the New World of Information Will Change Our Lives*. N.Y.
 Dicken P. 1992. *Global Shift: The Internationalization of Economic Activity*. L.
 Doremus P.N., Keller W.W., Pauly L.W., Reich S. 1998. *The Myth of the Global Corporation*. Princeton.
 Dorn J.A. (ed.). 1998. *China in the New Millennium: Market Reforms and Social Development*. Washington.
 Drucker P. 1993. *Post-Capitalist Society*. N.Y.
 Drucker P. 1994. *The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society*. New Brunswick, L.
 Drucker P. 1996. *Landmarks of Tomorrow*. New Brunswick, L.
 Drucker P.F. 1999. *Managing Challenges for the 21st Century*. N.Y.
 Drucker P.F., Nakauchi I. 1997. *Drucker on Asia. A Dialogue between Peter Drucker and Isao Nakauchi*. Oxford.
 Dunning J. 1993. *Multinational Enterprises in a Global Economy*. Wokingham.
 Dunning J.H. 1993. *The Globalization of Business*. L.
 Easterlin R.A. 1996. *Growth Triumphant. The Twenty-First Century in Historical Perspective*. Ann Arbor.
 Elias D. 1999. *Dow 40,000. Strategies for Profiting from the Greatest Bull Market in History*. N.Y.
 Etzioni A. 1999. *The End of Privacy*. N.Y.
 Etzioni A. 1996. *The New Golden Rule*. N.Y.
 Featherstone M. 1991. *Consumer Culture and Post-Modernism*. L.
Foreign Affairs. 2000. January-February.
 Frank A.G. 1998. *ReOrient. Global Economy in the Asian Age*. Berkeley, L.
 Frank R.H., Cook P.J. 1996. *The Winner-Take-All Society. Why the few at the Top Get So Much More Than the Rest of Us*. L.
 Fukuyama F. 1999. *The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. N.Y.
 Gellner A. E. 1992. *Postmodernism, Reason and Religion*. L.
 Galbraith J. K. 1998. *Created Unequal. The Crisis in American Pay*. N.Y.
 Gibson R. (ed.). 1997. *Rethinking the Future*. L.
 Giddens A. 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford.
 Giddens A., Hutton W. (eds.). 2000. *On the Edge*. L.
 Giddens E. 1991. *Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age*. Cambridge.

Godement F. 1999. *The Downsizing of Asia*. L., N.Y.
 Goldstein M. 1998. *The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications*. Washington.
 Gordon E.E., Morgan R.R., Ponticell J.A. 1994. *Futurework. The Revolution Reshaping American Business*. Westport, L.
 Gough L. 1998. *Asia Meltdown. The End of the Miracle?* Oxford.
 Gray J. 1998. *False Dawn. The Delusions of Global Capitalism*. L.
 Greider W. 1997. *One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism*. N.Y.
 Halal W.E., Taylor K.B. (eds.). 1999. *Twenty-First Century Economics. Perspectives of Socioeconomics for a Changing World*. N.Y.
 Haley G.T., Tan Ch.T., Haley U.C.V. 1998. *New Asian Emperors. The Overseas Chinese, Their Strategies and Comparative Advantages*. Oxford.
 Hammond A. 1998. *Which World? Scenarios for the 21st Century*. Washington, Covelo.
 Handy Ch. 1997. *The Hungry Spirit. Beyond Capitalism — A Quest for Purpose in the Modern World*. L.
 Harrison S.S., Prestowitz C.V., Jr. (eds.). 1998. *Asia After the "Miracle": Redefining U.S. Economic and Security Priorities*. Washington.
 Harvey D. 1995. *The Condition of Postmodernity*. Cambridge (US)-Oxford (UK).
 Heilbroner R. 1995. *Visions of the Future. The Distant Past, Yesterday, Today, Tomorrow*. N.Y., Oxford.
 Held D. et al. 1999. *Global Transformations*. Stanford.
 Henderson C. 1999. *Asia Falling. Making Sense of the Asian Crisis and Its Aftermath*. N.Y.
 Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (eds.). 1997. *The Organization of the Future*. San Francisco.
 Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Schubert R.F. (eds.). 1998. *The Community of the Future*. San Francisco.
 Hirst P., Thompson G. 1996. *Globalization in Question. The International Economy and the Possibilities of Governance*. Cambridge.
 Hiscock G. 1997. *Asia's Wealth Club*. L.
 Hopkins T.K., Wallerstein I. et al. 1996. *The Age of Transition. Trajectory of the World System 1945-2025*. L.
 Huntington S. 1993. *The Clash of Civilizations*. — *Foreign Affairs*, № 72, Summer.
 Huntington S. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. N.Y.
 Inglehart R. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton.
 Inglehart R. 1997. *Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*. Princeton.
 Jameson F. 1991. *Post-Modernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham.
 Katz R. 1998. *Japan: The System That Soured. The Rise and Fall of Japanese Economic Miracle*. N.Y., L.
 Kemenade W. van. 1997. *China, Hong Kong, Taiwan, Inc*. N.Y.
 Kennedy P. 1993. *Preparing for the Twenty-First Century*. N.Y.,
 Kissinger H. 2000. — *Washington Post*. 10.01.
 Koch R. 1998. *The Third Revolution. Creating Unprecedented Wealth and Happiness for Everyone in the New Millennium*. Oxford.
 Kofman E., Youngs G. (eds.). 1998. *Globalization: Theory and Practice*. L.
 Kumar K. 1995. *From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World*. Oxford (UK), Cambridge (Ma.).
 Lash S. 1990. *Sociology of Postmodernism*. L.-N.Y.
 Lash S., Friedman J. (eds.). 1992. *Modernity and Identity*. Oxford.
 Lee E. 1998. *The Asian Financial Crisis. The Challenge for Social Policy*. Geneva.
 Luttwak E. 1998. *Turbo-Capitalism. Winners and Losers in the Global Economy*. L.
 Lyon D. 1994. *Postmodernity*. Minneapolis.
 Martin H.-P., Schumann H. 1997. *The Global Trap: Globalization and Assault on Prosperity and Democracy*. Pretoria, L.
 McLead R.H., Garnaoud R. (eds.). 1998. *East Asia in Crisis. From Being a Miracle to Needing One?* L., N.Y.
 McRae H. 1995. *The World in 2020. Power, Culture and Prosperity: A Vision of the Future*. L.
 Michie J., Smith J.S. (eds.). 1999. *Global Instability. The Political Economy of World Economic Governance*. L.-N.Y.
 Naisbitt J. 1995. *Global Paradox*. N.Y.
 Naisbitt J. 1996. *Megatrends in Asia. The Eight Asian Megatrends That Are Changing the World*. L.
 Naughton B. (ed.) 1997. *The China Circle. Economics and Electronics in the PRC, Taiwan and Hong Kong*. Washington.
 Neef D., Siesfeld G.A., Cefola J. (eds.). 1998. *The Economic Impact of Knowledge*. Boston, Oxford.
 Ohmae K. (ed.). 1995. *The Evolving Global Economy Making Sense of the New World Order*. Boston.

- Ohmae K. 1994. *The Borderless World. Power and Strategy in the Global Marketplace*. N.Y.
- Pfohl S. 1990. *Welcome to the Parasite Cafe: Postmodernity as a Social Problem*. — *Social Problems*, № 4.
- Pomfert R. 1996. *Asian Economies in Transition. Reforming Centrally Planned Economies*. Cheltenham, Brookfield.
- Poster M. 1990. *The Mode of Information: Poststructuralism and Social Context*. Cambridge.
- Postiglione G.A., Tang J.T.H. (eds.) 1997. *Hong Kong's Reunion with China. The Global Dimensions*. N.Y., L.
- Reich R.B. 1992. *The Work of Nations. Preparing Ourselves to 21st Century Capitalism*. N.Y.
- Robertson R. 1992. *Globalization*. L.
- Rodrik D. 1997. *Has Globalization Gone Too Far?* Washington.
- Rodrik D. 1998. *Globalization and Its Discontents*. N.Y.
- Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L. 1997. *Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape*. N.Y.
- Rose M. 1991. *The Post-Modern and the Post-Industrial. A Critical Analysis*. Cambridge.
- Rowen H.S. (ed.). 1998. *Behind East Asian Growth: The Political and Social Foundation of Prosperity*. L., N.Y.
- Sakaya T. 1991. *The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future*. N.Y., Tokyo.
- Santis H. de. 1996. *Beyond Progress. An Interpretive Odyssey to the Future*. Chicago, L.
- Santoro C. 1994. Progetto di ricarica multi funzionale 1994-1995. — *I nuovi poli geopolitici*. Milano.
- Sassen S. 1996. *Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization*. N.Y.
- Sayer D. 1991. *Capitalism and Modernity*. L., N.Y.
- Schwartz P. 1996. *The Art of the Long View. Planning for the Future in an Uncertain World*. Chichester, N.Y.
- Shutt H. 1998. *The Trouble with Capitalism. An Inquiry into the Causes of Global Economic Failure*. L., N.Y.
- Smart B. 1992. *Modern Conditions, Postmodern Controversies*. L., N.Y.
- Smart B. 1996. *Postmodernity*. L., N.Y.
- Solingen E. 1998. *Regional Orders at Century's Dawn. Global and Domestic Influences on Grand Strategy*. Princeton.
- Soros G. 1998. *The Crises of Global Capitalism. Open Society Endangered*. N.Y.
- Stewart T.A. 1997. *Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations*. N.Y., L.
- Strange S. 1997. *Casino Capitalism*. Manchester.
- Strange S. 1998. *Mad Money*. Manchester.
- Sveiby K.E. 1997. *The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based Assets*. San Francisco.
- Taffinder P. 1998. *Big Change. A Route-Map for Corporate Transformation*. Chichester, N.Y.
- Thurrow L.C. 1993. *Head to Head. The Coming Economic Battle among Japan, Europe and America*. N.Y.
- Thurrow L.C. 1996. *The Future of Capitalism*. L.
- Thurrow L.C. 1999. *Creating Wealth. The New Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy*. L.
- Toffler A., Toffler H. 1995. *Creating a New Civilization*. Atlanta.
- Touraine A. 1992. *Critique de la modernité*. P.
- Touraine A. 1997. *Pourrons-nous vivre ensemble? Egaux et différents*. P.
- Turner B.S. (ed.). 1995. *Theories of Modernity and Postmodernity*. L., Thousand Oaks.
- Wallerstein I. 1995. *After Liberalism*. N.Y.
- Wallerstein I. 1998. *Utopistics, or Historical Choices of the Twenty First Century*. N.Y.
- Waters M. 1995. *Globalization*. L., N.Y.
- Weidenbaum M., Hughes S. 1996. *The Bamboo Network. How Expatriate Chinese Entrepreneurs Are Creating the New Economic Superpower in Asia*. N.Y.
- Yergin D., Stanislaw J. 1998. *The Commanding Heights. The Battle Between Government and the Marketplace That Is Remaking the Modern World*. N.Y.
- Yip G.S. 1998. *Asian Advantage. Key Strategies for Winning in the Asia-Pacific Region*. Reading (Ma.).

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 00-02-00213а.

ПРОБЛЕМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ: ГУБЕРНАТОРСКИЕ ВЫБОРЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Е.В. Попова

Среди современных российских политологов и журналистов широкое распространение получила точка зрения, согласно которой на выборах, особенно региональных, россияне голосуют не за идею, а за личность. Сторонники этой точки зрения убеждены, что фигура кандидата играет гораздо большую роль, чем содержание его предвыборных заявлений. Тем не менее гипотеза о том, что программная риторика кандидата является значимым фактором успеха и позиционирование кандидата по интересующим избирателей проблемам способно привести к его победе или поражению, полностью не опровергнута.

В настоящей статье я попытаюсь определить, в каких случаях и насколько важны для электорального успеха артикулируемые кандидатами проблемы, как влияет на выбор программных стратегий логика электорального соревнования. С этой целью на основе анализа ряда программных документов, выдвинувшихся в ходе выборов глав региональной исполнительной власти (губернаторов), будут идентифицированы значимые для кандидатов проблемы, выявлены сходства и различия программных стратегий конкурирующих сторон, а затем проведено межрегиональное сравнение программной риторики претендентов на губернаторский пост. При этом я буду исходить из предположения о том, что риторика является одним из главных ресурсов кандидатов, которым они могут манипулировать в зависимости от предпочтений избирателей, интересов элитных групп и электоральных стратегий своих соперников.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Большинство исследователей, изучающих электоральное поведение российских избирателей, отталкиваются от предложенной С.Липсетом и С.Рокканом [Lipset, Rokkan 1990] модели расколов [см., напр. Шевченко 1998; Rose, Tikhomirov, Mishler 1997; Wyman 1996]. Согласно такому подходу, электоральное поведение индивида детерминировано его социальной позицией, системой социальных сетей. Основным объясняющим понятием в данной концепции предстают исторически складывавшиеся структурные конфликты на социальном уровне, которые «замораживаются» в политической системе и определяют структуру политического соревнования и электоральных предпочтений. В рамках указанного подхода политические элиты и политические институты рассматриваются в качестве простых посредников в артикуляции интересов социальных групп.

Несмотря на широкую популярность концепции расколов, ее эвристический потенциал, по оценке многих специалистов, довольно ограничен. Прежде всего, как отмечает критики, остается открытым вопрос: почему одни расколы становятся политически значимыми, а другие — нет [Schattschneider 1964; см. также Гельман 2000]. Кроме того, будучи сформулирована для обществ с устоявшимися социальными структурами, она демонстрирует весьма слабую объясняющую способность при анализе электоральных процессов в посткоммунистическом мире, в частности при изучении поведения российских избирателей [см., напр. Голосов 1997].

Более продуктивными, по крайней мере в российских условиях, представляются модели проблемного голосования в рамках пространственной (spatial) те-

Попова Евгения Владимировна, аспирант факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге.

ории выборов [Downs 1957; Enelow, Hinich 1984; Ordeshook 1986; Riker 1990; Grofman 1993; Hinich, Munger 1997]. В основе данного подхода лежит концепция Э.Даунса, согласно которой избиратель, осуществляя электоральный выбор, руководствуется двумя соображениями: во-первых, близостью своих проблемных позиций к артикулируемым тем или иным кандидатом и, во-вторых, подсчетом возможных выгод от будущей деятельности последнего [Downs 1957]. Сторонники указанной концепции исходят из того, что в выборах участвуют два типа рациональных акторов — избиратели и кандидаты, которые ориентируются на достижение личного интереса. Кандидаты конкурируют за голоса избирателей, предлагая им некие альтернативные модели будущего, а избиратели оценивают кандидатов в зависимости от степени соответствия таких картин мира своим личным интересам. В ходе избирательной кампании кандидаты пытаются занять проблемную позицию, которая бы позволила им завоевать большинство голосов. Разумеется, кандидат не в состоянии контролировать все факторы, но те из них, на которые он может повлиять, будут использоваться им для достижения электорального успеха. Другими словами, в соответствии с классической пространственной теорией электоральные стратегии кандидатов обуславливаются логикой электоральной конкуренции, а также представлениями о предпочтениях избирателей: именно отталкиваясь от таких представлений кандидат определяет и декларирует свою проблемную позицию. Это положение рассматриваемой теории и положено в основу моего исследования.

Тем не менее проблемный подход тоже не бесспорен и нередко подвергается критике со стороны приверженцев теорий неопределенности [Ordeshook 1989; Hinich, Munger 1994; Alvarez 1997]. Сторонникам данной концепции кажутся неубедительными, в частности, тезисы об объективности проблемных позиций политических акторов, а также о том, что артикулируемые в ходе предвыборной кампании установки детерминируют действия политика после победы на выборах. Ставится под сомнение и предположение об осведомленности электората о позициях кандидатов, равно как и постулат о симметричности распространения информации. Кроме того отмечается, что данная концепция могла бы работать только в том случае, если бы каждый избиратель имел собственную позицию по каждой проблеме и знал позиции всех кандидатов по всем проблемам.

Развивая мысль Даунса о дороговизне информации и нежелании рядового избирателя нести необходимые для ее получения затраты, сторонники теории неопределенности указывают, что для последнего могут оказаться чрезмерными даже расходы на осмысление бесплатной информации. Поэтому, по их мнению, в ситуации неопределенности и асимметричного распространения информации избиратели, делая свой выбор, руководствуются не идеологическими соображениями. В соответствии с этим строятся и стратегии кандидатов. Одной из таких стратегий может быть выражение *неопределенных, двусмысленных позиций* по интересующим электорат вопросам [Downs 1957; Ordeshook 1989]. Подобная стратегия обусловлена стремлением кандидата привлечь к себе максимальное число сторонников при незнании точного расположения позиции медианного избирателя. Однако она не снимает проблему дороговизны получения и интерпретации информации. В связи с этим ряд авторов [см., напр. Hinich, Munger 1994; Alvarez 1997; Glasgow, Alvarez 2000] считает более эффективным выдвигание на первый план *личности кандидата*. Как подчеркивают Г.Глазгоу и Р.М.Альварес [Glasgow, Alvarez 2000], неуверенность избирателей относительно проблемных позиций политиков (в частности, вследствие нежелания нести соответствующие расходы) требует более простых критериев оценки кандидатов. Таким критерием являются личностные качества, ибо для их оценки достаточно стратегий, используемых индивидом в повседневной жизни, при общении с окружающими его людьми. Вместе с тем, поскольку поиск информации о личности кандидатов — тоже весьма затратное предприятие, некоторые ученые, исходящие из концепции ретроспективного голосо-

ния, полагают основной стратегией *позиционирования "инкумбент-оппонент"* [см. Fiorina 1981]. Подобная стратегия строится вокруг характеристик инкумбента/оппонента, причем занимаемое кандидатом положение трактуется как ресурс, которым он может воспользоваться для достижения победы.

В настоящей работе электоральное соревнование на губернаторских выборах в России анализируется в терминах концепций проблемного голосования и неопределенности. Рассматривая проблемы, артикулируемые в предвыборных документах, я пытаюсь выяснить, в какой степени кандидаты используют стратегии проблемного голосования, а в какой — стратегии неопределенности, а затем на основе межрегионального сравнительного исследования идентифицирую факторы, влияющие на выбор кандидатами тех или иных электоральных стратегий.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ документов. Для выявления проблемных измерений, фигурирующих на губернаторских выборах, были изучены предвыборные документы, представленные основными кандидатами*, прежде всего — их предвыборные программы**. Выделяя последние в качестве главного объекта анализа, я руководствовалась рядом соображений. Во-первых, в предвыборных программах отражены дискуссии по самым актуальным в период избирательной кампании (и, возможно, существовавшим до ее начала) проблемам. Во-вторых, предвыборная программа — один из важнейших источников информации об идеологической позиции кандидата и о тех вопросах, которые кажутся ему наиболее значимыми для электората. Именно посредством программ политик ассоциируется с той или иной позицией, именно в них он излагает свои принципы "от первого лица". Как показывает сравнительный анализ проблемных позиций, артикулируемых в предвыборных выступлениях и интервью, кандидаты, как правило, довольно последовательно защищают свои программные положения. В-третьих, программы определяют значимые в данный момент проблемы и ограничивают их число [Riker 1993: 1]. Они "упрощают и фокусируют комплексный мир политики в терминах собственной политики и точек зрения" [Budge, Robertson, Hearl 1987: 22], тем самым сокращая набор предлагаемых избирателям альтернатив и, соответственно, непоследовательность в предпочтениях электората [McKelvey 1976]. Наконец, изучение предвыборных программ облегчает компаративное исследование электоральной риторики, поскольку обеспечивает сходный материал для анализа [см. Mair 1999; Budge 1994].

При отсутствии программных документов классического типа*** анализировались материалы, помещенные на выделяемом кандидату в соответствии с избирательным законодательством бесплатном рекламном пространстве, — как правило, нечто среднее между автобиографией, отчетом о проделанной работе (в должности губернатора или на каком-то ином посту) и традиционным изложением программных тезисов. Другими словами, речь идет о текстах, представляемых от первого лица и артикулирующих значимые для кандидата в губернаторы темы. Подобные документы обычно гораздо пространнее классических предвыборных программ и состоят из труднорасположимых по размеру предложений, что затрудняет их кодировку. Дополнительные проблемы возникают в случае интервью, когда тематику разговора задает журналист. Поэтому при работе с такого рода материалами анализировались сразу несколько текстов: основной, который рассматривался как программа, отражающая важ-

* В качестве *основных* рассматривались кандидаты, занявшие первое и второе места в электоральной гонке. В случае Свердловской области анализировались также позиции третьего кандидата, уступившего первым двум с небольшим отрывом.

** К данной категории были отнесены документы, декларирующие кандидатами в качестве таковых.

*** В ряде исследовавшихся в настоящей работе случаев основные кандидаты не сочли необходимым представить избирателям свои предвыборные программы.

нейшие позиции кандидата по вопросам экономики, социальной сферы и т.п., и прочие, где затрагивалась тематика, фигурировавшая на выборах, но не представленная в главном документе. Последние исследовались как отдельные документы, и каждый случай их использования специально оговорен.

Методика анализа. При анализе предвыборных материалов частично использовалась методика исследования предвыборных программ, разработанная Я.Баджем и его коллегами [Budge, Robertson, Hearl 1987] на базе модели проблемных структур Д.Робертсона [см. Robertson 1976] и успешно апробированная как самими ее создателями (в ходе кросс-национального сравнения партийных программ в 19 демократических странах), так и рядом других авторов (в частности С.Оатс при изучении программной риторики российских партий на выборах в Государственную Думу в 1993 и 1995 гг. [Oates 1998]). Подобная методика предполагает кодирование предложений по выделенным проблемам относительно количества всех предложений в тексте, а затем построение странственных моделей важнейших проблемных измерений, декларируемых в программных документах, что позволяет фиксировать базовые тенденции развития партийной риторики.

Тем не менее по ряду причин полностью воспользоваться описанной выше методикой оказалось невозможно. Во-первых, вследствие недостаточной разработанности темы применительно к нашей стране отсутствует необходимая для операционализации понятий общепринятая модель анализа проблемных измерений на российских выборах. Во-вторых, поскольку, как уже упоминалось, в некоторых рассматриваемых в настоящей работе случаях кандидаты не представили избирателям свои предвыборные программы*, в качестве таковых рассматривался широкий спектр разных по жанру документов, что существенно затрудняло количественный анализ. В связи с этим при проведении исследования использовалась преимущественно *качественная методология* с элементами количественной обработки данных. Такой подход позволил корректировать исследовательскую стратегию в зависимости от специфики эмпирического материала.

Предложения всех анализируемых в работе программ *кодировались*. Процесс кодирования осуществлялся на основе методики Баджа и его коллег и заключался в вычислении процентной доли предложений по определенной теме в общем объеме всех содержащихся в программе предложений. В исследуемых текстах выделялись категории, представляющие проблемные измерения, презентацию личностных характеристик и стратегии позиционирования кандидатов относительно деятельности инкумбента и позиций друг друга. Не кодируемыми считались вводные предложения, лозунги, заявления типа "моя команда готова к реализации здравых идей и апробированных разработок", не значимые для рассматриваемой проблемы биографические сведения о кандидате.

Выбор случаев. В настоящей работе анализировались губернаторские выборы в пяти регионах, выделенных в соответствии с предлагаемой ниже классификацией. В основу этой классификации были положены такие критерии, как конкурентность/неконкурентность выборов, степень консолидации региональных элит и победа/поражение инкумбента.

Под *конкурентными* здесь понимались выборы, способные привести к переизбранию действующего лидера. Использование данного критерия было обусловлено не только тем, что конкурентность избирательного процесса — ключевая характеристика демократии [см. Даль 1971; Karl, Schmitter 1991], но и тем, что названный показатель влияет на электоральные стратегии, выраженные в предвыборных документах. Конкурсные выборы предполагают реальное соперничество двух или более кандидатов, как правило, представляющих различные партии. Однако в связи с неразвитостью региональных партийных систем [см. Golosov 1998; Gel'man, Golosov 1998] в случае губернатор-

ских выборов конкурентность означает соревнование между двумя (как минимум) элитными группами или правящей элитой и оппозицией.

Указанная категория была операционализирована следующим образом: *неконкурентными* считались выборы, принесшие победителю более 2/3 голосов (в настоящем исследовании — это случай Саратовской области, где на выборах 1996 г. за Д.Аяцкова проголосовали 80,19% избирателей [Выборы 1997]).

Конкурентные выборы, в свою очередь, подразделялись на две группы в зависимости от степени консолидации региональной элиты. По заключению многих элитологов [см., напр. Higley, Gunther 1992] и транзитологов [O'Donnell, Schmitter 1986; Karl, Schmitter 1991], отношения между элитами являются важнейшим фактором политического процесса, и потому я исходила из предположения, что сценарии выборов в регионах будут во многом зависеть от сложившейся там внутриэлитной ситуации. Каждый тип регионов с конкурентными выборами представлен двумя случаями, выделенными на основе третьего критерия классификации — победы/поражения инкумбента.

В *случаях фрагментированной элиты* основным соперником инкумбента выступает представитель местной элиты, как правило председатель законодательного собрания региона или мэр областного центра [см. Туровский 1998; Рыженков 1999]. Именно в такой ситуации стремление мобилизовать в свою поддержку максимальное количество голосов приводит к трансляции проблем на социетальный уровень. В настоящем исследовании данная категория регионов представлена Свердловской областью (на выборах 1999 г. победил действующий губернатор) и Санкт-Петербургом (выборы 1996 г. окончились поражением инкумбента).

В *случаях консолидированной элиты* (на конкурентных выборах) действующему губернатору противостоит политик, являющийся аутсайдером для региональной элиты: либо представитель местной оппозиции, либо деятель национального масштаба (например, А.Лебедь в Красноярском крае или А.Рущкой в Курской области). В данной статье рассматриваются выборы 1995 г. в Нижегородской области и 1996 г. в Псковской области (первые закончились победой, вторые — поражением инкумбента).

Таблица 1

Типология изучаемых регионов

	Неконкурентные выборы	Конкурентные выборы	
		Консолидированная элита	Фрагментированная элита
Инкумбент победил	Саратовская область (1996 г.)	Нижегородская область (1995 г.)	Свердловская область (1999 г.)
Инкумбент проиграл	_____	Псковская область (1996 г.)	Санкт-Петербург (1996 г.)

При отборе *конкретных случаев* я руководствовалась, во-первых, доступностью региональной прессы, где осуществлялся поиск программных материалов, а во-вторых, наличием программ либо документов, которые можно было рассматривать в качестве таковых*. Классические программы были представ-

* Следует отметить, что при проведении своего кросс-национального исследования Баджу и его коллегам тоже приходилось сталкиваться с ситуацией отсутствия артикулированных предвыборных программ [см. Budge, Robertson, Hearl 1987].

* Разумеется, ситуация полного отсутствия каких-либо программных документов — сама по себе интересна и может быть предметом специального анализа [см. Ньюман 1998], однако для решения задач, поставленных в настоящем исследовании, наличие программ основных кандидатов было обязательным.

лены на выборах в Санкт-Петербурге и в Свердловской области, в других случаях анализировались документы, опубликованные на обязательном рекламном пространстве. Больше всего неcodированных предложений содержалось в манифестах А.Чернецкого*, Е.Михайлова и В.Туманова. В Саратовской области рассматривалась программа только действующего губернатора (Д.Аяцкова), поскольку в региональных изданиях мне не удалось найти ни программы, ни интервью, ни каких-либо других материалов его соперника (А.Гордеева)**. Во всех остальных случаях исследовались программы двух основных кандидатов, в Свердловской области — трех.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Анализ изучаемых случаев пространствовался в соответствии с критериями внутризлитных отношений*** и победы/поражения инкумбента.

Критерий внутризлитных отношений оказался весьма значимым как для определения стратегий кандидатов, так и для итогов выборов. Исследование показало, что в случае *неконкурентных выборов* (Саратовская область, 1996 г.) программные стратегии инкумбента не играют существенной роли, губернатор строит свою риторику, не оглядываясь на возможных соперников, проблемные измерения практически не артикулируются. В то же время пример Саратовской области демонстрирует, что программные документы представляются избирателям и при неконкурентных выборах — прежде всего в целях легитимации результатов последних. Таким образом, в ситуации неконкурентности предвыборные программы способствуют дальнейшему укреплению недемократических тенденций в регионе, усиливая позиции правящей группы.

Незначительную роль играют проблемные измерения и в регионах с *консолидированной элитой* (Нижегородская и Псковская области), где они могут оказаться вообще не представленными в программных документах основных кандидатов (Псковская область). Единственная тема, которую не в состоянии обойти губернатор (а, как показало исследование, именно он пользуется преимуществом в определении проблемных позиций [см. Polsby, Wildavsky 1971; Enelow, Hinich 1984] и формировании идеологической риторики, относительно которой выстраивается электоральная борьба), — это структурный, прежде всего экономический, контекст****. По остальным вопросам консолидировавшие элиту инкумбенты могут занимать практически любую проблемную позицию. В подтверждение данного тезиса сошлюсь на опыт Б.Немцова и В.Туманова. Так, Немцов, имевший имидж убежденного реформатора, использовал в ходе предвыборной борьбы гораздо более левую риторику*****, чем его оппонент В.Растеряев, которого поддерживали коммунисты. Примечательно, что такая идеологическая «рокировка» не привела к переориентации реформаторски настроенного электората и перетоку голосов к более «правому» кандидату. Что же касается Туманова, то он при-

* Стремясь предстать перед избирателями фигурой национального масштаба (как и его конкурент — Э.Россель), Чернецкий включил в свой манифест целый ряд предложений, касающихся реформ общенационального уровня, а такого рода предложения не кодировались, ибо не относятся к сфере компетенции региональных властей.

** При неконкурентных выборах отсутствие материалов основного соперника действующего губернатора в региональных СМИ — не столь уж редкое явление. В частности, аналогичная ситуация имела место на губернаторских выборах 1996 г. в Вологодской области.

*** Неконкурентные выборы есть предельный случай консолидации элит.

**** Этой проблеме посвящены 30,8% текста программного документа Туманова и одна из трех публикаций Немцова на бесплатном газетном пространстве. Даже Аяцков, который, по сути, не имел оппонентов, отводит ей 21,6% своей программы.

***** Первым пунктом программы Немцова было установление контроля со стороны администрации области и города, а также акционеров за руководством предприятий; вторым — введение налога на роскошь и сверхдоходы, «чтобы сократить пропасть между богатством и нищетой». В свою очередь, «коммунист» Растеряев делал акцент на том, что нужно не перераспределять, а работать (более подробное сравнение программ Немцова и Растеряева дано в табл. 5-6 Приложения).

бегнул в своей кампании к патриотической риторике партии его основного оппонента Е.Михайлова (ЛДПР), тогда как в программе последнего она практически отсутствовала. Не совсем понятно, что побудило инкумбента «играть на поле противника», заимствуя его лозунги. Не исключено, что Туманов решил представить себя в качестве фигуры не только регионального, но и национального масштаба. Но, скорее всего, он просто стремился привести свою риторику в соответствие с настроениями избирателей, чья оппозиционная, националистическая позиция отчетливо проявилась на федеральных выборах [см. Alexseev, Vagin 1999]. Однако, как показывает этот случай, в ситуации протестной ориентации электората попытки действующего губернатора подладиться под господствующие настроения не дает желаемого инкумбентом результата.

Сравнение программных документов основных кандидатов позволяет утверждать, что при консолидированной элите главным вопросом, вокруг которого строится предвыборная риторика, является деятельность инкумбента. Ведущее место в программных выступлениях Немцова и Туманова занимают «отчеты о проделанной работе», а в программах Растеряева и Михайлова — критика губернаторской власти, причем обе категории кандидатов всячески пытаются выдвинуть на первый план свои личностные качества. Таким образом, в случае консолидации региональной элиты предвыборные программы не играют существенной роли и наиболее значимым оказывается позиционирование «инкумбент — оппонент». Кандидаты могут даже поменяться местами, ибо важным является не то, что говорят, а то, кто говорит.

В случае *фрагментированной элиты* роль артикулируемых проблем намного выше. Хотя и в такой ситуации инкумбент первым выбирает проблемные позиции, ибо он артикулировал их еще до начала кампании [см. Polsby, Wildavsky 1971], его свобода в гораздо большей степени ограничена предшествующей деятельностью, чем при элитной консолидации. Поэтому, выстраивая свою риторику, он вынужден учитывать не только преимущества, но и недостатки инкумбентства. Вместе с тем в данном случае позиционирование инкумбента становится значимым фактором победы/поражения на выборах, поскольку может повлиять на уровень консолидации оппозиции*.

Так, в Свердловской области выбор губернатором Э.Росселем центристской позиции обеспечил ему двоякое преимущество. Во-первых, позиционировав себя в центре лево-правого спектра, он оказался, согласно даунсовской концепции медианного голосования [см. Enelow, Hinich 1984; Ware 1996], в значительно более выгодном положении, нежели его конкуренты. Во-вторых, такое позиционирование привело к фрагментации противостоявших ему сил в рамках лево-правого континуума: два основных соперника инкумбента были вынуждены расположиться по разные стороны от него**, что исключило возможность их объединения в оппозиционную коалицию [см. Laver, Shepsle 1990]. Хотелось бы также обратить внимание на тот факт, что в данном случае установкой одного из основных конкурентов губернатора — мэра г. Екатеринбурга А.Чернецкого — были определены задолго до начала предвыборной кампании, так что третьему кандидату — А.Буркову — пришлось позиционировать себя относительно сразу двух своих соперников, т.е., по сути, занять свободную идеологическую нишу [см. Май 1999]. Подобное развитие событий объяснялось наличием в Свердловской области устоявшейся партийной системы (что отнюдь не типично для российских регионов [см. Gel'man, Golosov 1998]): поскольку каждый кандидат представлял определенную региональную партию, позиции «главных героев» были известны заранее.

* Вероятностный характер данного утверждения обусловлен ограниченностью числа рассмотренных случаев.

** В рамках лево-правого континуума крайне левую позицию (относительно двух других кандидатов) занял А.Бурков, а крайне правую — А.Чернецкий. Более подробное сравнение программных установок трех кандидатов приведено в табл. 5-6.

В Санкт-Петербурге, где региональная партийная система крайне слаба, ситуация сложилась совсем по-другому. Внепартийный характер основных акторов при неразвитости партийной среды позволил оппонентам губернатора образовать коалицию “негативного консенсуса”, свободную от каких-либо идеологических ограничений (что в иных условиях было бы неосуществимо [см. Laver, Shepsle 1990]). Таким образом, уровень развития партийной системы оказывается еще одним значимым фактором, способным повлиять на программную риторику кандидатов (в партийной среде она более четко идеологически определена) и, вероятно, на возможность создания антигубернаторской коалиции.

При сравнении проблемных измерений, артикулированных на выборах в рассматриваемых регионах, обнаруживаются различия в позициях кандидатов по экономическим и социальным проблемам, а также по вопросам централизации/децентрализации (см. табл. 7 Приложения). Показательно, что инициаторами актуализации последнего измерения в обоих случаях выступили соперники действующих губернаторов, отталкивавшиеся от имиджа и прежних заявлений инкумбента. В случае Санкт-Петербурга, мэр которого А. Собчак был известен как лояльный Центру лидер национального масштаба, объектом критики стал образ регионального руководителя, ударившегося в большую политику в ущерб местным делам. В свою очередь, Собчаку, который уже не мог дистанцироваться от своего имиджа, пришлось защищать идею губернатора политика в противовес губернатору-хозяйственнику (около 6% программных высказываний). По-иному развивались события в Свердловской области, где один из двух главных конкурентов Росселя — Чернецкий — обвинил действующего губернатора, выступавшего на предыдущих выборах в качестве лидера движения за децентрализацию, в отходе от провозглашавшихся им принципов. Перехватив эстафету, Чернецкий стал, по сути, воспроизводить прежнюю риторику Росселя по проблемам федерализма, тогда как инкубент акцентировал проблемы межрегионального сотрудничества и объединения усилий всего уральского региона.

В ходе анализа выяснилось, что в регионах с фрагментированной элитой большими шансами на электоральный успех обладают кандидаты, артикулирующие иную, чем у инкумбента, точку зрения по основным проблемам. Данная категория кандидатов представлена в рассматриваемых случаях фигурами Буркова и Яковлева, чья позиция (в т.ч. и в декларировании проблем) по всем важнейшим измерениям (лево-правая шкала, ось “централизация — децентрализация”) практически полностью противостояла губернаторской (сходными были лишь обещания в социальной сфере). Избранные указанными деятелями стратегии проблемной репрезентации были, можно сказать, абсолютно противоположными, однако оба добились хороших электоральных результатов, хотя до выборов не пользовались в своих регионах заметной известностью и популярностью. Более же известный политик Чернецкий, занявший близкую к губернаторской позицию, вопреки всем прогнозам оказался на третьем месте.

Сопоставление исследуемых случаев по *критерию победы/поражения инкумбента* не выявило сколько-нибудь значимого влияния риторических факторов на исход электоральной борьбы в условиях элитной консолидации. Такое влияние прослеживается только в регионах с фрагментированной элитой.

Примеры *поражения инкумбента* представлены выборами в Псковской области и в Санкт-Петербурге. В первом случае неудачу губернатора можно объяснить противоречием между его имиджем реформатора (а именно такой имидж сложился у Туманова в ходе его предшествовавшей деятельности) и оппозиционными, националистическими настроениями избирателей [Выборы 1997; Alexseev, Vagin 1999]. Что же касается Санкт-Петербурга, то, как представляется, Собчак проиграл прежде всего потому, что допустил объединение своих оппонентов в оппозиционную коалицию.

В случаях *победы губернатора* (Нижегородская и Саратовская области) значимыми факторами оказались как способность инкумбента консолидиро-

вать элиту, так и его предшествовавшая деятельность. Выборы в Свердловской области продемонстрировали также важность стратегически правильного позиционирования, позволяющего расколоть оппозицию на два лагеря. Это еще раз свидетельствует о доминирующей роли сформированной инкумбентом проблемной структуры (если таковая имеется) в определении программной риторики губернаторских выборов; о выстраивании проблемных позиций кандидатов не только и не столько в соответствии с характером социальных и элитных расколов, сколько относительно предшествующей деятельности губернатора*.

Практически ни в одном из рассмотренных регионов программы не транслировали конфликты и расколы, существующие в обществе**. Таким образом, можно говорить о том, что для формирования стратегий кандидатов логика электорального соревнования гораздо важнее реальных структурных конфликтов. В подавляющем большинстве исследованных случаев (за исключением Псковской и — в какой-то мере — Саратовской области) логика изложения политическими акторами своих проблемных ориентаций задавалась позицией действующего губернатора, относительно которой были “вынуждены” простраивать свою риторику остальные кандидаты [см. Polsby, Wildavsky 1971]. В то же время выяснилось, что прошлая деятельность ограничивает свободу выбора инкумбентом артикулируемых проблем преимущественно в условиях элитной фрагментации. Однако такое возможно и при консолидации элит — в том случае, если идеологические установки действующего губернатора противостоят настроениям большинства избирателей. В такой ситуации, как показывает опыт Псковской области, электорат может “настоять” на своих позициях. Данное заключение представляется мне весьма важным, так как опровергает мнение тех политических аналитиков, которые полагают, что на выборах в России решающую роль играют экономические и административные ресурсы, а также поддержка Центра.

Таблица 2

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ВЫБОРОВ В ПЯТИ РЕГИОНАХ

Характеристики	Саратовская область	Нижегородская область	Псковская область	Свердловская область	Санкт-Петербург
Консолидированная элита	+	+	+	-	-
Консолидированная оппозиция	Нет оппозиции	+	-	-	+
Наличие проблемных измерений	-	-	-	+	+
Наличие позиционирования “инкумбент-оппонент”	-	+	+	+	+
Избрание инкумбента	+	+	-	+	-

* Данное обстоятельство подтверждает необходимость использования для анализа предвыборной риторики в России моделей неопределенности, в частности работ, исследующих позиционирование кандидатов относительно предшествующей деятельности инкумбентов [см. Fiorina 1981; Alesina, Rosenthal 1994].

** Единственное исключение — Свердловская область, где на электоральный уровень был перенесен внутриэлитный конфликт между региональной и местными властями, который не удалось разрешить ни силовым, ни договорным образом [см. Higley, Gunther 1992; Гельман 1999]. Отражением этого конфликта стало появление в программах Росселя и Чернецкого положений, посвященных проблемам местного самоуправления (2,1 и 8% соответствующих документов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение института выборов само по себе не равнозначно демократизации. Голосование не способно обеспечить действительную конкуренцию элит и программ. Более того, в ряде случаев использование электоральных механизмов иногда ведет к дальнейшему укреплению позиций доминирующей элитной группировки [см. Melvin 1998]. Но такая опасность существует преимущественно там, где элита консолидирована. В регионах с фрагментированной элитой возможны и реальная конкуренция, и реальный, политически значимый выбор.

Исследование показало, что при консолидации элиты предвыборные обещания не являются реальной программой действий власти. В подобных случаях решающую роль обычно играет то, кто говорит, и лишь изредка — что говорят. Наиболее важным критерием, влияющим на исход выборов, оказываются оценки работы действующего губернатора. Программная риторика значима лишь при наличии конфликта элит. Именно в такой ситуации происходит соревнование артикулируемых проблемных измерений, хотя и здесь позиционирование “инкубент — оппонент” не утрачивает своего значения.

Автор благодарит Владимира Гельмана, без которого эта работа не могла бы состояться.

Борисов С.В. 1999. Нижегородская область. — Мацузато К., Шатилов А.Б. (ред.) *Регионы России: Хроника и руководители*. Т. 6. Саппоро.

Выборы глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 1995-1997. *Электоральная статистика*. 1997. М.

Гельман В. 1999. “Сообщество элит” и пределы демократизации: Нижегородская область. — *Полис*, № 1.

Гельман В. 2000. Демократизация, структурный плюрализм и неустойчивый бицентризм: Волгоградская область. — *Полис*, № 2.

Гельман В., Рыженков С. 1998. Политическая регионалистика: от общественного интереса к отрасли знания. — Освальд И. и др. (ред.) *Немецко-российский мониторинг социальных исследований в России*. М.

Голосов Г. 1997. Поведение избирателей в России: теоретические перспективы и результаты региональных выборов. — *Полис*, № 4.

“Май”: дни поражений и побед. 1999. (<http://region.ura.ru>).

Макфол М., Петров Н. (ред.) 1998. *Политический альманах России 1997*. Т. 2. М.

Ньюман Л. 1998. Анализ качественных данных. — *Социс*, № 12.

Политические партии и движения. Свердловская область. 1999. (<http://politics.e-reliz.ru>).

Рыженков С. 1997. Саратовская область (1986-1996): политика и политики. Материалы к политической истории региона. — Мацузато К., Шатилов А.Б. (ред.) *Регионы России: хроника и руководители*. Т. 2. Саппоро.

Рыженков С. 1999. Реформа местного самоуправления в региональном измерении: по материалам из 21 региона Российской Федерации. М.

Туровский Р. 1998. *Политические процессы в регионах России*. М.

Федеральные и региональные выборы и референдумы: Свердловская область. 1999а (http://www.fci.ru/archive/66_2221101_2908.htm).

Федеральные и региональные выборы и референдумы: Свердловская область. 1999б. (http://www.fci.ru/archive/66_2221102_1209.htm).

Шевченко Ю. 1998. Политическое участие в России. — *Pro et Contra*, № 3.

Alesina A., Rosenthal H. 1994. *Partisan Politics, Divided Government, and the Economy*. Cambridge, N.Y.

Alexseev M.A., Vagin V. 1999. Russian Regions in Expanding Europe: The Pskov Connection. — *Europe-Asia Studies*, vol. 51, № 1.

Alvarez R.M. 1997. *Information and Elections*. Ann Arbor.

Budge I. 1994. Estimating Party Policy Preferences: From ad hoc Measures to Theoretically Validated Standards. — *Essex Papers in Politics and Government*, № 139.

Budge J., Robertson D., Heath D. 1987. *Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analyses of Post-war Election Programmes in 19 Democracies*. Cambridge.

Dahl R. A. 1971. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven.

Downs A. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. N.Y.

Enelow J.M., Hinich M.J. 1984. *The Spatial Theory of Voting. An Introduction*. Cambridge, N.Y.

Fiorina M. P. 1981. *Retrospective Voting in American National Elections*. New Haven.

Gel'man V., Golosov G. 1998. Regional Party System Formation in Russia: The Deviant Case of Sverdlovsk Oblast'. — Lowenhardt J. (ed.) *Party Politics in Post-Communist Russia*. L.

Glasgow G., Alvarez R.M. 2000. Uncertainty and Candidate Personality Traits. — *American*

Politics Quarterly, vol. 28, № 1.

Golosov G. 1998. Who Survives? Party Origins, Organizational Development, and Electoral Performance in Postcommunist Russia. — *Political Studies*, vol. 46, № 3.

Grofman B. (ed.) 1993. *Information, Participation and Choice*. Ann Arbor.

Higley J., Gunther R. 1992. *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe*. Cambridge.

Hinich M.J., Munger M.C. 1994. *Ideology and Theory of Political Choice*. Ann Arbor.

Hinich M.J., Munger M.C. 1997. *Analytical Politics*. Cambridge.

Karl T.L., Schmitter P. 1991. Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. — *International Social Science Journal*, vol. 43 (128).

Laver M., Shepsle K. 1990. Government Coalitions and Intraparty Politics. — *British Journal of Political Science*, vol. 20, № 2.

Lipset S.M., Rokkan S. 1990. Cleavage Structures, Party System, and Voter Alignments. — Mair P. (ed.) *The West European Party System*. Oxford.

Mair P. 1990. *The West European Party System*. Oxford.

Mair P. 1999. *Searching for the Positions of Political Actors: A Review of Approaches and an Evaluation of Expert Surveys in Particular*. Paper prepared for the presentation at the ECPR Joint Sessions, University of Mannheim, 26-31 March.

McKelvey R.D. 1976. Intransitivities in Multidimensional Voting Models and Some Implications for Agenda Control. — *Journal of Economic Theory*, № 12.

Melvin N. 1998. The Consolidation of a New Region Elite: the Case of Omsk 1987-1995. — *Europe-Asia Studies*, vol. 50, № 4.

Oates S. 1998. Party Platforms: Towards Definition of the Russian Political Spectrum. — Lowenhardt J. (ed.) *Party Politics in Post-Communist Russia*. L.

O'Donnell G., Schmitter P.S. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore.

Ordeshook P.C. 1986. *Game Theory and Political Theory: an Introduction*. Cambridge.

Ordeshook P.C. 1989. *Models of Strategic Choice in Politics*. Ann Arbor.

Polsby N.W., Wildavsky A.B. 1971. *Strategies of American Electoral Politics: Presidential Elections*. N.Y.

Riker W.H. 1990. Heresthetic and Rhetoric in the Spatial Model. — Enelow J., Hinich M. (eds). *Advances in the Spatial Theory of Voting*. Cambridge.

Riker W.H. (ed.) 1993. *Agenda Formation*. Ann Arbor, Oxford, N.Y., Toronto.

Robertson D. 1976. *A Theory of Party Competition*. Winchester.

Rose U.R., Tikhomirov V., Mishler W. 1997. Understanding Multi-Party Choice: The 1995 Duma Elections. — *Europe-Asia Studies*, vol. 49, № 5.

Schattschneider E.E. 1964. *Political Parties and Democracy*. N.Y.

Ware A. 1996. *Political Parties and Party Systems*. Oxford.

Wyman M. 1996. Development in Russian Voting Behavior: 1993 and 1995 Compared. — *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 12, № 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные кандидаты*

Таблица 3

Выборы	Основные кандидаты	Количество голосов (в %)
Саратовская область (1996 г.)	Аяцков Д. (действующий губернатор)	80,19
Нижегородская область (1995 г.)	Немцов Б. (действующий губернатор)	58,37
	Растеряев В. (предприниматель, поддерживался коммунистами)	26,17
Псковская область (1996 г.)	Туманов В. (действующий губернатор)	36,89 (30,92)**
	Михайлов Е. (депутат Государственной Думы РФ, баллотировался от ЛДПР).	56,46 (22,71)
Свердловская область (1999 г.)	Россель Э. (действующий губернатор, лидер движения «Преображение Урала»)	63,09 (38,80)
	Бурков А. (депутат Свердловской областной думы, выступал под лозунгами Движения за социальные гарантии "Май")	28,26 (18,37)
	Чернецкий А. (мэр г. Екатеринбурга, лидер движения «Наш дом - Наш город»)	(15,5)
Санкт-Петербург (1996 г.)	Собчак А. (действующий губернатор)	45,8 (29)
	Яковлев В. (первый заместитель председателя правительства СПб)	47,5 (21,6)

* Подробнее о рассматриваемых выборах см. [Рыженков 1997 (Саратовская обл.); Гельман 1999, Борисов 1999 (Нижегородская обл.); Слепцов 1997; Alexseev, Vagin 1999 (Псковская обл.); Май 1999; Политические партии 1999; Федеральные и региональные выборы 1999а, 1999б (Свердловская обл.)].

** В скобках указаны результаты первого тура выборов.

Таблица 4

Темы, представленные в предвыборных программах основных кандидатов

Программное положение	Нижегородская обл.		Псковская обл.		Санкт-Петербург		Свердловская обл.			Саратовская обл.	
	Б. Немцов	В. Растеряев	В. Туманов	Е. Михайлов	А. Собчак	В. Яковлев	Э. Россель	А. Бурков	А. Чернецкий	Д. Аяцков	
Всего предложений	47	32	72	45	232	82	308	87	718	110	
Некодифицируемые	4,2%	9,4%	44,5%	41,8%	5%	26,4%	27,5%	3%	41,9%	14,4%	
Экономика	23,3% (с/х - 12,7%)	18,8% (с/х - 9,4%)	1,4%	8,8%	10,8%	7,8%	15%	9,1%	13,9% (5,2% - с/х)	16,2%	
Социальная сфера	17%	21,9% (жилищная программа - 12,5%)	1,4%	4,4%	5,2%	22%	21,1%	11,3%	8,1%	1,8%	
Федеративные отношения	6,4%	5,93%	4,2%	8,8%	1,3%	1,2%	6,1%	1,1%	2,3%	0,9%	
Реформирование правительства	10,6%	17,63%	0	0	8,2% (здесь же - работа с кадрами)	3,7%	3,2%	9%	2%	6,3%	
Хозяйственные вопросы	2,1%	0	0	0	10,8%	7,3%	0	0	0	7,2%	
Местное самоуправление	0	0	1,4%	0	0	0	2,1%	0	8%	0	
Отчет/критика	68,23%	60,23%	30,8%	8,8	20%	21,6%	5,8%	40,2%	14,9%	21,6%	
Другое			9,8% патристическая риторика	поддержка ЛДПР - 17,6%							

Таблица 5

Экономика

Перечень предложений	Нижегородская обл.		Псковская обл.		Санкт-Петербург		Свердловская обл.			Саратовская обл.
	Немцов	Растеряев	Туманов	Михайлов	Собчак	Яковлев	Россель	Бурков	Чернецкий	Аяцков
Бюджетная поддержка и налоговые льготы промышленным предприятиям.	+	+	+	-	+	+	+	отмена	+ льготные стартовые кредиты	адресные дотации
Гос. поддержка с/х предприятий всех форм собственности	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+
Поддержка ВПК: а) продвижение продукции ВПК на внешние рынки; б) требование субсидий от Центра	б	+	-	-	а	-	+	-	-	-
Государственный (муниципальный) заказ	-	+	-	-	+на основе конкурса	+	только оборонный	+	+ на основе конкурса	-
Реформирование налоговой системы	единый налог для малого бизнеса	-	-	-	+	-	+	-	+ преодоление непропорциональности	-
Расширение государственных полномочий по управлению крупными предприятиями	-	-	-	-	-	-	возвращение в собственность государства незаконно приватизированных объектов	возвращение в собственность государства крупных предприятий	-	+
Реформа банковской системы	-	-	-	-	+ сделано	-	-	-	-	-
Привлечение инвестиций	-	-	-	+	+и иностранных	+	+, в т.ч. областных	+ администрация	+	+
Внедрение новых технологий	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Частная собственность на землю	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Пересмотр результатов приватизации	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
Перераспределение средств между богатыми и малообеспеченными	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+ (говорит о несправедливости распределения)
Другое	рынок спирта — монополия	-	-	помощь ориентированных на ЛДПР финансовых структур	-	-	поддержка отечественного товаропроизводителя			торг с крупными монополиями
							сокращение гос. и муниципальных расходов		снижение объема взаимозачетов	

Таблица 6

Социальная сфера

Перечень предложений	Нижегородская обл.		Псковская обл.		Санкт-Петербург		Свердловская обл.			Саратовская обл.
	Немцов	Растеряев	Туманов	Михайлов	Собчак	Яковлев	Россель	Бурков	Чернецкий	Аяцков
Своевременная выплата зарплат и пенсий	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+
Увеличение социального пособия	от Центра	-	-	-	только на малолетних детей	-	+	+	только минимальные пенсии	против
Адресная защита малообеспеченных	-	+	-	-	пенсионеров	+	+	-	+	-
Увеличение зарплат бюджетникам	+	+	-	+	-	+	+	-	+	против
Развитие программ жилья а) для малообеспеченных б) для пенсионеров в) для военнослужащих г) кредиты на строительство	в	+	-	-	г	+	а, г	-	+	-
Компенсация коммунальных платежей	-	-	-	-	контроль за тарифами	+	адресная помощь	-	-	-
а) Защита вкладчиков б) Компенсация утерянных вкладов	+	-	-	-	-	а	б	-	-	-
Бесплатная медицина	+	-	-	-	+ для определенных слоев	-	+	-	минимум платной	-
Защита детей (открытие учреждений для сирот, борьба с детской беспризорностью...)	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Другое									передача соц. сферы на мест. уровень	снизить тарифы, а не увеличивать зарплату

Федеративные отношения

Перечень предложений	Нижегородская обл.		Псковская обл.		Санкт-Петербург		Свердловская обл.			Саратовская обл.
	Немцов	Растеряев	Туманов	Михайлов	Собчак	Яковлев	Россель	Бурков	Чернецкий	Аяцков
Равенство всех субъектов Федерации	-	в налоговом обложении	-	-	-	-	+	-	+	-
Подписание (пересмотр) договора о разграничении полномочий и собственности	-	-	-	-	-	+	сделано	-	+	-
Положительная оценка позиции Центра	-	-	-	-	+	-	-	+	по вопросу усиления власти	+
Критика региональной политики Центра	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-
Своевременное выполнение обязательств Центра перед регионами	+	-	+	+	-	-	-	-	+	-
Развитие межрегионального сотрудничества	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
Добиваться увеличения социальных пособий	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объединение усилий всех уровней власти	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Местное самоуправление	-	-	+	-	-	-	объединение усилий всех уровней власти	-	передача полномочий на местный уровень; критика управленческих округов	-
Другое				личные связи при решении проблем отношений Центра и области					минимальное договорное разграничение	

НАУКА И СМИ

А.В. Юревич

ОЧЕРЕДНОЙ АНТАГОНИЗМ

Взаимоотношения со СМИ — одна из наиболее острых для современной российской науки проблем, ибо именно масс-медиа определяют сегодня уровень общественного внимания практически к любому виду деятельности. Говоря словами известного американского политолога Б.Коэна, «средства массовой информации, может быть, и не добиваются большого успеха в том, чтобы растолковать людям, что думать, но они потрясающе успешно растолковывают им, о чем думать» [цит. по Аронсон 1998: 146]. К этому можно добавить — и о чем не думать. Складывается впечатление, что отечественные СМИ внушают нашему обществу, что ему не надо думать о науке. Их справедливо критикуют за слабый интерес к этой сфере, за исчезновение из прессы, радио-и телепередач научной тематики, пропаганды достижений науки, популяризации научных теорий и открытий [см. Наука в России 1994: 28]*.

Российские масс-медиа нередко упрекают в том, что они смотрят на науку как на товар: если спросом пользуется мракобесие, то именно оно, а не наука, и выбрасывается на информационный рынок. В действительности же отношение СМИ к науке гораздо сложнее. В его основе лежат разнородные экономические и политические интересы тех олигархических групп, с которыми тесно связаны наши СМИ.

Наиболее типичный случай — иррелевантность научных событий политическим интересам. Настоящая наука находится вне политики и, стало быть, безразлична тем, кто занимается политикой. Именно потому двум недавним открытиям, обещающим круто изменить жизнь человечества, — созданию принципиально новой конструкции космического аппарата и изобретению способа обеспечить бессмертие клетки — наши СМИ уделили меньше внимания, чем любому из скандальных высказываний политиков. Причина очевидна: названные открытия не имели выхода на политику, а следовательно, были неинтересны для политизированных СМИ**.

Второй вариант — нейтральность самих событий в ситуации, когда вовлеченные в них персоналии по каким-то причинам перестают восприниматься в качестве политически нейтральных. Вспомним, например, как реагировало НТВ на присуждение Нобелевской премии Ж.Алферову. «Героем» того дня, когда мир узнал имя нового нобелевского лауреата, оказалась ... Хакамада, а следующего (когда Алферов произнес в Думе свою резонансную речь) — Бовин. Правда, в конечном итоге на НТВ все же появилось интервью с Алферовым, однако оно было обрамлено странными рассуждениями о том, что цивилизованные народы уже давно не гордятся присуждением Нобелевской премии, а если мы воспринимаем это иначе, то лишь в силу своей отсталости. И дело тут не в аг-

Юревич Андрей Владиславович, доктор психологических наук, директор Центра науковедения Института истории естествознания и техники РАН.

* Примечательно, что отказ СМИ от научной тематики сопровождался усилением их внимания ко всякого рода астрологам, экстрасенсам и колдунам. В последние годы на одну программу, посвященную науке, приходилось несколько передач типа «Помоги мне, Лилиана» или «Мир чудес Анжелики Эффи», а астрологические прогнозы стали звучать почти так же часто, как и метеорологические. Такая диспропорция переживалась наукой куда болезненнее, чем засилье «мыльных опер», поскольку паранаучный материал не просто инороден, но оппозиционен науке.

** Одно из редких исключений из данного правила — клонирование, однако повышенное внимание к нему, безусловно, связано с тем, что это открытие полностью вписывается в те завораживающие картины будущего, которые уже внушены массовому сознанию фантастическими фильмами и теми же самыми СМИ.

рессивном антисциентизме репортера, а в заявлении лауреата, что “будущее России за наукой, а не за Березовскими и Гусинскими”. Иными словами, как только были упомянуты нежелательным словом медиа-магнаты, событие утратило для телеведущих политическую нейтральность. В результате НТВ породило неожиданную, но довольно симптоматичную для подобной ситуации идеологему: нобелевские премии (в отличие от олигархов) нашему обществу не нужны.

Третий и, пожалуй, самый опасный для науки вариант состоит в целенаправленном формировании антисциентистских настроений, в создании образа отечественной науки как обузы для общества. Эта идеология обычно высказывается не прямо, а в форме рассуждений о том, что у нас слишком много ученых, что науку следует скорее приспособить к рынку, а научные учреждения перевести на самоокупаемость. За такими рассуждениями стоит отчетливо выраженный *антагонизм* между потребностями науки и интересами тех сил, чью точку зрения представляют наши СМИ.

Отечественные СМИ, при всем их разнообразии, можно сгруппировать, принимая во внимание тип олигархов (“сырьевых”, “торгово-финансовых”, “производственных”), которым они принадлежат. Если “производственным” еще могут оказаться близки потребности науки, то интересам двух других категорий медиа-магнатов они чаще всего противостоят. Ведь главным двигателем современной науки служит наукоемкое производство, а для его развития требуется система законов, которая бы стимулировала капиталовложения в эту сферу, делая их более выгодными, чем вывоз сырья и финансовые манипуляции. “Сырьевым” и “торгово-финансовым” олигархам подобные законы, естественно, не нужны. Таким образом, они *объективно* не заинтересованы в развитии науки и, стало быть, в улучшении отношения к ней общества. Это — тот объективный антагонизм, который выше личных вкусов.

64 Существует, конечно, некоторый “зазор” между интересами олигархов и позиции принадлежащих им СМИ, а тем более — конкретных журналистов, многие из которых прошли советскую школу, научившую их держать “фигу в кармане” и “просачиваться” сквозь цензуру. Но музыку все же заказывает тот, кто платит. И если она играет, всегда найдутся желающие станцевать под нее, да и остальные волей-неволей настраиваются на звучащий мотив. Поэтому объективная незаинтересованность в науке “сырьевых” и “торгово-финансовых” олигархов оборачивается политикой “сжимания”, “сокращения”, рыночной “ломки” отечественной науки. Именно эта политика последовательно проводится соответствующими СМИ.

ТЯГА К АНТРЕПРЕНЕРАМ

И все же те, кто обвиняет масс-медиа в полном отсутствии интереса к науке, а то и в стремлении ее уничтожить, не совсем справедливы. СМИ уделяют ей и позитивное внимание, но только тогда и в той мере, в какой это выгодно их владельцам. Так, СМИ регулярно приглашают для комментирования экономических программ, политических решений и других аналогичных событий “титулованных” *экспертов*, имеющих ученые степени. З.Бауман именуется их “учеными-переводчиками”, которые обеспечивают взаимопонимание между “учеными-законодателями”, разрабатывающими новые модели социально-политического устройства, и прочими гражданами, ощущающими на себе результаты реализации этих моделей [Bauman 1987].

В этой почетной роли используется, однако, довольно узкий круг лиц. Подмечено, что к обсуждению в наших СМИ курса рыночных реформ привлечено не более 5% отечественных экономистов. Их имена не сходят со страниц газет, а лица — с телеэкранов. Остальные 95% отстранены от дискуссии. В формировании избранного круга лиц и его вознесении на телевизионно-газетный пьедестал заметную роль играет описанный Р.Мертоном феномен “клики советников”, образуемых на основе “межличностных связей интеллектуалов” [Merton 1968: 264]. Подбирая себе консультантов, ведущие политических телепрограмм обращаются не к наиболее компетентным, а к тем, кто им знаком

и удобен. Те, в свою очередь, рекомендуют журналистам собственных друзей и единомышленников. В результате мы постоянно видим на экранах одни и те же лица. Нетрудно заметить, что у каждого политического обозревателя сложилась собственная “клика экспертов”, причем “референтные круги” разных обозревателей никогда не совпадают. Говоря о политиках, российский политолог А.Макарычев отмечает, что эти “рыцари плаща и кинжала” стараются в минимальной степени привлекать себе в помощники внешних экспертов, предпочитая полагаться на “своих людей” [Макарычев 1994: 42]. То же самое можно сказать и об “оруженосцах” этих “рыцарей”.

Одно из исследований, выполненных в начале 1990-х годов, продемонстрировало, что в современной России перспективы приближения ученых к власти определяются четырьмя факторами. Во-первых, известностью, завоеванной отнюдь не научными заслугами, а регулярными выступлениями в средствах массовой информации. Во-вторых, лояльностью политикам, явно предпочитающим тех интеллектуалов, которые демонстрируют им личную преданность. В-третьих, пробивными качествами самих интеллектуалов, их умением привлечь к себе внимание, протолкнуться поближе к власти, т.е. проявить способности известного персонажа книги “Закон Паркинсона” м-ра Проулеза. И, наконец, умением оказаться в нужное время в нужном месте, предполагая особую “нюх” на то, что и где нужно сделать, дабы власти предержащие тебя заметили. Три последних фактора явно играют основную роль и в сближении “мозгов” со СМИ, в формировании особой когорты “видимых” [Филатов 1993] интеллектуалов.

Разумеется, такое положение вещей устраивает далеко не всех журналистов. Многие из них искренне стремятся отыскать в научной среде наиболее ярких ее представителей и поддерживать контакты именно с ними. Но дело в том, что для журналистов эта среда — своего рода “черный ящик”. Существующий во всех развитых странах механизм “приближения мозгов к власти” [см. Юревич 1999], равно как и к СМИ, в нашей стране отсутствует, а сборники типа “Кто есть кто”, позволяющие политикам и журналистам обращаться к действительно лучшим, издаются лишь эпизодически, да и не читаются ни теми, ни другими. Кроме того, далеко не самые блестящие представители научного сообщества, попав в сферу внимания СМИ, делают все возможное, чтобы замкнуть контакты только на себя. В результате журналисты чаще всего имеют дело с теми учеными, показатели *научной* продуктивности которых (количество публикаций, индекс цитирования и т.д.) в среднем в 4-5 раз ниже, чем у их менее “видимых” коллег. Типичный “эксперт” — это, как правило, представитель “среднего” слоя научного сообщества, активный кандидат наук, не снискавший особых лавров в науке, но преуспевший в саморекламе и установлении полезных связей [см. Юревич 1998; Юревич 1999].

При этом отечественные СМИ явно тяготеют не к официальной науке, которую считают бюрократизированной, неразворотливой, отягощенной советскими традициями и прочими пороками, а к так наз. независимым исследовательским центрам, очень плохо представляя себе их происхождение и роль в современной российской науке. К сожалению, “лихорадочное основание” всевозможных социологических, политологических, экономических и стратегических центров стало в последние десять лет одним из символов нашей общественной науки [см. Филатов 1993], позволив малоизвестным научным сотрудникам резко повысить свой статус. Как отмечает В.Филатов, “конкурировать в одиночку с представителями академической науки непросто, однако можно это делать, выступая с оценками от имени центра или фонда с солидным наукообразным названием” [Филатов 1993: 94]. Стремительному размножению подобных организаций способствовала предельная либерализация социально-статусной структуры нынешнего российского общества, любой член которого — независимо от того, имеет ли он ученую степень и умеет ли вообще читать и писать — может учредить собственный исследовательский центр, институт и даже академию (каковых, в результате, оказалось более 50). Сыг-

рало свою роль и то обстоятельство, что типичный представитель нашего бизнеса или политического класса совершенно не способен отличить “настоящую” науку от “поддельной”. Одним из следствий такого положения вещей стало широкое распространение у нас в стране так наз. научного антрепренерства, характеризующегося склонностью к быстроосуществимым и низкокачественным исследованиям, готовностью браться за любые задачи, если это сулит материальные выгоды, искажать полученные данные в угоду заказчику [см. Ravetz 1971]. Представителей подобного рода науки Х.Дженкинс-Смит именовал “адвокатами клиента”, ибо для них важно не выявить объективную истину, а угодить тем, кто платит [Jenkins-Smith 1990].

Взаимодействие с антрепренерской наукой не всегда удовлетворяет даже сами СМИ. Так, выдавший виды политической ангажированности телеведущий А.Гурнов однажды пожаловался на некоего социолога, который в ответ на предложение провести социологическое исследование спросил: “А как Вам подсчитать результаты — в чью пользу?” Ориентация СМИ на подобную науку приводит к *систематическим ошибкам в прогнозировании политических процессов*, прежде всего — результатов выборов. Достаточно вспомнить думские выборы 1993 г., закончившиеся неожиданной для расслабившихся демократов победой ЛДПР, или сенсационный триумф наскоро выращенного “Медведя” на последних парламентских выборах. Эти случаи наглядно продемонстрировали, насколько опасно полагаться на прогнозы, а тем более — на советы антрепренерской науки: доверившись им, владельцы НТВ поставили явно не на ту команду и теперь пожинают горькие плоды своей ошибки.

Несмотря на многочисленные провалы, отечественные СМИ не просто благоволят к такому типу науки, но и сами его создают. В итоге вместо научной культуры у нас получают развитие псевдонаучные суррогаты. Возьмем, к примеру, социологические опросы, данные которых приобрели в современной России статус высшего критерия истины. Эти опросы часто используются СМИ не столько для зондирования общественного мнения, сколько для его “зомбирования”, т.е. сваления на избирателя. Антрепренерская наука прекрасно справляется с социальным заказом, предъявляемым СМИ, и потому ей отдается предпочтение перед “настоящей” наукой, от которой порой бывает невозможно получить то, что требуется заказчику.

Но, разумеется, наибольший интерес политизированные СМИ проявляют к тем деятелям науки, которые стали самостоятельными политиками и одновременно могут выступать в качестве участников политических событий и экспертов. В профессиональном плане такая раздвоенность ни к чему хорошему не ведет. Как писал У.Липман, “соединить приверженность знаниям с осуществлением политической власти невозможно. Тот, кто пытался добиться этого, оказывался либо плохим политиком, либо плохим ученым” [цит. по Ушакин 1998: 15]. Тем не менее, в современной России подобный двойной статус стремятся обрести и многие ученые, и политики. Тяга к степеням охватила едва ли не всю нашу политическую элиту: вспомним хотя бы таких докторов наук, как Г.Зюганов, В.Жириновский, Е.Строев, И.Рыбкин. Двойной статус делает его носителей не просто политиками, а *учеными политиками*, открывает возможность высказывать собственное мнение от лица науки, что придает ему дополнительный вес. Именно политики, имеющие репутацию ученых, по большей части и выступают партнерами наших СМИ. В этом смысле характерен “феномен Явлинского”: вопреки довольно скромным политическим успехам и недостаточной популярности среди населения лидер “Яблока” появляется перед телезрителями в качестве “героя дня” чаще, чем кто-либо другой.

ПОСРЕДНИК МЕЖДУ НАУКОЙ И МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ

Основной социальный смысл взаимодействия науки и СМИ состоит в том, что последние играют *связующую роль между наукой и массовым сознанием*. Именно это обстоятельство и порождает противоречивость отношения ученых к масс-медиа. С одной стороны, ученые не жалуют СМИ за то, что те созда-

ют неадекватное отношение к науке, с другой — понимают, что это отношение можно изменить лишь с помощью тех же самых СМИ. И пока Интернет не вошел, подобно лампочке Ильича, в каждую сельскую избу, а научные и научно-популярные книги и журналы не стали настольным “читом”, другого средства обращения к массовому сознанию у науки нет.

В данной связи следует отметить абсурдность широко распространенного мифа, будто наука никоим образом не влияет на российское общество. Бесспорно, современная Россия уже не заражена “романтическим сциентизмом” советских времен, находившим выражение в массовой устремленности в космос, в чрезвычайной популярности научной фантастики, в престижности профессии ученого. Прикладная наука, столь ошутимо сказывающаяся на быте западного обывателя, у нас так и не встала на ноги. Но наука не сводится к естественным и техническим дисциплинам. И, как свидетельствует вся история нашего общества, именно *социальные науки оказывают на него первостепенное влияние*. В этом, кстати, — одно из главных отличий России от западных стран. Вспомним хотя бы марксизм или, если не углубляться в историю, монетаристскую концепцию рыночной экономики. Они были порождены гуманитарной наукой и оказали на наше общество воистину судьбоносное воздействие. Влияние науки на общество выражается не только в открытии законов природы и технических изобретениях, но и в *выработке идеологем, которые, вживляясь в массовое сознание, становятся ориентирами социального действия и социальной организации*. В качестве инструмента вживления этих идеологем и выступают СМИ.

Как известно, масс-медиа формируют в нашем сознании образ реальности, акцентируя одни ее фрагменты и оставляя без внимания другие. Авторы телепрограмм уверенно решают за нас, какие события являются важнейшими, кого следует считать “героем дня” или “человеком недели”. Это “конструирование” включает и создание образа науки. О том, что она собой представляет, обыватель судит на основе сведений, почерпнутых из СМИ, поэтому именно на них следует возложить значительную долю ответственности за кардинальное изменение отношения к науке, произошедшее в нашей стране за последние годы. Например, за то, что на смену “романтическому сциентизму”, желанию большинства родителей видеть своих отпрысков учеными и космонавтами, пришел радикальный антисциентизм. Как показывают опросы, около 40% наших сограждан считают полезной прикладную науку, лишь 15% — фундаментальную, отношение же остальных выражают высказывания типа “так и надо этим яйцеголовым”, “хватит удовлетворять личное любопытство за государственный счет” и т.п. [Юревич, Чапенко 2001].

Даже в тех случаях, когда журналисты преисполнены сочувствия к науке, они склонны изображать ее в виде нищего с протянутой рукой, тем самым оказывая ей медвежью услугу. Регулярно мелькают сюжеты об отсутствии средств на сохранение реакторов, о запустении некогда могущественных НИИ, о самоубийствах их директоров, о бедственном положении ученых, сопровождающиеся упреками в адрес государства и призывами к спасению науки *во имя самой науки* и ее общецивилизационной ценности. У большинства наших сограждан, вынужденных бороться за собственное выживание, эти lamentации вызывают только раздражение. Жалостливый образ нищего с протянутой рукой, которому надо бы помочь, но не из прагматических, а из чисто гуманистических соображений, почти полностью вытеснил куда более правильный — *прагматичный* — образ науки как основы научно-технического и социального прогресса, а соответственно, улучшения условий жизни в стране. Эта инверсия резко контрастирует с самосознанием российской науки, которая, если судить по научной литературе, видит в себе не немощного и убогого, которого надо спасать, а напротив — потенциального спасителя тяжело больного отечества.

Здесь, как мне кажется, уместна параллель с восприятием демократических ценностей западным обществом. Американские политологи постоянно под-

Весьма своеобразно СМИ просвещают наших сограждан и в отношении того, что представляет собой современная наука. Здесь контраст между отечественными и зарубежными публикациями более чем разителен. Подсчитано, что в США и Англии примерно три четверти всех выступлений СМИ по проблемам науки приходятся на долю медицины, биоэтики и биотехнологий**. Затем следуют науки о поведении, космонавтика и инженерия. На почтительном расстоянии от них находятся политические науки и экономика. По справедливому замечанию В.Филатова, такое распределение интересов естественно "для нормальных людей, озабоченных не экономическим выживанием, а качеством жизни и оздоровлением окружающей среды" [Филатов 1993: 96].

У нас же картина совсем иная — на общественной трибуне тон задают экономисты и политологи. Именно они чаще всего выступают в СМИ от имени науки, что органично вписывается в традицию ее политизации, присущую российскому обществу уже не один век. “Ученые никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью, и если они были политически индифференталистами, то сама наука их считалась не настоящей”, — писал Н.Бердяев, назвавший данную тенденцию “славянской крайностью” [Бердяев 1991: 33]***. Современные российские СМИ гипертрофируют эту “славянскую крайность”, сплошь и рядом сводя науку к экономике и политологии и создавая, мягко говоря, неадекватное представление о том, что представляет собой, скажем, политология.

Вообще-то, политология — это наука, которая занимается выявлением закономерностей протекания политических процессов. Те же, кто регулярно фигурирует в качестве политологов в наших СМИ (прежде всего — на телевидении), занимаются совсем другим. В основном они комментируют высказывания и поступки (причем не только политические, но и бытовые) конкретных лиц, обсуждая, кто с кем поссорился или подружился, кто сколько пьет и т. п., и выглядят скорее не политологами, а “политическими сплетниками”. Трудно не уловить и явной субъективности подобных “специалистов”, их ангажированности определенными политическими группировками. Как отмечает И. Мильштейн, в гневном комментировании тех или иных политических событий (к которому весьма склонны политологи такого типа) “уровень гнева определяется количеством ‘зеленых’ в незаклеенном конверте” [Мильштейн 1998].

* Между прочим, девальвация демократических ценностей в современной России, несомненно, связана с тем, что большинство наших сограждан ощущают на себе не ее преимущества, а недостатки. На этом фоне апелляции к самоценности демократии звучат как глас вопиющего в пустыне, который могут услышать разве что голодные львы.

** Эти подсчеты проводились еще до успешных экспериментов по клонированию, заметно подогревших общественный интерес к биологическим исследованиям.

*** На первый взгляд, превознесение дореволюционным российским обществом таких естественных испытателей, как И. Павлов или И. Сеченов, опровергает это высказывание. Однако на самом деле подобные случаи только подтверждают правоту Бердяева: и Павлов, и Сеченов стали знамениты в России благодаря общественно-политическому резонансу их естественнонаучных теорий (см. Ярошевский 1996).

Описанный способ выполнения СМИ роли посредника между наукой и массовым сознанием не только искажает образ науки и ухудшает отношение к ней, но содействует изменению *общей траектории* ее развития. Именно по этому на фоне развала естественной науки, остановленных синхрофазотронов и опустевших институтов соответствующего профиля наблюдается явление, в возможность которого лет двадцать назад трудно было поверить, — происходит настоящий бум политически релевантных дисциплин, прежде всего экономической науки, политологии и социологии. За последние годы в России возникло более 100 новых социологических центров, около 90% которых занимаются опросами общественного мнения. Количество экономистов, которых уже к концу 1980-х годов у нас насчитывалось 110 тыс. [Кугель 1988], превысило сегодня все разумные пределы (что, однако, не пошло на пользу отечественной экономике), а число политологов, которых совсем недавно в нашей стране не было совсем, перевалило за 50 тыс. [Юревич, Цапенко 2001]. Эта тенденция воспроизводится, а следовательно, и закрепляется в сфере образования: 75% всех курсов, организуемых нашими новыми негосударственными вузами, приходится на политологию, маркетинг, менеджмент, юриспруденцию и экономические дисциплины; доля аспирантов в области общественных наук за последние 4 года выросла на 4,5% при одновременном сокращении на 1,5% доли аспирантов-естественников [Дежина 1999].

Переклечение отечественной науки с прежней — “космической” — на новую — “политическую” — траекторию развития чревато чрезмерной политизацией и повторением ситуации, в которую мы однажды уже попадали, продвигая вместо генетики и кибернетики истмат и научный коммунизм. Наука, несмотря на существование внутренней логики ее развития, все же движется именно в том направлении, которое задает ей общество. И если в подлинно демократических странах это направление в значительной степени определяет обыватель (в качестве избирателя и налогоплательщика), то в таком обществе, как наше, это делает исключительно правящая элита — экономическая и политическая. Экономической элите требуется лишь та наука, которая помогает что-либо продавать и покупать (пока, к сожалению, не производить) — с помощью маркетинговых исследований и т.п. Элите же политической нужна наука, которая позволяет готовить и проводить избирательные кампании, зондировать и “зомбировать” общественное мнение. Отсюда — взлет политически релевантных дисциплин на фоне разрушения естественной и технической науки.

Отечественные СМИ вносят в этот процесс весомую лепту. Во-первых, создавая у обывателя образ науки, они влияют на профессиональный выбор желающих заняться ею. Во-вторых, путем привлечения массового внимания к политике и всему с нею связанному они формируют фокус общественных интересов, и потому наука, вынужденная разворачиваться в направлении социального заказа, неизбежно политизируется. В-третьих, СМИ сами включают в распространение научного знания, делая упор на политологию и соответствующие технологии (в частности, обработки избирателей) в обход естественных или технических дисциплин. Все это формирует принципиально новый (по сравнению как с советскими временами, так и с зарубежными странами) вектор общественных интересов, а значит, и соответствующие направления финансовых потоков. Наука же в современном обществе неизбежно "переме-

шается" туда, где есть деньги, и постепенно "убывает" там, где их нет [Юревич 1998]. В результате наблюдается массовая миграция представителей самых разных дисциплин в политологию, экономику и социологию, тем более что в последнее время почти все наши вузы, в т.ч. и технические, стали готовить специалистов соответствующего профиля: бухгалтеров, юристов, политтехнологов. Это так же малопонятно зарубежным наблюдателям, как и то, почему в рыбных магазинах у нас продается не только рыба, но и ботинки.

Констатируя роль СМИ как важнейшего посредника между наукой и массовым сознанием, можно предъявить к ним серьезные претензии. И прежде всего — за создание в нашем обществе явно суженного и искаженного образа науки, за чрезмерную политизированность последней. Общий кризис современной российской науки касается не столько самой науки, сколько *системы ее взаимоотношений с нашим обществом*. Этот кризис, чреватый серьезнейшими последствиями для нашей страны, был во многом спровоцирован СМИ.

ДИССОЦИИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО

Выпустив в адрес СМИ колчан критических стрел (которые, впрочем, до них, а тем более до их владельцев обычно не долетают), хотелось бы подчеркнуть, что главная причина сложившейся ситуации — не в ангажированности журналистов и даже не в специфических интересах тех, кто им платит, а в *отсутствии нормального механизма взаимодействия науки и СМИ*.

Как правило, журналист плохо информирован о том, что делается в науке, какие именно проблемы для нее в настоящий момент приоритетны. Даже искренне желая сообщить согражданам об успехах или наиболее острых проблемах науки, он обычно не знает, о чем писать и к кому обращаться за информацией. Он не читает научных журналов, не посещает конференций, но даже если бы читал и посещал, то едва ли сумел бы охватить все сразу или выделить главное, поскольку наша наука все еще достаточно объемна и многообразна. Обычный способ получения журналистами информации может быть выражен излюбленным высказыванием Е.Киселева: "Мне *приходилось слышать* от политологов". Механизмы оповещения журналистов о происходящем в науке и отбора для них всего наиболее важного отсутствуют, и в этом — еще одно наше отличие от цивилизованных стран, где любая солидная газета имеет в своем штате квалифицированных консультантов по научным вопросам, благодаря чему всегда обеспечена свежей и достоверной информацией.

При отсутствии же механизмов, способных создать двухступенчатый информационный поток (сначала из науки — в СМИ, а затем от них — к обществу), мелькание в наших газетах и на телевидении тех или иных сюжетов о науке не отражает наиболее важных научных событий и обусловлено случайными факторами — с каким именно ученым журналист случайно пообщался, какой научный журнал ему случайно попал в руки, что именно он где-то случайно услышал. Понятно, что подобный способ получения и распространения информации о науке чреват созданием в массовом сознании ее крайне искаженного образа.

И все же если попадание в СМИ тех или иных сюжетов о науке определяется в основном случайностью, то сам факт подмены отработанного механизма случайным "выхватыванием" — уже закономерность, причем познанная. Переходные, а тем более вечно переходящие от чего-то к чему-то, общества отличаются от устойчивых и стабильных, помимо прочего, еще и *диссоциированностью* всей социальной структуры, что выражается в первую очередь в отсутствии нормальных, а подчас и вообще каких-либо, связей *между ее подсистемами*. В таких обществах как будто бы "все есть": и демократия, и рыночная экономика, но они по-прежнему остаются "какими-то не такими", слабо напоминающими свои цивилизованные аналоги. Так, современные российский бизнес мало похож на бизнес в развитых странах, а так наз. современная российская демократия аккумулирует в основном недостатки, причем в утрированном виде, а не достоинства этой формы общественно-политического устройства.

Одна из главных причин такого положения вещей связана с тем тривиальным для социологии фактом, что эффективность любой социальной системы определяется не только ее внутренней организацией, но и отлаженностью связей с другими системами. При отсутствии или деформации этих связей она не может быть эффективной. Например, торгово-финансовая и сырьевая ориентация современного российского бизнеса во многом обусловлена его оторванностью от науки, ибо треугольник наука — производство — коммерция, являющийся основой экономического развития цивилизованных стран и обеспечивающий 65-80% прироста их национального богатства, в нашем обществе едва прорисовывается. Аналогичная ситуация наблюдается во всех ключевых точках взаимодействия его подсистем, в т.ч. во взаимодействии науки и СМИ.

Еще одна известная социологическая закономерность состоит в том, что от подобного разрыва или деформации связей проигрывают *все* стороны — в данном случае и наука, и СМИ, и общество в целом. Наука неизбежно разрушается в атмосфере тех ценностей и настроений, которые культивируются сейчас масс-медиа. СМИ приобретают дурную репутацию в глазах населения, которому нужна не искусственная фабрикация "героев" и "событий", а реальная информация о действительно важных событиях. Что же касается общества, то оно теряет не только свою науку, без которой у него нет ни будущего, ни настоящего, но и вообще способность ориентироваться в современном мире, каждый новый день которого рождается не в склоках между политиками, а в лабораториях ученых.

- Аронсон Э. 1998. *Общественное животное: введение в социальную психологию*. М.
Бердяев Н.А. 1991. Философская истина и интеллигентская правда. — *Вехи. Интеллигенция в России*. М.
Дежина И.Г. 1999. Наука в российских вузах: что делается сегодня для ее поддержания и развития? — *Науковедение*, № 4.
Кугель С.А. 1988. *Научные кадры СССР: структура и динамика*. М.
Макарычев А.С. 1994. Система внешнеполитического планирования и анализа: опыт США 70-90-х годов. — *МЭМО*, № 12.
Мильтштейн И. 1998. Судьба математика. — *Новое время*, № 41.
Наука в России: состояние, трудности, перспективы (материалы "круглого стола"). 1994. — *Вопросы философии*, № 11.
Ушакин С.А. 1998. Функциональная интеллигентность. — *Полис*, № 1.
Филатов В. 1993. Ученые "на виду": новое явление в российском обществе. — *Общественные науки и современность*, № 4.
Юревич А.В. 1998. *Умные, но бедные: ученые в современной России*. М.
Юревич А.В. 1999. *Ученые в политике*. — *Полис*, № 2.
Юревич А.В., Цапенко И.П. 2001. *Нужны ли ученые России?* М.
Ярошевский М.Г. 1996. *Наука о поведении: русский путь*. Воронеж.
Bauman Z. 1987. *Legislators and Interpreters*. N.Y.
Jenkins-Smith H.S. 1990. *Democratic Politics and Policy Analysis*. California.
Merton R. 1968. *Social Theory and Social Structure*. N.Y.
The Handbook of Political Behavior. 1981. Vol. 1. N.Y.
Ravetz J. 1971. *Scientific Knowledge and Its Social Problems*. Oxford.

Панорама политической науки России: Санкт-Петербург

От редакции. Многие наши читатели помнят, а некоторые упорно напоминают нам, что в 1999 г. в журнале появилась многообещающая рубрика "Панорама политической науки России", созданная для презентации региональных научных сообществ (см., напр., № 3 за 1999 г. — политология Поволжья) и отдельных направлений политологических исследований (см., напр. № 4 за 1999 г. — временные и пространственные факторы политики). В нынешнем номере она знакомит с политологическим сообществом Санкт-Петербурга.

Статьи питерских авторов публикуются у нас в журнале довольно часто. Это вполне естественно, поскольку в регионе работает немало талантливых и квалифицированных специалистов. Но сегодня редакции хотелось бы дать представление если не обо всем спектре работ питерских политологов, то, по крайней мере, об основных направлениях исследований ученых, непосредственно связанных с организационным ядром тамошнего политологического сообщества — региональным отделением РАПН.

Консолидация политологов региона началось еще в советское время: уже в 1970-е годы энтузиасты политологии объединились сперва в рамках существовавшей на философском факультете ЛГУ группы "Социология политики", а затем — Ленинградского отделения Советской ассоциации политической науки. В августе 1989 г. на философском факультете была создана первая в стране кафедра политологии, а четыре года спустя появляется кафедра "Политические институты и прикладные политические исследования" и создается отделение политологии. В 1996 г. на факультете была образована еще одна (третья) кафедра — "Политическое управление", а в декабре 2000 г. решением Ученого совета философского факультета создан Институт политологии в качестве учебно-научного центра, координирующего политологическое образование в СПбГУ.

Отрадно, что представители исторического ядра питерской политологии не только развивают дисциплину в стенах своего университета, но конструктивно сотрудничают с коллегами из других центров, способствуют формированию профессионального сообщества в городе и в регионе. Сегодня мы публикуем, статьи вице-президента РАПН, председателя Санкт-Петербургского отделения ассоциации В.А.Гуторова, члена Научного совета РАПН В.А.Ачкасова, руководителя секции сравнительной политологии РАПН Л.В.Сморгунова и профессора кафедры политологии СПбГУ, члена РАПН С.А.Ланцова.

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ Методологические аспекты

В.А. Гуторов

Анализ идеологии любого общественного образования связан с преодолением многочисленных трудностей теоретического и методологического порядка. Его результаты не всегда однозначны, поскольку для понимания существа проблемы необходимо изучить основные элементы политической системы, экономической организации, социальной структуры, наконец, состояние общественного сознания и соотношение в нем различных идеологических типов. Учесть все эти моменты в небольшой по объему статье невозможно, особенно когда

до касается исследования современного российского общества. По своим идеологическим параметрам, равно как и по экономическим, политическим и социальным характеристикам, оно уникально. К нему зачастую не применимы модели, созданные при изучении западных демократий или стран "третьего мира".

Разумеется, речь идет именно о моделях, фиксирующих важнейшие тенденции функционирования и развития той или иной системы, а не о принципах научного анализа, которые не должны и не могут подчиняться логике различных моделей и тем более субъективным установкам их создателей. Например, транзитология, выделяя три основных этапа демократической трансформации — либерализацию авторитарного режима, установление конституционного правления, консолидацию демократического государства — исходит из тезиса о неизбежности демократизации политических систем, исторически формировавшихся как традиционные монархии, военные режимы и хунты, племенные объединения и т.д. На основе данной посылки и создаются соответствующие транзитологические модели — "циклическая", "второй попытки", "прерванной демократии", "прямого перехода", "деколонизации" и т.п. Но это вовсе не означает, что сама посылка является абсолютно верной для всякой общественной системы в каждый конкретный момент ее эволюции.

Ориентация новой политической элиты, пришедшей к власти на волне "перестройки" и утвердившей свое господство в результате переворота октября 1993 г., на создание в России демократической модели либерального общества имела ярко выраженный идеологический характер. Именно эта ориентация легла в основу программы "рыночных реформ" и "либерализации цен", осуществление которой почти до предела разрушило российскую экономику. Однако политическая система, развивавшаяся параллельно с возникновением новых рыночных механизмов, в настоящее время никак не вписывается в изначальные схемы. Так, ни один из 332 авторов, упомянутых в составленной В.Григорьевым и А.Темкиной библиографии российских работ по проблемам социальной трансформации в стране в периоды до и после "перестройки", не квалифицирует возникший в России политический режим как однозначно демократический [Grigoriev, Temkina 1997]. Предлагаемые ими определения, такие как "фасадная демократия" (Д.Фурман), "эзэц-демократический режим" или "авторитарная демократия" (В.Рукавишников), "полудемократия" (Л.Гордон) и "российский гибрид" (Л.Шевцова), однозначно свидетельствуют о стремлении отечественной науки осмыслить непредсказуемость и крайнюю противоречивость эволюции этого режима.

Безусловно, при анализе феномена российской идеологии должны учитываться все особенности переходной стадии, на которой находится наше общество.

Тезис о фрагментарности, "размытости" современного российского общественного сознания, об отсутствии государственной идеологии, консолидирующей нацию, повторяется настолько часто, что воспринимается почти как банальность. Тем не менее это положение заслуживает самого внимательного рассмотрения.

По мнению многих специалистов, восприятие идеологии как некой универсальной идеи или мировоззрения, отражающих единую систему взглядов или определенное общественное устройство ("русская идея", "капитализм", "коммунизм" и т.д.), является анахроничным и неэффективным. Постмодернистская трактовка идеологии рисует картину распада единого порядка на множество фрагментов. Концепция кризиса идеологии восходит к работам Д.Белла и А.Тоффлера (1960-е — начало 1980-х годов) [Toffler 1981: 158, 166]. И действительно, следует признать, что термины типа "коммунистическая идеология", "капиталистическая идеология" плохо вписываются в современные научные теории и определения.

В этой связи мы сталкиваемся с еще одной значительной методологической трудностью. Какое из существующих определений идеологии наиболее

предпочтительно для обсуждения российских проблем? Ведь даже по самым прикидочным подсчетам общее количество определений и трактовок уже давно приблизилось к двумстам. Отсюда напрашивается вывод, что плюрализм подходов свидетельствует не столько о степени научности тех или иных определений, сколько об их исторической ограниченности.

Каждой эпохе свойственно собственное видение данной проблемы. Создателю понятия "идеология" — Б. де Траси — представлялось вполне научным применять его для описания "эволюции идей", в отличие от "эволюции вещей". Не менее научным выглядит и марксово понимание идеологии как "ложного сознания". Такое толкование Маркс использовал для критики своих оппонентов и, по-видимому, никогда не подозревал, что оно может быть приложимо к созданному им учению. К. Маннгейму казалось бесспорным рассматривать любую идеологию в качестве консервативного апологетического сознания. При этом можно до бесконечности спорить о том, были ли сами Маркс и Маннгейм "идеологами" (несмотря на отрицательное отношение к указанному термину) или же их субъективный подход надо принять за научный критерий, и тогда оба выдающихся ученых оказываются в компании таких людей, как Наполеон, который относился к "идеологам" с откровенным презрением.

Наблюдая за развитием современной российской политики, трудно отказаться от мысли, что для ее анализа оптимальны концепции нелогического действия и деривации В. Парето. Все в этой политике представляется иррациональным и алогичным. Естественно, очень привлекательно объяснять такую иррациональность "врожденными психическими predispositionами" лидеров, маскирующих свои истинные мотивы при помощи псевдоаргументов. Когда Парето писал о том, что любые общественные теории и идеологические системы призваны служить лишь оправданием действий, придавать им логический характер, он основывал свои выводы на изучении не только Италии эпохи Рисорджименто, но и европейской политики начала XX в., оказавшейся прелюдией к мировой войне и господству тоталитарных диктатур.

Возвращаясь к современным определениям, необходимо обратить внимание на то различие, которое Л. фон Мизес проводит между понятиями "идеология" и "мировоззрение": "Если взглянуть на все теоремы и теории, руководящие поведением определенных индивидов и групп, как на связный комплекс и попытку сорганизовать их, насколько возможно, в систему, т.е. во внятную структуру знания, можно говорить о ней как о мировоззрении. В качестве теории мировоззрение есть интерпретация всех вещей. В качестве руководства к действию — это мнение относительно наилучших средств для устранения... любого неудобства. Мировоззрение, с одной стороны, представляет собой объяснение всех явлений, а с другой — технологию... Религия, метафизика, философия стремятся обеспечить мировоззрение. Они интерпретируют мир и дают людям совет, как им действовать. Понятие "идеология" является более узким, чем мировоззрение. Говоря об идеологии, мы имеем в виду только человеческое действие и общественное сотрудничество и не обращаем внимания на проблемы метафизики, религиозные догмы, естественные науки и выводимые из них технологии. Идеология — это целостность наших учений об индивидуальном поведении и социальных отношениях. И мировоззрение, и идеология выходят за пределы, которые навязывает чисто нейтральное и академическое исследование вещей такими, как они есть. Они суть учения о высших целях, к которым человек, озабоченный земным, должен стремиться" [Mises 1966: 178].

Предлагаемое фон Мизесом определение ориентировано на проблему "носителей идеологии", вступающих во взаимодействие с общественным "массовым субстратом". В этом смысле идеология проявляется как "специализированное общественное сознание" в противоположность "массовому сознанию", т.е. общественной психологии.

В современной отечественной научной литературе данной проблеме не уделяется должного внимания. Об этом свидетельствует, например, появление работ, авторы которых считают, что так наз. новый российский либерализм

находит опору в массовом сознании. Скажем, Б. Капустин и И. Клямкин, исследовавшие в 1993 г. "либеральные ценности" в восприятии россиян в соответствии с неким "минимальным идеальным типом" либерального сознания, пытались на основе социологических опросов обосновать приоритет "социально-либеральных ценностных установок" (государство обеспечивает гражданские условия, необходимые для развития человеческой индивидуальности) перед экономическим либерализмом (минимальное государство). Однако вывод, к которому пришли исследователи, весьма слабо согласовывался с поставленной задачей. "Судя по тому, что происходит на политической поверхности, в российском обществе налицо глубокий конфликт ценностей, не сводимый к конфликту экономических интересов. Можно предположить... что идеологическое освоение элементов либерального мировоззрения не всегда сопровождается соответствующим политическим поведением и что само это освоение часто сводится к овладению модным жаргоном, не сопровождающимся содержательными сдвигами в сознании и, соответственно, принципиальным переосмыслением действительности и своего отношения к ней. Справедливость или несправедливость этих и других предположений, как это всегда бывает, установит лишь время" [Капустин, Клямкин 1994: 69].

Время, прошедшее после проведенных Капустиным и Клямкиным опросов, показало, что политические и экономические конфликты в российском обществе определяются отнюдь не либеральной шкалой ценностей.

Фундаментальный вопрос либеральной политической теории состоит в следующем: в каком отношении находятся принцип свободы, реализованный как общественная деятельность, и государство как средоточие этой деятельности? Иными словами, каким способом следует вычитать принуждение по отношению к индивиду из его свободы? Ответ на этот вопрос может быть дан только при условии, что известно: (1) существуют ли реальные гарантии обеспечения свободы (собственность, экономическая эффективность, необходимый уровень благосостояния); (2) имеется ли в наличии общественный субстрат, гарантирующий независимость личности от государства и развитие индивидуальной свободы (зрелое гражданское общество, правовое государство, конституционные механизмы защиты гражданских прав). Если перечисленные выше гарантии отсутствуют, все результаты опросов будут в равной степени сомнительны и преждевременны.

Полностью признавая, что в России нет ни одного из названных условий, Капустин и Клямкин изучали российские либеральные ценности, исходя из следующих гипотез: (а) "либеральная ориентация является в большей мере производной от факторов культурно-духовного порядка, чем от собственно экономических, включая обладание частной собственностью"; (б) "есть основания думать, что либеральная ориентация будет в основном свойственна элитным группам, выделенным по принципу родов деятельности, которые в наибольшей степени предполагают сочетание высокого образования, необходимости принятия ответственных решений, широты "связей с людьми", вовлечения (возможно, вынужденного) в политику" [Капустин 1994: 71-72]. Представляется, что обе выдвинутые гипотезы несостоятельны. Известно, что либералы по духу и мировоззрению в принципе могут жить в любом обществе, где их не преследуют и не убивают. Об этом писал еще Д. Локк. Но даже если такой либерал воспользуется советом, который в свое время дал Сократ, и отгородится от несправедливого государства своей философией словно каменной стеной, это ни на шаг не продвинет либерализацию общества в целом. По-видимому, у рассматриваемых авторов речь идет о современной российской политической элите (степень ее приверженности либеральным идеям еще надо доказать!), а не об образованных людях вообще.

В качестве своеобразного курьеза, позволяющего более отчетливо обнаружить иллюзорность аргументации Капустина и Клямкина, можно сослаться на исследование профессора Мичиганского университета А. Финифтера, которая на основе проведенных в России и странах СНГ опросов пришла к следующему

шему примечательному выводу: данных, свидетельствующих о соответствии уровня образования степени поддержки либеральных ценностей, не существует [Finifter 1996].

Итак, поскольку у отечественных исследователей современного российского либерализма речь идет о политической элите, за скобками остается основная масса населения. Необходимо, следовательно, выяснить: а) соответствует ли в целом уровень общественного сознания россиян устанавливаемым (и довольно произвольным) "либеральным критериям"; б) является ли наша отечественная интеллигенция, из рядов которой частично вербуются политическая элита, либеральной.

* * *

Ответ на первый вопрос возвращает нас к традициям российской политической культуры, тесно связанной с проблемой народного характера. До сих пор эта проблема в силу определенных исторических обстоятельств была монополизирована художественной литературой и литературной критикой и редко проникала на страницы научных журналов. Между тем она имеет самое непосредственное отношение к анализу различных концепций идеологии.

В своей знаменитой лекции "Вопросы к немецкому характеру" Э.Фромм, в частности, отмечал: "Утверждают, что для каждой нации можно засвидетельствовать типичную 'матрицу характера'... Каждый народ в зависимости от различных исторических условий развивает различные черты характера, которые, конечно, не являются вечными, но все же могут сохраняться на протяжении многих поколений вследствие действия и взаимодействия различных... факторов. При этом полагают, что эта относительно постоянная матрица характера является нейтральной в ценностном отношении и при определенных условиях порождает положительные качества, а при других обстоятельствах — отрицательные" [Fromm 1989: 5].

Имеющиеся в нашем распоряжении многочисленные наблюдения и свидетельства русских писателей, философов и ученых не опровергают правомерности такого предположения. Например, анализируя особенности российской революции 1917 г., Н.Бердяев писал: "Русские по характеру своему склонны к максимализму, и максималистический характер русской революции был очень правдоподобен... Только большевизм оказался способным овладеть положением, только он соответствовал массовым инстинктам и реальным соотношениям... Он воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху вместо непривычной демократии, для которой не было навыков... Он воспользовался свойствами русской души, во всем противоположной секуляризованному буржуазному обществу, ее религиозностью, ее догматизмом и максимализмом, ее поиском социальной правды и царства Божьего на земле, ее способностью к жертвам и к терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и жестокости, воспользовался русским мессианизмом... Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного мирозерцания, господствующего верования, что соответствовало навыкам и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих жизнью и т.д." [Бердяев 1955: 113-115].

Исследуя причины сравнительно легкой победы большевизма, Бердяев обратился к важнейшему, на мой взгляд, вопросу о том, какую роль играл социальный утопизм в легитимации леворадикального политического режима, пришедшего на смену российской традиционалистской монархии.

Использование утопических идей и конструкций как политическими партиями в период революционной ломки старых общественных структур, так и режимами, утвердившимися в результате переворота, — явление, казалось бы, бесспорное; однако оно было предметом идеологических и научных дебатов на протяжении всего XX в. Поскольку речь в дальнейшем пойдет о перипетиях, связанных с трансформациями именно социалистического утопизма на российской почве в XX столетии, необходимо остановиться на идеологической стороне данного вопроса.

Марксизм всегда признавал свою преемственность по отношению к социалистическим учениям XVIII - XIX вв. Эти учения, в дальнейшем именовавшиеся утопическими, рассматривались как один из трех его источников (наряду с английской политэкономией и философией Гегеля и Фейербаха). Вместе с тем претензии марксизма на роль научной теории заставляли его сторонников постоянно подчеркивать свою враждебность "всяким утопиям" [Ленин 1961].

Только учитывая идеологический характер такого противопоставления, можно понять непримиримость непрестанной полемики Маркса с Прудоном, Штирнером, Бакуниным, Лассалем и др. и Ленина с народниками и их преемниками — социалистами-революционерами. Эта непримиримость, впрочем, не мешала Марксу оценивать, например, примитивный коммунизм В.Вейтлинга как грандиозное проявление мировоззрения немецкого пролетариата, а Ленину — требовать от социал-демократов "заботливо выделять из шелухи народнических утопий здоровое и ценное ядро искреннего, решительного, боевого демократизма крестьянских масс" [Ленин 1961: 121]. Подобный дифференцированный подход основывался на уверенности в необходимости политического руководства массовыми движениями в грядущей революции, которая должна была развиваться в соответствии с научно разработанной программой.

Мысль о том, что тактическая подготовка и организационное воздействие на массы определяют характер революционных событий, всегда владела марксистами. Через неделю после победы Февральской революции 1917 г. в своем первом "письме из далека" Ленин безоговорочно утверждал: "Эта восьмидневная революция была, если позволительно так метафорически выразиться, 'разыграна' точно после десятка главных и второстепенных репетиций; 'актеры' знали друг друга, свои роли, свои места, свою обстановку вдоль и поперек, насквозь, до всякого сколько-нибудь значительного оттенка политических направлений и приемов действия" [Ленин 1962: 12].

С объективной точки зрения, подобная, ни на чем не основанная, но выглядящая вполне респектабельной убежденность не может, конечно, рассматриваться как элемент научного предвидения. Она была лишь моментом доктринальной веры в созидательную мощь теории, объявленной научной. "Роль, играемая профессиональными революционерами во всех современных революциях, — отмечала Х.Арендт, — весьма велика и значительна, но она заключалась не в подготовке революций. Они наблюдали и анализировали прогрессирующий распад в государстве и обществе, но они едва ли делали или были в состоянии сделать много для того, чтобы ускорять и направлять его... Внезапное начало большинства революций заставало врасплох революционные группы и партии не в меньшей мере, чем всех других, и вряд ли существует революция, вспышка которой могла бы быть отнесена на счет их деятельности. Обычно все случалось иначе: революция и происходила, и освобождала, как это и было, профессиональных революционеров там, где они оказывались, — из тюрьмы или из кофейни, или из библиотеки. Даже ленинская партия профессиональных революционеров едва ли была способна 'делать' революцию; лучшее, что она могла делать, это находиться поблизости или потопиться домой в надлежащий момент, а именно — в момент краха. Замечание, сделанное Токвилем в 1848 г. о том, что монархия пала 'скорее до, чем под ударами победителей, которые были настолько же изумлены своим триумфом, насколько побежденные — своим поражением', подтверждалось снова и снова. Роль профессиональных революционеров обычно состоит не в том, что они делают революцию, а в том, что они приходят к власти после того, как она разразилась, и их великое преимущество в этой борьбе за власть заключено не столько в их теориях, умственной и организационной подготовке, сколько в том простом факте, что их имена являются единственными, известными публике" [Arendt 1992: 248-249].

В октябре 1917 г., когда все "актеры" уже находились на местах, тактическое мастерство Ленина и Троцкого действительно сыграло решающую роль в перевороте, который открыл перед Россией (как тогда казалось) социалисти-

ческую перспективу. О том, что Октябрьская революция была социалистической, мы можем судить лишь по тому, что в ее результате возник общественный строй, определявшийся в программе большевистской партии как социалистический. Именно победоносное завершение революционного процесса позволило рассматривать его в дальнейшем как реализацию научно спланированной программы действий. Но так ли это верно?

Российская революция, в которой принимали участие десятки миллионов человек, развивалась, как и ее предшественница — французская революция 1789 — 1794 гг., во многом стихийно. Ее ход и результаты определяли не только и не столько стратегические установки лидеров, сколько надежды и иллюзии, издавна распространенные среди крестьянства и городской бедноты и зачастую приобретающие под воздействием войны и всеобщей разрухи сугубо утопический характер. Осуществление “черного передела” помещичьих земель, национализация фабрик и жилья, наконец, немедленное “введение социализма” стали в равной степени и демагогической реакцией на вспыхнувшие мессианские надежды, и реализацией коммунистической доктрины.

Обвинение в утопии было сразу брошено большевикам их оппонентами из марксистского лагеря. Будучи сторонниками социалистической перспективы для России, меньшевики, в полном соответствии с экономическим учением Маркса, рассматривали взятие власти большевиками как реакционную по своим последствиям попытку осуществить утопический эксперимент в стране, где отсутствуют материальные предпосылки социализма. Известный меньшевик Ю.Мартов, принявший активное участие в революции на первом ее этапе, мрачно констатировал 19 ноября 1917 г.: “Присутствуешь при разгроме революции и чувствуешь себя беспомощным что-нибудь сделать” [Мартов 1990: 22].

То же чувство бессилия ощущается и в оценке итогов революции, данной Мартовым в 1921 г. “Сентиментальное соображение, что вообще недопустимо восстание против правительства, которое состоит из социалистов и революционеров, нам, конечно, чуждо, — писал он. — Но, когда мы становимся на почву целесообразности, мы ясно отдаем себе отчет, что пока... при революционном свержении большевиков мы имели бы против себя не только более или менее коррумпированное и деклассированное меньшинство ‘настоящих’ коммунистов, но и *очень значительную часть* подлинно городского и сельского пролетариата... Большевиков пока поддерживает определенное значительное меньшинство русских рабочих, которых нельзя зачислить в категорию коррумпированных прикосновением к власти и которые, если и коррумпированы, то в более широком смысле — верят еще скорее в наступление коммунистического рая посредством применения силы, искренно вдохновляются идеалом всеобщей ‘уравнительности’ и т.д.” [Мартов 1990: 116].

Таким образом, Мартов признал, что за короткое время “чисто преторианский” переворот, приведший к власти “самое парадоксальное правительство из авантюристов и утопистов” и установивший вместо социалистического режима “прямое царство солдатской охлократии” [Мартов 1990: 15-17], оказался способным получить массовую поддержку и стать легитимным именно благодаря вызванным им к жизни массовым утопическим настроениям. Разумеется, Мартов — марксист до мозга костей — не мог допустить и мысли о том, что это случилось не вопреки, а благодаря марксистской теории, ибо для этого требовалось выйти за пределы идеологической парадигмы и встать на научную точку зрения.

Еще в начале XX в. российскими учеными была обоснована концепция, опровергавшая представление о противоположности марксизма предшествующей утопической традиции. “В основе социализма как мировоззрения, — подчеркивал в 1910 г. С.Булгаков, — лежит старая хилиастическая вера в наступление земного рая (как это нередко и прямо выражается в социалистической литературе) и в земное преодоление исторической трагедии... Социализм есть апокалипсис натуралистической религии человекобожия... Это рационалистическое, переведенное с языка космологии и теологии на язык политиче-

ской экономии переложение иудейского хилиазма, и все его *dramatis personae* поэтому получили экономическое истолкование” [Булгаков 1993: 424-425].

Такого рода заключения, разумеется, лишь давали ключ к пониманию сути явления и не могли служить непосредственным доказательством того, что именно утопический характер марксизма позволил большевистскому режиму стать легитимным. И Германии, где это учение возникло, и всей Западной Европе удалось избежать революции и трагических следствий “социалистической перестройки”. Это произошло не потому, что капиталистический Запад и его рационалистическая культура оказались совершенно невосприимчивыми к исходящим от социалистического движения утопическим импульсам, а потому, что Россия, по точному замечанию Ленина, оказалась тем самым “слабым звеном”, для которого вызванные мировой войной потрясения имели наиболее катастрофические последствия. Вследствие военных поражений и сопровождавших революцию радикальных движений в стране возник особый психологический климат, не только стимулировавший традиционно жившие в российском крестьянстве мессианские настроения, но и способствовавший распространению новых форм утопизма и социального мифотворчества.

Для появления и восприятия иррациональных по своему содержанию социальных мифов нужно специфическое, родственное массовому психозу состояние общественного сознания, нивелирующее обычное разнообразие мысли, подавляющее все выделяющееся интеллектуально. Атмосфера террора и страха перед неизвестным — лучший катализатор всеобщего устремления к “сильной руке”, к харизматическому лидеру или партии, способной дать порядок и спокойствие. В таких условиях социалистическая программа, никак не связанная с предшествующей реальностью, не выдерживавшая в недавнем прошлом ни малейшей критики с позиции здравого смысла, но вобравшая в себя лозунги, отвечавшие массовым ожиданиям, внезапно обретает все шансы на успех. Возникшие на ее основе институты, направленные на разрыв с прошлым, как бы они не противоречили прежним законному порядку и традициям, становятся легитимными, а вместе с ними укрепляется и тот тип идеологии, который освящает новую действительность.

Динамический характер социалистического утопизма стал важнейшим источником появления политических мифов, способствовавших легитимации нового режима. Важнейшим из них был миф о власти советов, камуфлировавший установленную большевиками однопартийную диктатуру не только на этапе революции и гражданской войны, но и на протяжении почти всей истории ее существования [Arendt 1992: 246-247; Арон 1993: 196-202].

Таким образом, идеология является главным нервом, центром регулятивного механизма, защищающего интересы монопольной власти. Такое положение сложилось вполне спонтанно в ходе революции. “Те, кто практически находится у власти, — подчеркивает К.Поппер, — образуют *Новый класс — новый правящий класс нового общества*. Этот класс представляет собой некий вид новой аристократии или бюрократии, представители которого, как можно предположить, будут стараться скрыть этот факт. Удобнее всего это делать, сохраняя, насколько возможно, революционную идеологию, пользуясь революционными настроениями, вместо того чтобы тратить свое время и силы на их разрушение (в соответствии с советом, который давал Парето всем правителям). И вполне вероятно, что они смогут достаточно искусно воспользоваться революционной идеологией, если одновременно будут использовать контрреволюционные тенденции общественного развития. Тем самым революционная идеология будет служить им в апологетических целях: она будет оправданием того, как они используют свою власть, и средством ее стабилизации, короче — новым ‘опиумом народа’” [Поппер 1992: 162-163].

Характеристику, данную Поппером революционной идеологии как важнейшему средству легитимации коммунистического тоталитаризма, можно дополнить еще одним штрихом: именно при ее посредстве политические мифы, возникшие в период революционной трансформации, приобрели иную, прин-

ципиально новую форму, став важнейшим элементом “официальной утопии”, придававшей сакральный смысл как сталинским чисткам, насильственной коллективизации и индустриализации, так и экспансионистской внешней политике советского государства. Тем самым обеспечивался основной принцип новой политической организации: “стремление к коллективной цели — реализации социализма — и вера в значимость этой цели были необходимы не только для легитимации правил ее власти, но также для играющих определяющую роль мотиваций на ряде уровней... При отсутствии выраженного на выборах согласия, она была необходима для мобилизации для партии массовой базы с некоторой степенью приверженности” [Beetham 1991: 185].

* * *

Присущ ли такой тип легитимации власти исключительно тоталитарным режимам? Современные общественные структуры, независимо от уровня технического прогресса (а может быть, и благодаря ему) обладают удивительной пластичностью и нередко обнаруживают под новыми цивилизованными слоями вполне архаические и традиционные компоненты мышления и социальной практики. Именно это обстоятельство, наряду с обрисованными Бердяевым элементами “матрицы” русского характера, как представляется, и помогает понять, почему в России терпит крах очередной либеральный эксперимент. Дело в том, что и более чем семидесятилетний период господства коммунистического режима, и сменившая его эпоха “перестройки” и “либеральных реформ” — далеко не лучшая школа для изменения тех свойств народного характера, которые особенно ярко проявлялись в революционные времена и были сразу замечены М.Горьким (в “Несвоевременных мыслях”), И.Бунным (в “Окаянных днях”), В.Зазубриным, А.Веселым и многими другими.

Трагизм политической, социальной и духовной жизни современной России состоит, прежде всего, в том, что, декларативно порвав с коммунистической системой, она пока не способна ни избавиться от традиций своего недавнего прошлого, ни обрести новых. Девять лет непрерывных реформаторских попыток подтвердили эту истину с полной непреложностью. Созданные в ходе предшествующего исторического развития психологические механизмы, регулирующие поведение как индивидов, так и больших социальных групп, обладают мощными защитными функциями. Они не признают ни больших разрывов, ни культурного вакуума. Поэтому, несмотря на любые декларации, резкий отход от привычных стереотипов и образа жизни невозможен в принципе. Прежние традиции остаются жить наперекор любым преобразовательным попыткам, принуждая политических лидеров к ним приспосабливаться и даже использовать в собственных целях.

Приходится в связи с этим констатировать, что поколение реформаторов начала 1990-х годов в своем модернизаторском порыве инстинктивно ориентировалось не на те отнюдь не лучшие традиции русского менталитета, которые сыграли роковую роль в возникновении революции и террора в начале века. Лозунг “грабь награбленное” стал вполне органичным девизом либеральной революции, превратившей в итоге российскую экономику в почти сплошное криминальное поле. Наряду с возрождающимся православием был спешно разработан новый вариант светской религии — неолиберализм, бездумно воспринятый даже образованной элитой и догматически насаждаемый ею точно так же, как когда-то насаждался в постреволюционном обществе 1920 — 1930-х годов кастрированный марксизм. Именно поэтому как только новый вариант “догоняющей модернизации”, которому предшествовал ряд политических переворотов, получил всенародную поддержку, сразу же возник — в виде политического и психологического мутанта — большевизм как политическая традиция. Российская история повторяется, подтверждая тем самым, что ее циклы, динамика и ритмы, сформировавшиеся в последние столетия, могут воспроизводиться и в ближайшем будущем. На это, однако, мало кто обращает внимание.

Если сравнить ситуацию, сложившуюся накануне XXI века, с первой фазой постреволюционного цикла начала 1920-х годов, то можно прийти к выводу, что новейший реформаторский период несколько затянулся, о чем свидетельствует и жесточайший экономический и политический кризис. Происшедший сразу после окончания гражданской войны поворот к НЭПу, создавший условия для постепенного подъема народного хозяйства, был искусственно прерван сталинским “великим переломом”, который ознаменовал переход к индустриализации и реформе сельского хозяйства на основе уже испытанных методов диктатуры и революционного террора. Либеральная революция, развернувшаяся в начале 1990-х годов и приведшая российское государство к экономической катастрофе, к настоящему времени может считаться законченной, поскольку ресурсы реформаторства в неолиберальном варианте оказались полностью исчерпанными.

Прочность либеральных институтов зависит не от революционных экспериментов, а от преодоления их последствий. Современная действительность не дает оснований считать, что российский народ и тем более его элита преодолели многочисленные психологические комплексы, возникшие за столетия “взрывного”, нередко катастрофического исторического развития. Об этом свидетельствует и современное политическое поведение отечественной интеллигенции.

С того периода, когда М.Горбачев “открыл шлюзы” и решил с помощью “гласности” преодолеть сопротивление собственного аппарата и инертность массового сознания, политизация культуры начала приобретать гипертрофированный характер. Поприще политики стало казаться исключительно привлекательным и действительно открывало немалые возможности. Но как только на повестку дня встали задачи практической реализации концепции демократических реформ и строительства либерального общества, политическая роль интеллигенции резко уменьшилась. Случилось то, что неоднократно наблюдалось в странах “третьего мира” в 1960 — 1970-е годы, а позднее в Центральной и Восточной Европе, — чем сильнее оказывалась “негативная политизация” сознания в период демонтажа старой системы, тем менее способна была интеллигенция служить позитивным фактором воплощения в жизнь выдвинутой ею идеологической программы. Отсутствие развитых структур гражданского общества и быстрое формирование авторитарного, полукриминального бюрократического комплекса власти поставили доморощенных либералов перед нелегкой для них альтернативой: уйти в оппозицию к своим бывшим соратникам или окончательно связать с ними судьбу, обретая таким образом новую “референтную группу”, но при этом возложив на себя ответственность за все их последующие деяния. Лавинообразный рост чиновничества, быстро освоившего традиции номенклатуры, весьма наглядно свидетельствует о характере сделанного многими выбора.

Катастрофические последствия проводимой новой бюрократией политики общеизвестны. Они даже получают определенное теоретическое и идеологическое осмысление, выражающееся, в частности, в утверждениях, что реформы, по сути, еще не начинались, что страна с 1985 г. переживает период судорог и конвульсий старого коммунистического режима, а идеология наших неолибералов есть не что иное, как трансформированный большевизм. К сожалению, в этих заявлениях слишком много правды, чтобы от них просто отмахнуться.

Идейные основы как большевизма, как и современного российского либерализма, носителями которого оказались представители молодого поколения партноменклатуры и окружавшей их узкой прослойки интеллектуалов, были заимствованы у Запада. Оба направления с самого начала стали демонстрировать склонность к превращению в средство идеологической легитимации методов политического управления и экономической практики, не имевших отношения к их исходным программным принципам. В идеологическом плане различие между коммунистическим и неолиберальным режимами заключает-

ся в том, что российская версия неолиберализма не имеет никаких шансов занять место коммунистической идеократии.

Сейчас в научной литературе и публицистике делается немало прогнозов относительно эволюции российского общественного сознания и идеологии. Возможен ли творческий синтез либерализма и социализма в его социал-демократическом варианте на базе обновленной "русской идеи", внутри которой лозунг восстановления российской государственности и правового строя объединится с ценностями православия, соборности или земства? Ответ на этот вопрос может дать только время. Однако в условиях кризиса массового сознания подобное развитие идеологии от состояния конкурентной фрагментарности к универсализму на основе державности представляется некоторым теоретикам умеренно-либерального толка вполне вероятной и желанной альтернативой ультрарадикальной программе новых правых и националистов.

- Арон Р. 1993. *Демократия и тоталитаризм*. М.
 Бердяев Н. 1955. *Истоки и смысл русского коммунизма*. Париж.
 Булгаков С.Н. 1993. Апокалиптика и социализм (Религиозно-философские параллели). — Булгаков С.Н. *Соч. в 2-х томах*. Т.2. М.
 Капустин Б. 1994. Либеральное сознание в России. — *Общественные науки и современность*, № 3.
 Капустин Б., Клямкин И. 1994. Либеральные ценности в сознании россиян. — *Полис*, № 1.
 Ленин В.И. 1961. Две утопии. — Ленин В.И. *Полн. соб. соч.* Т. 22. М.
 Ленин В.И. 1962. Письма из далека — Ленин В.И. *Полн. соб. соч.* Т.31. М.
 Мартов Ю.О. 1990. *Письма. 1916 — 1922*. Chahidze Publications.
 Поппер К. 1992. *Открытое общество и его враги*. Т.2. М.
 Arendt H. 1992. The Revolutionary Tradition and Its Lost Treasure. — Sandel M.J. (ed.) *Liberalism and Its Critics*. N.Y.
 Beetham D. 1991. *The Legitimation of Power*. L.
 Finifter A.W. 1996. Attitudes toward Individual Responsibility and Political Reform in the Former Soviet Union. — *American Political Science Review*, vol. 90, №1.
 Fromm E. 1989. Fragen zum deutschen Charakter. — Fromm E. *Gesamtausgabe. Bd. V. Politik und sozialistische Gesellschaftskritik*. Munchen.
 Grigor'ev V., Temkina A. 1997. *Russland als Transformationsgesellschaft: Konzepte und Diskussionen*. Berlin.
 Mises L. von. 1966. *Human Action. A Treatise on Economics*. Chicago.
 Toffler A. 1981. *The Third Wave*. Toronto, N.Y. etc.

РОССИЯ КАК РАЗРУШАЮЩЕЕСЯ ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

В.А. Ачкасов

"Кризис российской идентичности", "поиск идентичности", "необходимость серьезной дискуссии на тему национальной идентичности в России"... — подобные заявления более чем популярны в современной отечественной философской, политологической и социологической литературе. Проводятся бесчисленные конференции и круглые столы, пишутся статьи и книги по проблемам "русской идеи". Ведется поиск некой интегративной идеологии для России и русских, в который включился даже президент страны. Все это, казалось бы, свидетельство серьезных изменений, происходящих в стране.

В то же время характеристика российского общества как переходного, "промежуточного" или "традиционного", переживающего "рецидивирующую", догоняющую, частичную, даже "архаичную" (А.Ахиезер) модернизацию стала сегодня общепринятой в отечественной науке [см.: Матвеева (ред.) 1994; Наумова 1990; Пастухов 1994; Кара-Мурза 1997]. Приведу в связи с этим суждение А.Ахiezера, который считает, что "российское общество — это общество промежуточной цивилизации. Оно вышло за рамки традиционности, но так пока и не смогло перешагнуть границы либеральной цивилизации" [Ахiezер 1993: 12].

В подобном обществе, как писал еще в 1970-е годы немецкий исследователь Д.Рюшмейер, "...модернизированные и традиционные элементы сплетаются в причудливые структуры. Часто такие социальные гибриды представляют собой временное явление, сопровождающее ускоренные социальные изменения. Но нередко они закрепляются и сохраняются на протяжении поколений... Если попытаться дать формальное определение, то частичная модернизация представляет собой такой процесс социальных изменений, который ведет к институционализации в одном и том же обществе относительно модернизированных социальных форм и менее модернизированных структур" [Theorien des sozialen Wandels 1979: 382].

В теории под модернизацией понимается совокупность процессов индустриализации, бюрократизации, секуляризации, урбанизации, становления системы всеобщего образования, представительной политической власти, ускорения пространственной и социальной мобильности и др., которые ведут к формированию "современного открытого общества" в противоположность "традиционному закрытому".

В то же время следует подчеркнуть, что многие ученые говорят сегодня о некорректности тотального противопоставления модернизированного и традиционного обществ. В частности, по мнению С.Эйзенштадта, "традиционное общество постоянно меняется" и обладает механизмами обуздания разрушительных сил и интеграции перемен [Eisenstadt 1992:253]; вместе с тем любое современное общество, отмечает Р.Бендикс, оказывается на практике "частично развитым", представляя в каждый данный момент своеобразный сплав современности с остатками традиций [Bendix 1964: 181-182].

Кроме того, как считают исследователи, труднее всего проследить процесс модернизации социальных отношений, общественного сознания, изменения их "качества". В целом предполагается, что в традиционном обществе социальные отношения обладают такими признаками, как латентность, эмоциональность, коллективность, безальтернативность, ориентированность на про-

шлое. Модернизирующееся же общество постоянно наращивает открытость, рациональность, избирательность, индивидуализм, ориентированность на личный успех, осознанные формы солидарности и т.д.

Полагаю, Россия не подчиняется этим общим правилам. Несмотря на наличие практически всех формальных признаков “модерна”, российское общество демонстрирует необычайную устойчивость качества социальных отношений и традиционного сознания даже в условиях самых радикальных перемен. Конечно же, речь идет о превращенных формах отношений и сознания, имеющих, однако, чрезвычайно прочные корни в традиции.

“Догоняющая” модернизация в России создает лишь “острова современности” в преимущественно традиционалистском обществе. Внутри страны как бы возникают внутренний метафорический “Восток” (как символ отсталости, традиционности) и внутренний “Запад” (представленный прозападными политическими и интеллектуальными элитами). Они могут быть даже локализованы географически: метафорический Запад — это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, метафорический Восток — вся “российская глубинка”. В результате социум “раскалывается”, что серьезно затрудняет его движение к “современности” [Федотова 1997].

Главным способом проведения российской догоняющей модернизации можно назвать грандиозную “имитацию”. Создается лишь видимость полной вовлеченности социума в процессы реформ, всегда инициируемых сверху, в то время как общество в целом ни по своей структуре, ни по доминирующим настроениям не готово к навязываемым радикальным переменам. Характеризуя особенности начальной стадии современного российского демократического транзита, А.Мельвиль отмечает: “Не настроения и действия мобилизованных масс сыграли определяющую роль в рассматриваемых... трансформациях, вызванных преимущественно внутриэлитными процессами. Иначе говоря, взгляды, ценности и ориентации самого общества были во всех этих случаях факторами во многом вторичными” [Шевцова (ред.) 1998: 142].

В итоге резкий символический разрыв с прошлым в России зачастую оборачивается тем, что символика и форма подменяют реальное изменение содержания и тогда старая сущность незаметно возвращается. В “новые мехи” вливается все то же “старое вино”.

Схема обычного “ответа” российского социума на модернизационные импульсы, идущие сверху, тоже вполне традиционна — неприятие, пассивное сопротивление новациям, медленное накопление противоречий и потенциалов недовольства, кризис самоидентификации, а затем мощный взрыв архаизмов (смута). При этом народный протест всегда обращен в прошлое. “Память у народа долгая, он никогда не отводит взгляда от зеркала прошлого”.

Такая реакция тем более понятна, поскольку импульсы к началу изменений в стране приходят извне (“вызов Запада”), а сами эти изменения идут “за счет” общества, стоят ему огромных материальных, людских и духовных потерь. В этой ситуации именно традиция (или замещающая ее идеология) служит не только символом непрерывности, но и критерием пределов инноваций и их легитимности, а также мерилom интенсивности и направленности разрушительной социальной активности масс.

Исторический опыт свидетельствует, что распад традиционного социума начинается с разрыва социальных связей. Катастрофическая ситуация в современном российском обществе, стремительные и отнюдь не всегда позитивные перемены в экономике, политической жизни, повседневной деятельности людей, радикальные изменения геополитического пространства предопределяют острый кризис идентичности, как личностной, так и групповой, неудовлетворен-

ность ряда социальных и духовных потребностей индивидуума. “Сущностью кризиса коллективной идентичности являются: распад коллективной памяти, утрата веры в будущее, несоответствие представлений культуры о самой себе и ее восприятием другими культурами, чувство неполноценности перед другой культурой”, — считает немецкий исследователь В.Хесле [Хесле 1994: 121]. Разрушение традиционных общностей, статусов, связей, референтных групп, механизмов социализации, привычного образа жизни обрекает многих россиян на чувство одиночества и потерянности, заставляет искать новые (и/или восстанавливать традиционные) формы коллективности (национальные, региональные, возрастные и т.д.), что приводит к усилению конфликтов между различными способами идентификации, росту напряженности в обществе.

Следствием общественного распада является чрезвычайный динамизм смены ценностей, в котором важно отметить:

— возрождение у массовых социальных категорий прежних стереотипов и прежних ценностей (в т.ч. архаичных), однако с изменением их направленности (“образ врага” — но новый, ожидания “светлого будущего” — но другого, вера в простые и быстрые решения — но иные и пр.);

— появление значительных групп людей с разрушенными ценностями, которые ничем не заменены (распространение аномии, утрата идентичности проявляются в таком случае в несоответствии поведения нормативным требованиям среды). В этих условиях “советский коллективизм”, как и “русская соборность”, к которым апеллируют российские коммунисты и национал-патриоты, оказываются скорее мифом, никак не связанным с действительностью.

Наиболее заметным продуктом разложения социума стал индивид, “выпавший” из-под контроля своей социальной среды, с ее полуразрушенными традициями и нормами, и ориентированный на достижение личных целей любой ценой. Речь идет о так наз. “новых русских”. Хотя на уровне деклараций они могут демонстрировать приверженность либеральным ценностям, на уровне ментальности они те же “стихийные большевики” — носители мозаичного, расколотого “традиционалистски-модернизаторского” сознания. Будучи маргиналами российского общества, они чувствуют отрыв и отчуждение от него и потому стремятся разрушить его “до основания”, перестроить “под себя”, по-новому, теперь уже либеральному (чудовищно вульгаризированному) проекту. Если у большевиков социализм — это прежде всего тотальная уравниловка и насильственный коллективизм, то у неоменеевиков капитализм — не менее тотальное неравенство и аморальный индивидуализм. Объединяют “старых” и “новых” большевиков и многие иные качества: необременность нормами нравственности и права (84% “новых русских” открыто признают, что их капиталы нажиты в обход закона [Бочаров 1997: 75]), стремление к достижению успеха любой ценой (приватизация собственности в России шла под большевистским лозунгом “грабь награбленное”), презрение к родной стране и социальной среде, из которой вышли*. Эти “новые русские”, получающие колоссальные доходы за счет паразитирования на посреднических операциях, на спекуляции валютой, на экспортно-импортных операциях и грабительской приватизации**, не связывают своего будущего с ограбленной ими страной (недаром они называют ее “эта страна”), с ее экономическим и культурным подъемом. От них, как считает Е.Стариков, исходит главная опасность того, что к власти могут прийти политические экстремисты, а целостность России окажется под угрозой [Стариков 1993].

* Показательна реакция одного из “новых русских”, кстати, владельца книжного издательства, на акцию протеста главных потребителей его продукции — студентов и преподавателей высшей школы весной 1998 г.: “Пора им понять, что халва кончилась”.

** Как отмечают исследователи, в России финансовый и торговый капитал, тесно связанный с бюрократическими структурами, доминирует над слабым и архаичным капиталом промышленным, что деформирует экономику страны и ведет к ее дальнейшей деградации.

По мнению Б.В.Маркова, именно “отсутствие либерального порядка на уровне повседневности и объясняет то обстоятельство, что постепенно осуществляющийся переход (точнее, попытка перехода — В.А.) от запретительного права к разрешительному... приводит к совершенно неожиданным результатам... Внешние формы единства распались, а внутренние не образовались... “Закон” и “интересы народа” осознаются как ненадежные, ибо используются одной частью народа против другой и это уже не имеет никаких оправданий” [Марков 1997: 345]. Сходную точку зрения высказывает и Д.В.Драгунский: “Беда авторов российского либерального проекта состоит в том, что они не учли главного: либерализм начинается с отношений между людьми и лишь завершается экономической системой... Либерализм существенно жестче, чем социал-демократия и даже плановое хозяйство. В либерализме гораздо больше запретов, причем самые главные, как на грех, — внутренние. Так сказать, запреты совести. А с совестью у нас проблемы. Решить их путем сокращения бюджетного дефицита не удалось” [Драгунский 1998: 11-12].

Новое российское государство, построенное на основе “социального договора” между новыми и старыми “привилегированными” представителями экономики и политики, обменивающимися, по словам С.Холмса “неподотчетную власть на налогооблагаемое имущество” [Holmes 1996: 53], цинично игнорирует интересы подавляющего большинства населения. Проблемы социальной справедливости, защиты обездоленных, всегда столь важные для российского политического дискурса и ставшие сегодня центром полемики “либералов” и “коммуитаристов” на Западе, практически не обсуждаются ни научным сообществом, ни российскими масс-медиа.

“Элита вредителей” (С.Холмс) живет как бы в отдельном от деморализованных нищающих граждан мире, олицетворением которого стала сегодня Москва. Исследователи отмечают начало процесса “рутинизации” политической элиты. Доступ в нее, приоткрывшийся в годы перестройки, вновь закрыт. “Демократическая власть” обрастает пышными церемониями и ритуалами, возрождает до боли известные образцы патрон-клиентельных отношений советской эпохи. Это касается и стиля начальственного поведения (особенно в провинции), и реакции на него граждан.

Навязчивые апелляции к русской традиции “общинности” и “соборности”, которых давно уже нет на российских просторах, претензии на преемственность с дооктябрьской имперской Россией вызывают ироничные замечания: “Рождается странный гибрид — православное, державное, русское общество потребления” (А.Зорин).

Не случайно одной из интерпретаций этой исторической реальности стала концепция “нового русского феодализма”, получившая определенное распространение среди зарубежных и отечественных обществоведов. Такая концепция обосновывается, например, в работах В.Шляпентоха, который отмечает: “Феодальная Европа представляет многочисленные параллели с политической жизнью современной России, даже если экономическая среда двух обществ кажется несопоставимой — для одного характерна средневековая экономика с абсолютным преобладанием сельского хозяйства и ремесел, для другого — высокоразвитая индустриальная экономика, способная производить и запускать космические корабли”. Одновременно ученый указывает, что “сходство с ранним феодализмом может быть... найдено в любом современном обществе, которое, вследствие межэтнических и племенных конфликтов или в результате коррупции, имеет государство, не способное обеспечить законность и порядок” [Shlapentokh 1996: 393].

В свою очередь, Ч.Фербенкс рассматривает российские реформы как процесс окончательной феодализации государства, под которой он понимает передачу официальному лицу в полное распоряжение определенных ресурсов в обмен на поддержку или несение какого-либо вида службы. В частности, он пишет: “Мы (Запад — В.А.) видели в нашей стратегии экономических реформ, с ее упором на необходимость приватизации государственной собственности,

необходимое средство модернизации. Но в данных условиях она усиливала присущие советской системе феодальные тенденции, которые высвобождались из-под развалин этой системы” [Fairbanks 1995: 48-49].

Попытка обобщения итогов дискуссии о новом российском феодализме предпринята в работах английского исследователя Д.Лестера, который выделяет следующие, наиболее важные характеристики указанного феномена:

- Абсолютное доминирование частных интересов над публичными не только на уровне повседневности, но и в предпочтениях и поведении государственных служащих — от бюрократов до политиков.
- Тесное переплетение собственности и власти. Во многих случаях целые регионы превращаются в обширные феодальные фьефы на условиях личного держания.
- Постоянно усиливающееся преобладание личных связей, основанных на все более неформальных (или неинституционализированных) отношениях в политической, социальной и экономической сферах. Типичным выражением таких связей становится понятие “крыша”. Если отношения “вассалитета” преобладают на уровне правителей, то на нижних ступенях социальной лестницы наиболее типичными становятся отношения патронажа и клиентелы, являющиеся, как свидетельствует опыт европейского средневековья, выражением не иерархии, но, напротив, стремления к установлению определенного порядка.
- Всеобщее господство бартера на всех уровнях социума — от производственных коллективов до сферы государственного управления.
- Рост насилия, заставляющий людей все больше полагаться на собственные силы, вплоть до создания частных армий теми, кто обладает достаточными средствами. Естественно, что эта тенденция поощряет организацию связей между “лордами” и “баронами” на принципах предоставления защиты (“крыши”) более слабым со стороны более могущественных.
- “Провинциализация” страны, т.е. резкое ослабление тенденции к интеграции во всех сферах жизни.
- Неспособность к достижению компромисса и согласия в политической сфере, поскольку в результате усиления интриг ставки в борьбе за власть часто оказываются очень высокими.
- Все более явная трансформация политических партий и ассоциаций из механизмов артикуляции и агрегации интересов в орудия достижения частных целей и продвижения во власть отдельных политиков.
- Формирование “государства в государстве” в высших эшелонах власти как средство обеспечения безопасности и личного благосостояния [Lester 1998: 200].

Как ни удивительно, на этих шатких основаниях некоторые исследователи делают вывод о стабилизации “нестабильности”, т.е. переходного российского политического режима [см.: Дилигенский 1997а; Гельман 1996], хотя на деле можно говорить лишь об удивительной политической апатии общества и некоторых признаках консолидации федеральных и региональных политических элит. Более того, такая консолидация связана лишь с общей заинтересованностью последних в консервации институциональной неразвитости общества и государства, позволяющей им избежать демократического контроля снизу и риска потери власти.

Сравнение современной России со средневековой Европой дает хотя бы иллюзорную надежду на рождение в каком-то обозримом будущем российской демократии, поскольку именно феодализм внес решающий вклад в становление демократии европейской. Однако, как отмечает российский исследователь процессов зарождения и эволюции европейских демократических институтов В.М.Сергеев, “закрытость элиты для нижних слоев (характерная и

для средневековья, и для современной России — В.А.) может существовать в рамках достаточно стабильной системы только в том случае, когда для способных выходцев “снизу” есть разумная социальная альтернатива”. В Западной Европе в средние века такой альтернативой была “церковная иерархия, открытая для выходцев из социальных низов, с высоким уровнем вертикальной мобильности” [Сергеев 1999: 48]. В современной России подобной альтернативы, способной сыграть роль социального амортизатора, для представителей неэлитарных групп, похоже, не существует.

“...Коррупция, раздача льгот и привилегий, “блуждающий фаворитизм” стали главными “приводными ремнями” организации общества и налаживания обратной связи; национальный общественный продукт перераспределяется непродуктивно и значительная часть его разворовывается. Все это исключает выход экономики из глубокой стагнации и оздоровление государства, всей системы общественных отношений”, — делает неутешительный вывод А.Солоницкий [Солоницкий 1998: 72].

Поскольку идентификации, как правило, связаны с основными социальными институтами, такими как семья, государство, экономика и т.д., и проявляются через соответствие поведения институциональным требованиям, в условиях разрушения и радикального изменения данных институтов “советский” человек очень остро почувствовал свою ненужность стране и новому, “либеральному” государству. В такой ситуации вопрос “а зачем это государство мне?” звучит совершенно оправданно и приводит к осознанию “заброшенности”, отчужденности многих и многих индивидов, к разрушению и без того слабых форм гражданской солидарности, к возрождению системы патрон-клиентельных связей и все более широкому распространению того, что Э.Бэнфилд называл “аморальной семейственностью”. “Представьте себе, — писал ученый, характеризуя суть указанного феномена, — что краткосрочные выгоды той или иной нуклеарной семьи постоянно ставятся во главу угла, и притом учтите, что остальные поступают точно так же” [Banfield 1958: 85]. Подобная система, традиционная для юга Италии, в России оформилась, по мнению Г.Г. Дилигенского, в сталинскую эпоху, под воздействием политических и экономических обстоятельств. “Постсталинский “поздний” социализм — это общество законченных индивидуалистов. Это своеобразный адаптационный индивидуализм, мало похожий на западный; он не ориентирован на свободную жизнедеятельность человека, сочетается с социальной пассивностью и конформизмом, с низкой способностью к разумному самоограничению во имя групповых интересов. Когда в 1980 — 1990-х годах маскировавшие его “коллективистские” нормы были отброшены, он проявил себя с полной силой” [Дилигенский 1997б: 277].

“Пассивное большинство” сегодня все более склонно отрицать любые политические авторитеты (и общенационального, и местного уровня); оно не доверяет официальным заявлениям, критикует средства массовой информации, считая их (не без основания) продажными. Действия правительства и политиков трактуются как “сговор”, “ложь”, “цинизм” или, в лучшем случае, как “глупость” и “некомпетентность”. Все это — проявление тотального отчуждения людей от “режимной системы” [Саква 1997]. В социуме, “в котором идентичность индивидов ищет опору лишь в семейно-родственных и дружеских связях, а все, что находится за их пределами, воспринимается как потенциальная или даже реальная угроза личному существованию... в таком социуме необходимость политической институционализации становится проблематичной; проблематичными оказываются любые политические образования — партии, движения, течения” [Thompson, Ellis, Wildayski 1989: 3-4]. Не веря в дееспособность возникших демократических институтов, граждане их просто игнорируют. Как показывают опросы, до 60% населения убеждены ныне, что свобода и демократия принесли с собой утрату порядка, при этом 76% считают, что России сегодня нужнее порядок, и лишь 9% отдают предпочтение демократии. Мало того, около половины респондентов склоняются к мысли, что принци-

пы западной демократии вообще не совместимы с российскими политическими традициями [Седов 1995: 194]. Постепенно демократия превращается в России в конвенциональную ценность, олицетворяющую “все то хорошее”, что есть “у них” на Западе и вряд ли возможно у нас, в некий аналог “коммунизма”, правда, имеющий, в отличие от последнего, реальное воплощение на земле.

Разочарование в российской демократии привело к дискредитации в массовом сознании демократических символов, ценностей и институтов, включая парламент и многопартийные выборы. По заключению Института развития парламентаризма, 21% россиян уверены в том, что России не нужно Федеральное Собрание, а еще 27% не имеют об этом своего мнения [Бетанелли 1994: 9-10]. По материалам другого социологического центра — ВЦИОМ, среди результатов, достигнутых в процессе перестройки, самое негативное отношение у респондентов вызывают именно многопартийные выборы [Левада 1995]. Только недоверием к институту выборов можно объяснить и следующие данные: в начале 1996 г. на предстоявших президентских выборах за Б.Ельцина собирались голосовать лишь 5-7% опрошенных; в то же время 30-40% считали, что президентом будет избран именно он [Русская мысль 1998].

К слову сказать, элита тоже видит в выборах дестабилизирующий фактор, хотя и терпит их пока как неизбежное зло. Такое отношение связано, прежде всего, с тем, что ее возможности контролировать электоральный процесс все-таки ограничены. В условиях же, когда главные для страны — президентские — выборы проводятся по формуле “победитель получает все” и каждый избирательный цикл превращается в игру с нулевой суммой [Линц 1994], система начинает во многом зависеть от превратностей электорального процесса (отсюда небезуспешное стремление поставить электоральный процесс под контроль).

Кроме того, не следует забывать, что легитимация власти в России традиционно имела и имеет идеократический характер (ибо в основе любого традиционного общества лежит ориентация на ценности, а не на практические цели) и всегда осуществлялась не путем свободного волеизъявления народа, а “сверху”. Отсюда, в частности, серьезная озабоченность главы российского государства (как бывшего, так и нынешнего) и многих московских интеллектуалов проблемами формулирования новой национальной идеи, способной консолидировать общество.

Вместе с тем, как ни парадоксально, “разгосударствление” постсоветского человека, некоторый рост ориентации на сферу частного интереса* не нейтрализуют, а напротив, актуализируют потребность в прямой социальной опеке со стороны сильного государства. Социологические опросы свидетельствуют, что в массовом сознании по-прежнему доминируют патерналистские модели отношений “личность/малая социальная группа — государство”, стремление максимизировать социальные функции последнего. При этом именно уверенность в потенциальной способности государства обеспечить удовлетворение социальных потребностей во многом и обуславливает недовольство, негативную оценку истеблишмента и проявившееся практически во всех российских регионах “москворочество” [см. Грунт, Кертман, Павлова, Патрушев, Хлопин 1996: 68].

Социологи констатируют: “Стремительно сокращается доля убежденных сторонников либеральных ценностей. Так, за три года (1995 — 1997 гг. — В.А.) ...число сторонников рынка, практически не регулируемого государством, упало с 12,6% до 3,5%... Причем значительную часть этой группы составляют те, кто так или иначе связан с относительно-процветающими экономическими структурами” т.е. “новые русские”. Авторы исследования стыдливо-уклончиво называют их “рациональными (?) либералами” [Российское общество 1998: 76, 84].

* В 1994 г. доля желающих открыть собственное дело было довольно велико — 24%, хотя реальные шаги в этом направлении предприняли только 4%.

Однако отмеченный парадокс представляется мнимым, поскольку речь идет об особой российской форме индивидуализма, более эгоцентричного, аморального и агрессивного, чем индивидуализм современного западного мира. Вследствие этого он нуждается в неких ограничителях: внутреннем, т.е. в особой микросреде со специфическим стилем общения и взаимной поддержки (не случайно исследователи отмечают, что все так наз. “новые русские” резко меняют круг своего общения, разрывая старые социальные связи), внешнем — в сильном “патерналистском” государстве. Формула такого индивидуализма — “каждый за себя, только государство за всех” (П. Кропоткин). Чем ощутимее подобный индивидуализм, тем выше потребность в сильном государстве и лидере, способном ограничить своеволие своих граждан*.

Таким образом, в политической культуре россиян, казалось бы, до сих пор доминируют характеристики, присущие тому “идеальному типу” политической культуры, которую Г. Алмонд и С. Верба называли “подданнической” [Almond, Verba 1963]**. Граждане “демократической России” по-прежнему рассматривают себя скорее как объект (благотворного или наоборот) воздействия со стороны государства, чем как реальных участников политического процесса, а идеальный образ государства сохраняет в их глазах ярко выраженные патерналистские черты.

Рассматривая личность правителя в качестве политического и морального центра власти, наши сограждане пытаются объяснить недостатки в функционировании системы по традиционной схеме “добрый царь — нерадивые слуги”, а в случае разочарования в личности автократа вместо структурных изменений в организации власти предпочитают искать очередного героя, способного спасти общество, навести в нем порядок. Это, в частности, продемонстрировал феноменальный успех на декабрьских 1999 г. выборах в Государственную Думу наспех сколоченного избирательного блока “Единство”. Его список возглавили “три богатыря — спасителя России” (именно так их подавали в политической рекламе). Избирателям методично вбивали в голову этот мифологический образ: “Спасатель Сергей Шойгу, богатырь Александр Карелин и борец с преступностью Александр Гуров сегодня нуждаются в ваших голосах”... Но зато в случае победы на выборах “они вместе со своими единомышленниками по блоку “Единство-Медведь” (не больше, не меньше!) спасут наше будущее!” [Вести 1999: 3]. За образами “трех богатырей” ясно просматривалась фигура “исполняющего обязанности строгого, но справедливого царя”, избавляющего Россию от угрозы чеченского терроризма. Сегодня В.В. Путин, несомненно, один из самых популярных политиков России и самая подходящая кандидатура на роль “российского Бонапарта”, наводящего “сильной рукой” порядок в стране. Но надолго ли хватит этого кредита доверия?

* Справедливость такого заключения подтверждают, в частности, данные опросов: лишь 26% россиян полагают, что благополучие человека зависит преимущественно от него самого, тогда как 64% связывают его со степенью справедливости общественного устройства; 65% считают, что по сравнению с советским временем отношение власти к людям ухудшилось, и только 4% считают, что оно улучшилось [см.: Шестопал 2000; Экономические и социальные перемены 1996].

** По мнению В. Рукавишникова, “политическая культура российского общества в целом может быть названа культурой “наблюдателей” и отнесена к категории так наз. “фрагментированной культуры, для которых характерны отсутствие прочного общественного согласия о путях дальнейшего развития общества, отчужденность массы населения от власти и заметные различия в политических ориентациях возрастных когорт или поколений. Такие культуры отличаются от культур постмодерных обществ по степени развитости гражданского общества, по структурам политической идентификации и национально-государственной идентичности” [Рукавишников, Халман, Эстер 1998: 194-195]. Выделенная голландскими исследователями Хьюнсом и Хикпурсом подгруппа политических культур “наблюдателей” (сторонних зрителей) относится к категории пассивных культур и отличается от культуры “подчинения” (подданничества) только относительно высоким уровнем субъективного политического интереса. Это уточнение вполне можно принять (хотя оно и не кажется принципиальным), поскольку идеальный тип “культуры подчинения” акцентирует важную, с моей точки зрения, установку на “выход” политической системы и неверие носителей такой культуры в возможность влияния на власть (что, как представляется, характерно для россиян).

Вновь стал зримым социокультурный раскол нашего общества. Можно даже говорить о новом этапе социокультурного кризиса России. В этой исторической ситуации люмпенизированному, утратившему свою идентичность человеку незачем, да и нечем жертвовать — он сам жертва радикальных перемен и “демократического государства”. Медленно, но верно растет накал социального недовольства. Рано или поздно игнорируемые властью “люди с улицы” могут захотеть “вернуть свое”, что чревато серьезными последствиями в масштабах всего российского социума. И вряд ли эту разрушительную энергию сможет канализировать КПРФ — “официальная полуопозиция” режима, чья функция, по словам Д. Фурмана, “изображать ужасную революционную альтернативу и таким образом побуждать народ голосовать так, как надо правящей верхушке” [Фурман 1998]. Однако за спиной Г. Зюганова и его соратников все отчетливее “маячат” А. Баркашов и “Русское национальное единство”.

Россия сегодня — несомненно разрушающееся традиционное общество, но нет никакой уверенности в том, что предлагаемые политической элитой цели, идентичности и стандарты поведения есть путь в современность. Мы имеем сегодня (как реальный результат реформ) новые, но слабые и пока не утвердившиеся окончательно политические и экономические институты. Однако складывающаяся в России институциональная система не может быть понята лишь в нормативно-правовом ракурсе без учета доминирующих в ней традиционалистских, корпоративно-бюрократических неформальных правил игры. Плановое воспроизводство этих “правил” может существенно модифицировать социальный характер формирующейся системы институтов, придать ей авторитарно-олигархическую направленность*, ибо российские демократические институты не имеют ценностного либерального наполнения.

Конечно, некоторый повод для оптимизма все же есть. По утверждению неoinституционалистов, трансформация институтов способна менять политическую практику, формальные перемены могут порождать и неформальные изменения. В то же время нельзя забывать, что институциональная история развивается медленно и не гарантирует успех. Д. Норт писал в связи с этим: “Необходимо больше узнать о культурно стимулируемых нормах поведения и об их взаимодействии с бытующими в обществе формальными правилами. Мы лишь на пороге серьезного изучения институтов” [North 1998: 140].

Пока же, при отсутствии доверия между обществом и государством, неразвитости структур гражданской вовлеченности, тотальном отчуждении людей от существующего режима Россия, похоже, стоит перед следующей альтернативой: либо “обвал” в новый тоталитаризм, либо “вариант итальянского Юга — аморальная семейственность, клиентела, беззаконие, неэффективное управление и экономическая стагнация”. Еще в 1993 г. последний исход казался Р. Патнэму более вероятным, чем успешная демократизация и экономический прогресс: “В Палермо просматривается будущее Москвы” [Патнэм 1996: 228].

Ахизер А. 1993. Российский либерализм перед лицом кризиса. — *Общественные науки и современность*, № 1.

Бетанелли Н. 1994. Власть и народ. Что показал всероссийский опрос? — *Российская Федерация*, № 18.

Бочаров М.П. 1997. *От социальных ценностей к социальному государству*. М. Вести. 1999. 9.XII.

Гельман В. 1996. Шахматные партии российских элит. — *Pro et Contra*, № 1.

Грунт З.А., Кертман Г.Л., Павлова Т.В., Патрушев С.В., Хлопин А.Д. 1996. Российская повседневность и политическая культура: проблемы обновления. — *Полис*, № 4.

Дилигенский Г.Г. 1997а. Политическая институализация в России: социально-культурный и психологические аспекты. — *МЭиМО*. № 7-8.

Дилигенский Г.Г. 1997б. Российские архетипы и современность. — Заславская Т.И. (ред.) *Куда идет Россия?.. Общее и особенное в современном развитии*. М.

* Не случайно С. Липсет предлагал связывать результаты применения тех или иных форм правления не с конституционными институтами, а с особенностями политической культуры каждого данного социума [Липсет 1994].

- Драгунский Д.В. 1998. Проект-91 и сопротивление стилю. — *Полис*, № 6.
- Кара-Мурза С.Г. 1997. Россия как традиционное общество. — Заславская Т.И. (ред.) *Куда идет Россия? Четвертый международный симпозиум*. М.
- Левада Ю. 1995. В России установилась демократия беспорядка. — *Сегодня*. 15.IV.
- Линц Х. 1994. Опасности президентства. — *Пределы власти*, № 7-8.
- Липсет С. 1994. Роль политической культуры. — *Пределы власти*, № 2-3.
- Марков Б.В. 1997. *Философская антропология: Очерк истории и теории*. СПб.
- Матвеева С.Я. 1994. (ред.) *Модернизация в России и конфликт ценностей*. М.
- Наумова Н.Ф. 1990. Влияние переходных социальных структур на социальные качества человека. М.
- Пастухов В.Б. 1994. *Три времени России. Общество и государство в прошлом — настоящем — будущем*. М.
- Патнэм Р. 1996. *Чтобы демократия сработала. Гражданские традиции в современной Италии*. М.
- Российское общество и современный политический процесс (опыт политолого-социологического анализа). 1998. — *Обновление России: Трудный поиск решений*. Вып. 4. М.
- Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. 1998. *Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения*. М.
- Русская мысль*. 1998. № 4226.
- Саква Р. 1997. Режимная система и гражданское общество в России. — *Полис*, № 1.
- Седов Л.А. 1995. Перемены в стране и в отношении к переменам. — Заславская Т.И. (ред.) *Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития*. М.
- Сергеев В.М. 1999. *Демократия как переговорный процесс*. М.
- Солоницкий А. 1998. Российское государство и развитие: мутация власти. — *МЭМО* №12.
- Стариков Е. 1993. Антиподы. (Компрадорская и национальная буржуазия в России). — *Знамя*, № 12.
- Федотова В.Г. 1997. *Модернизация «другой» Европы*. М.
- Фрейд З. 1993. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия. М.
- Фурман Д. 1998. Два кризиса в одни руки, почему это выгодно политической элите в России. — *Общая газета*. 3-9.IX.
- Хесле В. 1994. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности. — *Вопросы философии*, № 10.
- Шевцова Л. (ред.) 1998. *Россия политическая*. М.
- Шестопад Е. 2000. *Психологический профиль российской политики 1990-х. Теоретические и прикладные проблемы политической психологии*. М.
- Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения*. 1996. № 1.
- Almond G., Verba S. 1963. *The Civic Culture. — Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton.
- Bendix R. 1964. *Nation-Building and Citizenship. — Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. N.Y.
- Banfield E.C. 1958. *The Moral Basis of a Backward Society*. Chicago.
- Eisenstadt Sh.N. 1992. Frameworks of the Great Revolutions: Culture, Social Structure, History and Human Agency. — *International Social Science Journal*, vol. 44, № 133.
- Fairbanks Ch. 1995. The Feudalization of the State. — *Journal of Democracy*, vol. 10, № 2.
- Holmes S. 1996. When Less State Means Less Freedom. — *Transition Changes in Post-Communist Societies*, vol. 4, № 4.
- Lester D. 1998. Feudalism's Revenge: The Inverse Dialectics of Time in Russia. — *Contemporary Politics*, vol. 4, № 2.
- North D. 1998. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. N.Y.
- Shlapentokh V. 1996. Early Feudalism — The Best Parallel for Contemporary Russia. — *Europe-Asia Studies*, vol. 48, № 3.
- Thompson V., Ellis R., Wildayski F. 1989. *Cultural Theory*. Berkeley.
- Zapf G. von (Hrsg.) 1979. *Theorien des sozialen Wandels*. Konigstein.

РОССИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ В СВЕТЕ КОНЦЕПЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

С.А. Ланцов

Составной частью сложного процесса перехода от традиционного общества к современному является политическая модернизация. Содержание ее составляют качественные изменения политической системы, связанные с соответствующими трансформациями в экономической, социальной и культурной сферах общества. В процессе такой модернизации происходит как становление новых, так и эволюция, приспособление к изменившимся обстоятельствам наличных политических институтов. При этом объективно необходимо, с одной стороны, сохранять политическую стабильность как важнейшее условие общественного развития в целом, а с другой — расширять возможности и формы политического участия, массовую базу реформ.

Процессу политической модернизации угрожают, как правило, две основные опасности. Первая — отставание ее от изменений в других сферах жизнедеятельности общества. Подобный разрыв способен стать причиной революционного кризиса. Другая опасность состоит в том, что быстро протекающая демократизация может оказаться не подготовленной уровнем развития гражданского общества и политической культуры социума. В таком случае также велика вероятность возникновения кризисной ситуации, чреватой хаосом, ведущей к охлократии.

Своеобразным индикатором, показывающим степень продвижения той или иной страны по пути политической модернизации, служат роль и место законодательной власти (парламента) в структуре политических институтов. Не столь важно, какая именно форма государства утверждается, главное, чтобы парламент обеспечивал представительство интересов всех социальных групп, оказывал реальное воздействие на принятие властных решений.

Анализ эволюции европейских представительных учреждений позволяет выявить некоторые общие закономерности процесса становления такой системы. Во-первых, парламент нередко вырастает из традиционных органов сословного представительства, как это было, например, в Англии. Во-вторых, законодательная власть расширяет свои полномочия по отношению к власти исполнительной до тех пор, пока не устанавливается их оптимальный баланс в рамках утвердившейся модели разделения властей. В-третьих, происходит поэтапная демократизация самого парламентского учреждения и механизмов его формирования. Последнее обстоятельство наиболее существенно для рассматриваемой нами проблемы.

Если обратиться к ранним этапам политической модернизации стран, служащих сегодня эталонами парламентской демократии, то нетрудно заметить, что в те времена их представительные институты имели явно недемократический, по современным критериям, характер. Это выражалось в том, что часть депутатского корпуса (особенно верхних палат) формировалась помимо избирательной процедуры. Очень далеко от демократического идеала отстояли и сами выборы: они были многоступенчатыми, непрямыми; активное и пассивное избирательное право существенно лимитировалось цензовыми ограничениями [см. напр. Федосов 2001].

Подобная практика находила теоретическое оправдание в консервативных и умеренно-либеральных политических концепциях. Так, А.Гамильтон, Дж.Адамс и Дж.Мэдисон прямо указывали, что в американских условиях того времени

полная политическая демократия неизбежно обернулась бы тиранией неимущего и малоимущего большинства над зажиточным меньшинством, привела бы к нарушениям экономической свободы и прав собственности. Противоядие от охлократии отцы-основатели США усматривали в разнообразных механизмах ограничения политической демократии [см. напр. Согрин 1991: 54].

Обоснованность этих опасений показала революция во Франции. Вопреки провозглашенным в 1789 г. демократическим и либеральным принципам, новый политический режим довольно быстро приобрел черты охлократии. Социолог Г.Тард так описывает политическую атмосферу в стране в разгар революции: "Безвольный король погиб, но еще раньше погибло всякое подобие правительства. Франции как государства не было, а было 40 тысяч отдельных государств. 40 тысяч самодержавных коммун, управляющихся малограмотными, а часто и совсем безграмотными людьми. Власть перешла к клубам и к уличным перекресткам, где собравшаяся любая кучка людей объявляла себя представительницей народа и составляла комитет, именем которого производились аресты и люди посылались на гильотину. Стоило только подобрать себе сообщников из уличных отбросов и назвать себя комитетом, чтобы держать в страхе целый город. Одно слово 'комитет' действовало устрашающим образом на мирное население. Из кого он состоит, кто дал ему полномочия, об этом не смели спрашивать". Мало что меняло и формальное наличие институтов парламентской демократии. "В Париже был парламент, но повиноваться ему насильники и не думали. Народ был выше парламента, он дал полномочия и каждую минуту мог отнять их. Для этого не нужно даже было новых выборов, а просто народ приказывал ему отменить свои постановления, в противном случае грозил, что исполнять их не будет. Народ — это были опять-таки клубы, комитеты и публика, шумевшая на галереях. Сами депутаты поддерживали в ней эту мысль, что они только ее слуги, а она их повелительница" [Царство толпы 1990: 15].

Охлократия открыла во Франции путь к установлению диктатуры. Стремительная демократизация оказалась чересчур сильной нагрузкой, которую не выдержали ни люди, ни государственные институты. Потребовались новые исторические циклы, еще несколько тяжелых революционных кризисов, прежде чем в стране завершился процесс создания устойчивой системы парламентской демократии.

Там, где становление такой системы происходило без революционных потрясений, оно, как правило, отличалось плавностью и постепенностью. Примером могут служить наиболее стабильные демократические государства Европы — скандинавские. В каждом из них для упрочения парламентских норм и формирования демократических избирательных систем потребовалось около ста лет. Так, в Норвегии парламент (стортинг) был создан в 1814 г., принципы парламентаризма в политической системе утвердились в 1884 г., избирательное право для мужчин было введено в 1898 г., а для женщин — в 1913 г. В Швеции риксдаг в своем нынешнем виде возник в 1809 г., дважды — в 1866 и в 1974 г. — он существенно реорганизовывался; избирательное право стало всеобщим для мужчин в 1909 г., для женщин — в 1921 г. Несколько иначе складывалась ситуация в Дании. После появления парламента в 1834 г. там очень быстро было установлено всеобщее избирательное право для мужской части населения — в 1849 г., хотя женщины получили его только в 1915 г. [Nordic Democracy 1981: 129].

В последние десятилетия политическая наука уделяла преимущественное внимание "догоняющим" вариантам модернизации. Возникновение самой теории политической модернизации было связано с потребностью получить ответы на многочисленные новые вопросы, которые поставила практика общественного развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки, пытающихся преодолеть свое отставание от Западной Европы и Северной Америки в технологическом, экономическом, социальном и культурном отношениях. Однако, на наш взгляд, теоретические выводы и методологические подходы

исследователей политической модернизации "третьего мира" могут иметь и более широкое применение. Их правомерно использовать при политологическом анализе тенденций исторического развития других стран, в т.ч. России.

Среди исследователей, активно занимавшихся теоретическими проблемами политической модернизации, особое место принадлежит С.Хантингтону. Не умаляя заслуг таких ученых, как Г.Алмонд, С.Эйзенштадт, Д.Эптер, С.Верба, Р.Даль, Л.Пай и др., надо признать, что именно Хантингтон предложил теоретическую схему политической модернизации, которая не только наиболее удачно объясняет процессы, происходившие в странах Азии, Африки и Латинской Америки в последние десятилетия, но и помогает разобраться в политической истории России. Конечно, эта схема не абсолютна, ряд ее элементов нуждается в уточнении, если не в существенном обновлении. Сам ее автор признавал, например, что представление о строгой последовательности фаз модернизации является ошибочным [Huntington 1976: 38].

В соответствии с концепцией Хантингтона, социальный механизм и динамика политической модернизации выглядят следующим образом. Стимулом для начала модернизации служит некая совокупность внутренних и внешних факторов, побуждающих правящую элиту приступить к реформам. Преобразования могут затрагивать экономические и социальные институты, но не касаться традиционной политической системы. Следовательно, допускается принципиальная возможность осуществления социально-экономической модернизации "сверху", в рамках старых политических институтов и под руководством традиционной элиты. Однако для того чтобы "транзит" завершился успешно, необходимо соблюсти целый ряд условий и, прежде всего, обеспечить равновесие между изменениями в различных сферах жизни общества. Кроме того, очень важна готовность правящей элиты проводить не только технико-экономическую, но и политическую модернизацию.

Политическая модернизация, которую Хантингтон понимает как "демократизацию политических институтов общества и его политического сознания" [Huntington 1970: 266], обусловлена рядом социальных факторов. Какими бы мотивами ни руководствовалась правящая элита, начиная реформы, последние ведут к вполне определенным изменениям. Любые шаги, направленные на индустриализацию, на социально-экономический прогресс, неизбежно способствуют развитию системы образования, заимствование передовых технических и естественнонаучных идей. Но если страна поворачивается лицом к внешнему миру, то вместе с научно-технической информацией она неминуемо начинает впитывать и новые политико-философские идеи, способствующие возникновению сомнений в целесообразности и незыблемости существующего порядка. А поскольку составной частью модернизационного процесса является эволюция социальной структуры общества, то эти идеи попадают на подготовленную почву.

Индустриализация и урбанизация влекут за собой формирование и быстрый рост новых социальных групп, существенно отличающихся по своим установкам от традиционных. Хантингтон особо отмечает значение среднего класса, состоящего из предпринимателей, управляющих, инженерно-технических специалистов, офицеров, государственных служащих, юристов, учителей, университетских преподавателей. Самое заметное место в структуре среднего класса занимает интеллигенция, которую ученый характеризует как потенциально наиболее оппозиционную силу [Huntington 1970: 290]. Именно интеллигенция первой усваивает новые политические идеи и способствует их распространению в обществе. В результате все большее количество людей, целых социальных групп, ранее стоявших вне публичной жизни, меняют свои установки. Эти субъекты начинают осознавать, что политика напрямую касается их частных интересов, что от решений, принимаемых властью, зависит их личная судьба. Появляется все более осознанное стремление к участию в политике, к поиску механизмов и способов воздействия на принятие государственных решений.

Поскольку традиционные институты не обеспечивают включения в публичную жизнь пробуждающейся к активной политической деятельности час-

ти населения, то на них распространяется общественное недовольство. Наступает критическая ситуация. Если не принимаются меры по созданию институтов, открывающих соответствующие возможности для стремящихся к политическому участию групп, если правящая элита не решается проводить структурные реформы, возникают и увеличиваются “ножницы” между растущим уровнем активности социальных групп и реальной степенью политической модернизации общества. Наиболее быстрым и радикальным способом ликвидации подобных “ножниц” является революция. Разрушая старую систему, она создает новые учреждения, правовые и политические нормы, способные обеспечить участие масс в политической жизни. Прежнюю правящую элиту не сумевшую справиться с возникшими проблемами, оттесняет новая элита, более динамичная и открытая веяниям времени.

В период перехода от традиционности к современности (модерну) значительная часть населения продолжает проживать в сельской местности. Города остаются небольшими островками в огромном крестьянском море. Само по себе крестьянство преимущественно консервативно, привержено традициям, слабо восприимчиво к абстрактным политическим лозунгам свободы, равенства и конституционных прав. Поэтому оно может поддерживать антиправительственные действия только в ситуации, когда центральная власть явно не способна удовлетворить его социальные и экономические требования. В этом случае городская революция получает мощную поддержку со стороны деревенского мира, что практически гарантирует ей успех, но намного увеличивает опасность деформации ее целей и итогов.

Революция имеет двойственный характер. С одной стороны, она есть результат недостаточно быстрой и комплексной модернизации, а с другой — проявление протеста против самого процесса модернизации и его социальных последствий. Реальные политические итоги революции могут быть прямо противоположны тем лозунгам, под которыми она начиналась. Если речь идет о задачах социально-экономической модернизации, то революция, как и всякое сильное общественное потрясение, способна на время приостановить и затруднить их реализацию. Соответственно, вряд ли есть основания считать всякую революцию безусловной формой (“локомотивом”) общественного прогресса, о чем свидетельствует и наш собственный исторический опыт.

* * *

История последних столетий знает четыре типа социально-экономической модернизации. Первый — *доиндустриальная* модернизация — связан с переходом от естественных производительных сил к мануфактуре. Второй — *раннеиндустриальная* модернизация — технологически детерминирован переходом от ремесленного и мануфактурного производства к фабрично-заводскому. Третий — *позднеиндустриальная* модернизация — обусловлен переходом от фабрично-заводского к поточно-конвейерному производству. Наконец, четвертый — *постиндустриальная* модернизация — вызывается к жизни современной технологической революцией [см. напр. Красильщиков, Зиборов, Рябов 1993: 108].

Каждый тип модернизации может осуществляться в русле как органического, так и неорганического, догоняющего развития. Именно по последнему пути и шла Россия на протяжении нескольких веков. Но ни одна из ее попыток осуществить догоняющую модернизацию полностью не удалась, и если в технологическом и социокультурном плане историческая ситуация порой складывалась благоприятно, то задачи политической модернизации всегда оставались камнем преткновения для реформаторов.

Первый опыт такого рода — реформы Петра I*. Разумеется, петровские нововведения не были рассчитаны на переход к обществу модерна, поскольку

такового еще не существовало и в самых передовых на то время странах [см. напр. От аграрного общества 1998]. Но успешные преобразования могли бы обеспечить дальнейшее органичное продвижение России по пути индустриализации, становления гражданского общества и политической демократии. Этого, однако, не произошло.

Петровские реформы до сих пор вызывают горячие дискуссии. Как известно, их последствия в разных сферах были далеко не одинаковы, причем некоторые изъятия петровского варианта ранней модернизации воспроизводились и на более поздних этапах отечественной истории. Петр I пытался заимствовать технику и технологию в отрыве от тех социальных и экономических институтов, в рамках которых они действовали на Западе. Неудивительно, что использование зарубежных технологических образцов приводило к результатам, прямо противоположным тем, которые достигались в других странах. Например, если в Западной Европе развитие мануфактурного производства сопровождалось распадом феодальных структур, то в России насаждение мануфактур “сверху” лишь дало дополнительный импульс такому институту феодализма, как крепостное право. Некоторые нововведения были совершенно не подготовлены предшествующим развитием страны и имели искусственный характер*.

Как и многие последующие реформации в России, петровская оказалась некомплексной (заимствование производилось в основном в областях, которые сегодня принято называть ВПК и государственной бюрократией) и незавершенной. О собственно политической модернизации в тот период вообще не могло быть и речи. Однако петровские реформы опосредованным образом оказали значительное влияние на политическое развитие России и модернизацию ее государственной системы в дальнейшем.

“Прорубив окно в Европу”, Петр I “снял” культурную изоляцию России. Но поскольку благотворные последствия деятельности самодержца в этом направлении почувствовала лишь привилегированная часть общества, в последующие два столетия социокультурный процесс в России имел дуалистический характер. Европеизированная элита перенимала западные ценности и идеалы, а основная часть населения продолжала жить в традиционной патриархальной среде, по-прежнему отгороженная от внешнего мира глухой стеной. Россия не превратилась в “Запад” в научно-техническом и социально-экономическом отношении, но через образованный слой она оказалась европейской в духовном плане. Наконец, со времен Петра Россия стала выступать в качестве непрямого и влиятельного участника европейского концерта. Эти обстоятельства, на наш взгляд, обусловили специфику последующего политического развития России.

Установление тесных связей с Западом в духовной сфере привело к тому, что любая родившаяся там политико-философская идея почти моментально находила сторонников в России, хотя зачастую и не имела никакого отношения к насущным отечественным проблемам. Символичен пример Екатерины Великой: ведя оживленную переписку с философами Просвещения, она одновременно подписывала указы, содержание которых полностью противоречило воззрениям ее корреспондентов.

В этих условиях проникавшие в Россию западные идеи оказывали двойственное воздействие на настроения образованной части общества и правящей элиты. “Со времен Петра Великого, — отмечал Н.С.Трубецкой, — в сознании всякого русского интеллигента... живут, между прочим, две идеи или, точнее, два комплекса идей: ‘Россия как великая европейская держава’ и ‘европейская цивилизация’”. Позиция человека в значительной мере определялась его отношением к этим двум идеям. Для одних дороже всего была Россия как великая европейская держава; ради сохранения ею этого статуса они готовы были пойти на полное порабощение народа и общества, на отказ от просветитель-

* Попытки вестернизировать страну предпринимались и ранее, однако реформы Петра были первыми (не только в России, но, вероятно, и в мире в целом) опытом “догоняющей модернизации” [по соотношению понятий “модернизация” и “вестернизация” см. Хантингтон 1997: 85].

* Когда Петр I учреждал первый университет, из-за границы пришлось “выписывать” не только преподавателей, но и студентов.

ных и гуманитарных традиций европейской цивилизации. Для других превыше остального стояли “прогрессивные” идеи европейской цивилизации; во имя их осуществления они согласны были пожертвовать и государственной мощью, и русской великодержавностью [Трубецкой 1993: 78].

Для образованной России начала XIX в. характерно было понимание необходимости реформ; составлялись соответствующие планы, причем на самом высоком уровне. Речь шла о вполне продуманных мерах, которые совмещали в себе социально-экономические преобразования в духе экономического либерализма и политические новации, включая конституционное оформление народного представительства. Однако планы так и остались планами. Их осуществлению помешали и внешние обстоятельства (вовлеченность России в европейскую политику), и совокупность внутренних факторов. Примечательно, что, наряду с сопротивлением со стороны косных элементов аристократии и правительственной бюрократии, одним из таких факторов оказалась и деятельность радикалов. Как часто бывало с другими “импортными” идеями, идеи революционного радикализма, активно проникавшие в то время на российскую почву, привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали их сторонники.

Автор капитального труда по истории российского либерализма В.В.Леонтович отмечал: “Александр [I] всегда видел в революционном поведении и революционных акциях препятствие к осуществлению либеральной программы. С его точки зрения, революция не осуществление, а напротив, отрицание либеральных принципов. Кроме того... Александр считал долгом главы государства действовать против тех, кто ставит на место либеральных принципов законности и свободы революционные теории и планы восстания и переворота и кто хочет становиться не на путь реформ, а на путь насильственных действий”. Это неизбежно толкало царя в сторону консервативных элементов, что имело самые негативные последствия для судьбы реформ. “К сожалению, не только слева, но и справа существовала удивительная неспособность отличать принципы законности и свободы от подрывных революционных теорий. Александр I вынужден был революционным поведением левых сил опираться на правые элементы, а вследствие этого ему становилось трудно и даже невозможно проводить в жизнь либеральные реформы потому, что эти круги отклоняли не только революционные тенденции, а и либеральные реформы” [Леонтович 1995:113-114].

Неудачное выступление декабристов окончательно перечеркнуло программу социальной и политической модернизации России начала XIX столетия. Если бы не оно, консервативным силам, возможно, пришлось бы уступить давлению со стороны приверженцев модернизации. Но восстание, организованное нелегальными союзами, развязало руки противникам реформ, что предопределило реакционный в политическом и социальном отношениях курс Николая I.

Упущенные десятилетия дорого обошлись нашей стране. Именно в тот период, когда в других ведущих государствах мира развернулись процессы, характерные для раннеиндустриального типа модернизации, развитие России, и без того отстававшей от них в технологическом, экономическом, социально-культурном плане, существенно затормозилось. Усилившийся разрыв уровней экономического развития обусловил и военно-техническое отставание России, что, в свою очередь, стало причиной ее поражения в Крымской войне. Военные неудачи заставили правительство вновь поставить на повестку дня вопрос о модернизации.

Если оценивать преобразования Александра II с позиций сегодняшнего дня, то поражает степень совпадения стратегии реформаторов с теми рекомендациями, которые содержатся в современных концепциях модернизации. Власть стремилась, сохраняя политическую стабильность, осуществлять программу социально-экономических реформ — но не под давлением “снизу”, а путем целенаправленных и обдуманных действий “сверху”. Народу было предоставлено пожалуй, столько гражданских прав и свобод, сколько он мог,

меру своей тогдашней политической зрелости, реализовать и усвоить. Впервые в истории России начался процесс освобождения общества от всепроникающего бюрократического контроля. Экономическая и социально-культурная сферы получали определенную автономию, что на практике означало реальное движение к гражданскому обществу. Этому же способствовали судебная реформа и учреждение системы местного самоуправления.

Логически следующей акцией властей (как это обосновывается в современной литературе) должно было бы стать решение задач политической модернизации. О том, что понимание ее необходимости у высшей административно-политической бюрократии, несмотря на ее колебания, все же было, свидетельствует проект реформ, вошедший в историю под названием “конституции Лорис-Меликова”. Конечно, с точки зрения либерально-демократического идеала данный документ был крайне ограничен и несовершенен. Содержавшийся в нем план создания представительного органа власти лишь с большой натяжкой можно оценить как начало становления парламентской системы. Но в стране, не имевшей демократических традиций и только что избавившейся от крепостного рабства, реализация программы Лорис-Меликова могла бы оказаться действенным шагом на пути к постепенной трансформации бюрократическо-авторитарной системы (в чем-то эквивалентной тоталитарным режимам XX столетия) в систему, аналогичную современным разновидностям авторитаризма и элитизма. В перспективе этот шаг подготовил бы почву для осуществления всего комплекса задач политической модернизации. Однако действия левых радикалов в очередной раз перечеркнули такую возможность.

Радикалы в пореформенной России представляли весьма специфичный слой интеллигенции. Существует обширная литература, характеризующая особенности отечественной интеллигенции. Ее анализ требует отдельного исследования. Отметим здесь лишь то, что по своему месту в структуре общества и социально-политическим ориентациям русская интеллигенция конца XIX в. имела мало общего с той социальной группой, о которой писал Хантингтон. Ее леворадикальное сознание формировалось под влиянием западноевропейских социалистических идей. Но поскольку между этими идеями и действительностью пореформенной России существовала пропасть, перенесение их на российскую почву не могло родить ничего, кроме мифов, которыми и руководствовались теоретики и практики русского революционаризма.

Так, мифическим было представление о том, что русский мужик — социалист по натуре, только и ждущий от кого-либо призыва к “социальной революции”, направленной против самодержавия, помещиков, капиталистов и прочих “кровопийц”. Когда тысячи молодых энтузиастов, вдохновленных этим мифом, “пошли в народ”, их ожидало огромное разочарование. В реальности русский крестьянин первых пореформенных десятилетий больше походил на крестьянина развивающихся стран, социальный портрет которого был нарисован Хантингтоном столетие спустя. Русская деревня оказалась совершенно невосприимчива к абстрактным политическим лозунгам, с подозрением отнеслась к социалистическим агитаторам и предлагаемым ими схемам общественного переустройства. Крестьянство в целом сохраняло тогда лояльность по отношению к самодержавной власти и связывало с ней свои надежды на справедливое решение вопроса о земле.

Разуверившись в перспективе революции “снизу”, часть молодых радикалов обратилась к политическому террору. Созданная для этих целей партия “Народная воля” в качестве одной из программных установок провозгласила созыв всенародно избранного Национального собрания. Средство, которое должно было послужить детонатором народной революции, называлось царевубийство. Однако вместо того чтобы проложить дорогу к мифическому Национальному собранию, этот акт надолго перекрыл путь к реальному парламентаризму. Убийство Александра II обусловило не только откат реформ, но и резкое усиление позиций реакционных, консервативных элементов в эпоху Александра III.

Последующая четверть века российской истории воспроизводит обрисованную ранее ситуацию возникновения “ножниц” в процессе модернизации. Хотя с воцарением Александра III в социально-политической сфере возобладал контрреформаторский курс, проведенные ранее преобразования способствовали бурному экономическому росту в стране. В последние десятилетия XIX в. в России развернулась первая фаза индустриальной революции. В результате мощного подъема промышленного производства* его общий индекс за двадцать лет (с 1880 по 1900 г.) удвоился. На рубеже веков по своему индустриальному потенциалу Россия заметно превосходила такие страны, как Франция, Австро-Венгрия, Италия, Япония, уступая только США, Германии и Великобритании [Уткин 2000: 193]. Под стать экономическим сдвигам были и сдвиги социальные. В указанный период значительно увеличилась численность городского населения, шел процесс формирования массового среднего класса, других социальных групп, вызванных к жизни модернизацией (прежде всего слоя промышленных рабочих).

В начале XX столетия социальные перемены стали отражаться и в политической сфере. Выросла общественная активность различных групп городского населения. Общими для них были стремление к непосредственному участию в политической жизни, выдвижение требований, направленных на институционализацию такого участия. Сначала эти требования находили место в программах первых леворадикальных партий, а затем и в деятельности более умеренных либеральных оппозиционных групп.

Назревшую в тот период потребность в политических реформах замечательно выразил Б.Н.Чичерин: “Русский народ должен быть призван к новой жизни утверждением среди него начал свободы и права. Неограниченная власть, составляющая источник всякого произвола, должна уступить место конституционному порядку, основанному на законе... Пробудится ли в ней сознание этого высокого назначения?... Придет ли это сознание путем правильного внутреннего развития или будет оно куплено ценою потоков крови и гибели многих поколений, покажет будущее. Может быть, и у нас появится государственный человек, который поймет задачи времени и сумеет двинуть Россию на путь, указанный ей историей. Во всяком случае, оставаться при нынешнем близоруком деспотизме, парализующем все народные силы, нет возможности. Для того чтобы Россия могла идти вперед, необходимо, чтобы произвольная власть заменилась властью, ограниченной законом и обставленной независимыми учреждениями. Гражданская свобода должна быть закреплена и упрочена свободой политической” [Чичерин 1990: 42].

К сожалению, надеждам на мирное, эволюционное продвижение по пути политической модернизации не суждено было сбыться. Николай II и его ближайшее окружение отвергали самую мысль об ограничении самодержавной власти. События 1905 — 1907 гг. были типичным проявлением революционного кризиса, обусловленного резким отставанием процесса политической модернизации от сдвигов в экономике и социальной структуре.

Осуществленные под давлением “снизу” конституционные реформы следует оценивать двояко. Возникшие благодаря им политические институты еще не были полноценными элементами парламентской демократии. Законодательные полномочия Государственной Думы сильно ограничивались, она не обладала правом формировать правительство и лишь в минимальной степени контролировала государственный бюджет. Совершенно недемократической была избирательная система. Верховная власть изначально враждебно относилась

* В 1890-х годах, по некоторым данным, темпы роста российского промышленного производства вдвое превосходили аналогичные показатели Германии и втрое — США. Объем промышленной продукции в денежном выражении вырос за 1890 — 1900 гг. с 1,5 млрд. руб. до 3,4 млрд. руб., выпуск чугуна увеличился на 216%, добыча нефти — на 449%, протяженность железных дорог — на 71% [Пайпс 1994: 91-92].

лась к Думе, видя в ней временное, а главное — вредное для общественного спокойствия учреждение. Как только позволила обстановка, самодержавие стало по частям отбирать дарованные ранее права, перекроило избирательную систему в еще более антидемократическом направлении. Однако надо признать, что по своим социокультурным характеристикам, в т.ч. по уровню развития политической культуры, российское общество еще не созрело тогда для полноценной парламентской демократии.

Рассматривая события 1905 — 1907 гг. в исторической ретроспективе, мы видим, что Россия уже не могла обойтись без политической модернизации, но пока не была способна успешно ее осуществить. Нерешенность целого ряда ключевых задач экономической и социальной модернизации, незрелость гражданского общества делали проблематичным непосредственный и быстрый переход к правовому государству и эффективной демократической системе. Выбор в пользу постепенных реформ при сохранении (преимущественно за счет репрессивных мер) политической стабильности, сделанный премьер-министром П.А.Столыпиным, отражал крайне противоречивую российскую реальность.

Не стремясь дать целостную характеристику деятельности Столыпина, отметим, что некоторые его идеи совпадают с теоретическими выводами авторов ряда современных концепций модернизации. Так, в начале 1970-х годов, анализируя проблемы политического развития стран “третьего мира”, американский политолог Т.Цурутани писал: “Развивающиеся страны должны иметь сильное, централизованное политическое лидерство, которое может быть авторитарным, олигархическим и даже тоталитарным... Цель развития страны — не свобода, а порядок” [Tsurutani 1973: 173-174]. Под этими словами, очевидно, мог бы подписаться и Столыпин, говоривший о необходимости “успокоить страну” и обещавший: “Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!” [цит. по Зырянов 1992: 133].

Вероятно, при определенных исторических условиях избранный Столыпиным авторитарный вариант осуществления назревших социально-экономических и (отчасти) политических реформ имел шансы на успех. Одно из этих условий — 20 лет покоя, другое — способность самодержавия добровольно пойти по пути трансформации своего режима в направлении конституционной монархии, постепенно высвобождая место во власти для новой, порожденной процессами модернизации политической элиты. Как известно, ни то, ни другое условие соблюдено не было.

Если революция 1905 — 1907 гг. была проявлением кризиса модернизации, то события 1917 г. лишь отчасти имели такую основу. Формы и динамика революционного процесса 1917 г. обуславливались трудностями затянувшейся войны, которая дезорганизовала экономическую и политическую жизнь страны, негативно сказавшись на психологической атмосфере в обществе. Вопрос тогда стоял о выборе не между диктатурой и демократией, а между различными вариантами диктатуры. Революционный взрыв привел к столь стремительной демократизации политической системы, что в конечном счете она, не выдержав перегрузок, рухнула. Утвердившийся тоталитарный режим перечеркнул результаты политической модернизации страны за все предшествовавшие десятилетия.

Переход от тоталитаризма к демократии, который осуществляет сегодня Россия, является одновременно и особой формой ее политической модернизации. Обратим внимание, например, на следующее обстоятельство. По ныне действующей Конституции, при гораздо более демократической избирательной системе, чем дореволюционная, реальная роль и полномочия Государственной Думы РФ по ряду параметров сходны с ролью и полномочиями Думы 1907 — 1917 гг. В тот период основными требованиями либеральной оппозиции было участие парламента в формировании правительства и депутатский контроль над деятельностью последнего. Тогда реализация этих требований означала бы

СЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОЛИТИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ

Л.В. Сморгунов

Особенностью развития политической науки во второй половине XX в. является повышенный интерес к проблемам методологии. Хотя кризис бихевиорализма и структурного функционализма в конце 1960-х — начале 1970-х годов характеризовался среди прочего критикой “методологической строгости”, на смену одним “методологическим богам” пришли другие. Известно то внимание, которое в послекризисный период вызвали методологии публичного выбора, неоинституционализма, теории обмена, научного реализма, политической герменевтики и др. Влиятельным в исследовании политических процессов и государственного управления становится ныне направление, в основе которого лежит понятие “политическая сеть” (policy network). Статус этого направления до сих пор не определен. Одни авторы видят в понятии “политическая сеть” лишь удачную “метафору”, другие полагают, что оно формирует некий инструментальный подход к изучению политики и государственного управления, третьи наделяют такой подход статусом концепции, четвертые пишут о новой политико-управленческой теории. Но несмотря на все различия между приведенными суждениями, следует сказать, что рассматриваемое исследовательское направление набирает вес, постепенно оснащается собственным концептуальным аппаратом. Оно все чаще используется для анализа политики и управления, приобретает свою философию, соответственно, растет число его сторонников.

Существуют две основные школы, которые применяют сетевой подход как методологию политических исследований. Англосаксонская школа считает плодотворным его использование при изучении взаимодействия государства и групп интересов. Здесь концепция политических сетей противопоставляется плюралистическому и корпоративистскому подходам, к которым прибегают для описания посредничества интересов. Р.Ролес и Д.Марш (эти авторы чаще всего упоминаются в качестве представителей названной школы) относят концепцию политических сетей к теориям среднего уровня: она “обеспечивает связь между микроуровневым анализом, который имеет дело с ролью интересов и правительства в отношении к особым политическим решениям, и макроуровневым исследованием, которое концентрируется на более широких вопросах, связанных с распределением власти в современном обществе” [Rhodes, Marsh 1992: 1].

Немецкая школа видит в политических сетях современную форму государственного управления, отличную от иерархической и от рыночной. В этом отношении концепция политических сетей отталкивается от той же идеи, что и концепция нового публичного менеджмента: поскольку современному государству не удастся обеспечить общественные потребности, возникла настоятельная потребность заменить иерархическое администрирование иной формой управления. Но если концепция менеджмента делает акцент на рыночных механизмах, то теория политических сетей пытается опереться на коммуникативные процессы в постиндустриальном обществе и демократическую практику современных политий. Как подчеркивает Т.Берцель, в ситуации растущей взаимозависимости между общественными и частными акторами ни иерархия, ни рынок не способны служить эффективными моделями координации интересов и ресурсов субъектов, включенных в процесс производства политических решений, и потому доминантной моделью управления становятся политические сети [Burzel 1998: 358].

СМОРГУНОВ Леонид Владимирович, доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой политического управления Санкт-Петербургского государственного университета.

еще один шаг на пути к политической модернизации страны. Сегодня эта задача вновь стала актуальной. Но какими темпами она должна решаться? Не будучи соответствующим образом подготовлено (речь идет в первую очередь о полноценной многопартийной системе), наделение парламента новыми функциями может усилить политическую нестабильность и иметь отрицательные последствия для функционирования системы исполнительной власти. Нечто подобное в истории России уже было. Временное правительство первого состава представляло собой то самое “ответственное министерство”, создания которого столь долго добивался от царских властей “Прогрессивный блок” в IV Государственной Думе. Однако, как известно, реальная деятельность этого правительства способствовала дестабилизации обстановки в стране. Данный опыт побуждает взвешенно, комплексно подходить к любым мерам, направленным на продвижение процесса политической модернизации России.

Использование методологического инструментария, содержащегося в различных концепциях политической модернизации, при анализе проблем российского транзита может быть, на наш взгляд, довольно плодотворным. Разумеется, этот инструментарий следует существенно обновить, отказавшись от вульгарных версий модернизации, от ее упрощенного понимания как некоего шаблона, который якобы должен быть усвоен всеми без исключения.

- Зырянов П.Н. 1992. *Петр Столыпин. Политический портрет*. М.
 Красилович В.А., Зиборов Г.М., Рябов В.А. 1993. Шанс на обновление России. (За рубежом опыт модернизации и российские перспективы). — *Мир России. Социология. Этнология. Культурология*, № 1.
 Леонтович В.В. 1995. *История либерализма в России. 1762 — 1914*. М.
 От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния. 1998. М.
 Пайпс Р. 1994. *Русская революция*. Ч.1. М.
 Согрин В. 1991. США: либерализм как историческая альтернатива социализму. — *МЭиМО*, № 7.
 Трубецкой Н. 1993. Мы и другие. — *Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн*. М.
 Уткин А. 2000. *Россия и Запад: история цивилизаций*. М.
 Федосов П.А. 2001. Двухпалатные парламенты: европейский и отечественный опыт. — *Полис*, № 1.
 Хантингтон С. 1997. Запад уникален, но не универсален. — *МЭиМО*, № 8.
 Царство толпы: из истории Великой Французской революции по книге Лебона и Тарда. 1990. Л.
 Чичерин Б. 1990. Россия накануне двадцатого столетия. — *Новое время*, № 4.
 Huntington S. 1970. *Political Order in Changing Societies*. New Haven.
 Huntington S. 1976. *The Change to Change: Modernization, Development and Politics*. — Black C.(ed.). *Comparative Modernization*. N.Y.
 Nordic Democracy. *Ideas, Issues and Institutions in Politics, Economy, Education, Social and Cultural Affairs of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden*. 1981. Copenhagen.
 Tsurutani T. 1973. *The Politics of National Development, Political Leadership in Transitional Societies*. N. Y.

Некоторые базовые идеи сетевого подхода далеко не самоочевидны и требуют прояснения. Поскольку ряд из них не нов, П. Богесон и Т. Туунен, говоря об истории появления концепции политических сетей, используют формулу “назад в будущее” [Bogason, Toonen 1998: 209–212]. Действительно, эта концепция возникла не на пустом месте. Уже в 1950 — 1960-е годы процесс выработки государственной политики в США исследовался в аспекте взаимодействия управленческих субсистем — бюрократии, парламентского корпуса и групп интересов [Freeman 1955]. В Великобритании концепция политических сетей выросла из теории межорганизационных отношений [Rhodes, Marsh 1992: 8–10]. Вообще данная концепция имеет множество источников и отправных точек: организационную социологию, академическую теорию бизнес-администрирования, социальный структурный анализ, институциональный анализ, теорию общественного выбора, неоменеджеризм. Некоторые исследователи выделяют разные подходы в рамках самой этой концепции, связывая их со спецификой исходной позиции (теория рационального выбора или персонального взаимодействия, формальный или структурный анализ сетей и т.д.) [Marsh, Smith 2000: 4–5]. Концепция политических сетей вписывается также в контекст философской дискуссии между либералами и коммунистами на Западе [см. Smorgunov 1999]. Но смысловые значения многих идей, высказанных ранее, сегодня изменяются, так как эти идеи включены в новый дискурс.

Ниже мы остановимся на следующих, наиболее актуальных, на наш взгляд, аспектах заявленной темы: (а) *плюрализм, корпоративизм и политические сети*; (б) *общие методологические установки концепции политических сетей*; (в) *понятие “политическая сеть”*; (г) *виды политический сетей* и (д) *понятие “руководство” в концепции политических сетей*.

ПЛЮРАЛИЗМ, КОРПОРАТИВИЗМ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЕТИ

Исходным пунктом анализа различий между плюралистическим, корпоративистским и сетевым подходами в исследовании взаимодействия между государством и обществом, представленным группами интересов, выступает соотношение этих моделей с концепциями, описывающими процесс посредничества между интересами в политике.

Плюралистическая концепция посредничества трактует политический процесс как давление различных групп интересов и, соответственно, как распределение власти в обществе. Ф. Шмиттер полагает, что “плюрализм может быть определен в качестве системы представительства интересов; составляющие ее элементы организованы в неопределенное множество сложных, добровольных, конкурирующих, неиерархичных и самоопределяющихся... образований, которые специально не лицензируются, не признаются, не субсидируются или каким-либо образом не контролируются (в отношении выбора лидерства или выражения интересов) государством и не стремятся к монополии репрезентационной активности среди соответствующих образований” [Schmitter 1970: 85–86].

При таком подходе политика есть властное распределение дефицитных ресурсов под давлением заинтересованных групп. Последние являются активными участниками политического процесса, тогда как государство в лице правительства выполняет в целом пассивную функцию — реагирует на их деятельность. Правительство обеспечивает сохранение баланса сил, принимая то или иное решение относительно комбинации интересов и ресурсов. Как подчеркивают Р. Родес и Д. Марш, “в то время как заинтересованные группы постоянно предъявляют требования правительству, и такое предъявление может даже институционализироваться, правительство остается независимым от групп интересов” [Rhodes, Marsh 1992: 2]. Эффективность деятельности названных групп определяется наличием ресурсов давления, которые используются для получения желаемых политических результатов. Вместе с тем рассматриваемый подход не использует для описания взаимодействия групп концепцию ресурсов. Его ограниченность проявляется также в том, что он акцентирует вни-

мание скорее на правительстве, чем на государстве в целом. Он не учитывает и то важное обстоятельство, что у участников политической деятельности со стороны государства имеются собственные интересы, которые включаются в процесс формирования политики. Следовательно, плюралистический подход не позволяет исследовать политику как систему взаимосвязанных отношений между государством и обществом, где государство выступает не просто агентом ответа на вызовы групп интересов, а активным участником кооперации.

В противоположность плюрализму, аналитическая модель *корпоративизма* (возникшая отчасти как ответ на критику плюралистического подхода) видит в государстве важнейший конституирующий элемент отношений между группами интересов и политической сферой. Согласно данной концепции, в политической сфере действует ограниченное число сингулярных, принудительных, неконкурирующих, иерархически упорядоченных и функционально различных образований, которые получают одобрение или лицензируются государством и стремятся к монополии на представительство интересов в соответствующей области [Schmitter 1970: 93–94]. Здесь основное внимание уделяется экономическим группам, монополизировавшим процесс выражения интересов в том или ином секторе. Такие группы тесно связаны с государством — и в плане своего формирования, и с точки зрения возможности влиять на последнее, поддерживать его в обмен на участие в процессе принятия политических решений.

Как правило, корпоративистская литература ограничивается рассмотрением наиболее влиятельных групп — бизнеса и труда, оставляя вне поля зрения множество других участников политического процесса, чьи отношения с государством строятся сегодня на неиерархической основе. Следует также заметить, что в условиях глобализации и децентрализации властных функций корпоративистский подход играет консервативную роль, легитимируя устаревшее понимание государства. Как отмечают теоретики политических сетей, при таком подходе складывается впечатление, будто политический процесс формируется в рамках полного государственно-корпоративного консенсуса.

Сетевой подход к политике и управлению строит свою исследовательскую стратегию, исходя из нового характера отношений между государством и обществом, между публичной и частной сферами социальной жизни. Как подчеркивает, например, Р. Родес, анализируя ситуацию в Великобритании, за последние двадцать лет политическая система страны уже во многом утратила черты так наз. вестминстерской модели, которая базировалась на сильном правительстве, парламентской суверенности, “оппозиции Ее Величества” и министерской ответственности. Для описания этой системы больше подходит понятие дифференцированной политики, предполагающее взаимозависимость подсистем, сегментированную исполнительную власть, самоуправляемые политические сети и снижение роли государства [см. Rhodes 1997].

“Сетевики” убеждены в том, что предлагаемый ими подход — в отличие от плюрализма и корпоративизма — способен ухватить сложность и текучесть современного процесса принятия политических решений. Политическая сеть предстает в качестве научного инструмента анализа неустойчивости и открытости при взаимодействии множества политических акторов, объединенных общим интересом, взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и равноправием. Важно отметить, что концепция политических сетей (и в англосаксонской, и германской версии) модифицирует понимание властно централизованной политики, заменяя его представлением о политике взаимной ответственности и обязательств.

ОБЩИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Сетевой подход не только отражает споры между представителями различных политико-управленческих теорий, но и является ответом на изменение условий, в которых осуществляются политика и управление публичными делами. Экология этого управления за последние десятилетия существенно модифици-

ровалась, что заставляет искать его новые модели, помимо рыночных и иерархическо-административных. Возросшая плюрализация общественных структур, усложнение взаимоотношений между различными слоями населения, высокий уровень социальных потребностей и ожиданий, большие масштабы неопределенности и рисков, усилившееся влияние международного фактора на внутреннюю политику, массовая информатизация, падение доверия населения к центральным органам управления — все это и многое другое привело к пересмотру традиционных управленческих подходов, прежде всего тех, где умалялись особенности публичной сферы (как, например, в новом государственном менеджменте, который получил даже наименование неотеилоризма).

Основные методологические установки теории политических сетей можно свести к следующему.

1. Теория политических сетей реконструирует отношения между государственным управлением и современным обществом. Она не только отказывается редуцировать сложность общества для эффективного им управления, но, напротив, видит в ее росте необходимую предпосылку выработки политики и осуществления управления. Понятие “сеть”, похоже, становится “новой парадигмой архитектуры сложности” [Kenis, Schneider 1991: 25]. Еще более значимо то, что политические сети “открывают” правительство обществу. Как упоминалось выше, концепция политических сетей относится к теориям среднего уровня, т.е. в ней описываются отношения не между собственно обществом и государством, а между официальными управленческими структурами, общественными и бизнес-ассоциациями.

2. Теория политических сетей восстанавливает связь между государственным управлением и политикой. Новый публичный менеджмент объявлял о своем безразличии к политике. Наоборот, при подходе к государственному управлению с позиций политических сетей сохраняется интерес к происходящему на политической сцене. Политика и управление не могут быть разделены по многим причинам, включая опасность утраты ясности в определении государственной службы и согласия относительно того, кто уполномочен оказывать соответствующие услуги, указывает Р.Келли и добавляет: “Открытая демократическая политика требует большего, чем удовлетворенные потребители” [Kelly 1998: 205]. Поэтому концепция политических сетей включает в круг рассмотрения широкий спектр политических проблем. Не случайно многие исследователи подчеркивают ее несомненную связь с собственно политической наукой, а внутри нее — с теорией демократического принятия политических решений и выработки политической стратегии.

Концепция политических сетей трояким образом меняет ракурс анализа государства как агента политики: во-первых, в противоположность идее доминирующей роли государства в выработке политики, при сетевом подходе государство с его институтами предстает хотя и важным, но не единственным актором производства политических решений; во-вторых, в противовес тезису об относительной независимости государства, официальные структуры рассматриваются в качестве “сцепленных” с другими агентами политики; в-третьих, государственному управлению как иерархически организованной системе противопоставляется “руководство” (*governance*), т.е. “управление без правительства” (*governing without government*) [Rhodes 1997; см. также Rosenau, Czempiel 1992; Peters 1998].

3. Теоретики политических сетей учитывают моральное измерение управления и процесса производства политического решения. Это означает, что названная теория близка к политической философии и выражает ценностно-ориентированный подход [Wamsley, Wolf 1996; March 1997; Harmon 1998]. Как подчеркивает Т.Берцель, во многих написанных в рамках данного подхода работах “признается, что идеи, верования, ценности и консенсуальное знание обладают объяснительной возможностью при изучении политической сети”. При этом перечисленные элементы “не только имеют значение для политических сетей”, но и конструируют “логику взаимодействия между их членами” [Burzel 1998a: 264].

4. Хотя в теории политических сетей понятие “институты” играет значительную роль, не они, а связи и отношения находятся в фокусе ее рассмотрения: “По-видимому, все аналитики теории сетей разделяют тезис о том, что заверщенное объяснение некоторых социальных феноменов требует знания взаимоотношений между системными акторами” [Knoke 1990: 9]. Согласно существующему определению, сеть “состоит из акторов и их отношений, а также из определенных действий/ресурсов и зависимостей между ними” [Hekanson, Johanson 1998]. По мнению Р.Родеса, ключевым элементом сети являются структурные отношения между политическими институтами, а не межперсональные внутри них [Marsh, Rhodes 1992: 9]. В политической сети выделяются реляционное содержание и форма [Knoke, Kuklinski 1982: 15]. Содержание отношений отсылает к существу возникших связей (транзакционные, коммуникационные, инструментальные, сентиментальные, властные, родственные и др.), а реляционная форма означает интенсивность и силу связей, а также уровень взаимной вовлеченности в одну и ту же деятельность.

5. В теории политических сетей проблема эффективности управления рассматривается не через отношение “цели — средства”, а через отношение “цели — процессы”. Хотя и в данной теории эффективность политических сетей часто оценивается по качеству удовлетворения общественных потребностей [см., напр. Milward, Provan 1998; Provan, Sebastian 1998], может приниматься в расчет такой параметр, как транзакционные издержки, т.е. затраты на переговоры, на интеграцию и координацию деятельности участников [Hindmoor 1998]. Фактически здесь имеется в виду скорее действенность, чем эффективность. “Ключевой пункт административных ценностей относится к качеству коллективного выбора или к совместному выбору решения” [Toonen 1998: 246].

ПОНЯТИЕ “ПОЛИТИЧЕСКАЯ СЕТЬ”

По вопросу о содержании понятия “политическая сеть” между исследователями нет особых споров. В целом ясно, что названное понятие может быть сформировано путем выявления участников сети и характера отношений между ними. В отличие от понятий “система” или “структура”, здесь акцент делается на активном и осознанном взаимодействии акторов, вырабатывающих политическое решение и участвующих в его выполнении. Но поскольку ни рынок, ни традиционное иерархическое управление не исключают активности и сознательности задействованных субъектов, политические сети должны обладать какими-то качествами, которые отличали бы их как принципиально новую форму управления.

Приведем ряд суждений на эту тему. Как полагает Р.Родес, политические сети формируются в различных секторах деятельности современной политики (здравоохранение, сельское хозяйство, индустрия, образование и т.д.) и представляют собой комплекс структурных взаимоотношений между политическими институтами государства и общества. Этот автор подчеркивает значение именно институциональной составляющей политической сети и ее ограниченность определенными секторальными интересами. Он включает в рассмотрение и процесс обмена ресурсами между членами сети в ходе становления их отношений [Rhodes, Marsh 1992: 10–13].

Согласно Т.Берцель, политическая сеть есть “набор относительно стабильных неиерархических... взаимоотношений, связывающих многообразие акторов, которых объединяют в политике общие интересы и которые обмениваются ресурсами для продвижения этих интересов, признавая, что кооперация является наилучшим способом достижения общих целей” [Burzel 1998a: 254]. В этом определении обращает на себя внимание мысль о том, что участники политической сети преследуют не отдельные, а общие интересы и выбирают для их достижения кооперативные способы деятельности. Предполагается, что таких участников множество и что они различны.

Авторы книги “Сравнение политических сетей: политика в сфере труда в США, Германии и Японии” (1996) характеризуют отношения между различ-

ными субъектами процесса принятия политических решений через понятие “организационное государство”. “Межорганизационные сети, — пишут они, — позволяют нам описывать и анализировать взаимодействия между всеми значимыми политическими акторами — от парламентских партий и министров до ассоциаций бизнеса, профсоюзов, профессиональных обществ и групп общественных интересов... В качестве эмпирической системы организационное государство не обеспечено полной поддержкой правовых регулятивов. Его возникновение в действительности отражает и формальную, и неформальную власть производить решения, которая пронизывает государство и общество” [Knoke, Pappi, Broadbent, Tsujinaka 1996: 3]. Аналитической категорией, описывающей организационное государство, служит “сфера политики” (сложная социальная организация, где производятся коллективно увязанные решения), структурными компонентами которой выступают политические акторы, политические интересы, властные отношения, коллективные действия и совместные занятые позиции [Knoke, Pappi, Broadbent, Tsujinaka 1996: 9, 11].

По мнению Л.Отула, сети включают в себя межагентские кооперативные ставки, межуправленческие структуры программного менеджмента, сложное множество соглашений и государственно-частное партнерство. В них входят также системы предоставления услуг, основанные на комплексе провайдеров (последний может состоять из публичных агентств, частных фирм, неприбыльных и даже укомплектованных добровольцами организаций) [O’Toole 1997: 446]. Как мы видим, автор проводит различие между теми элементами сети, которые связаны с принятием политических решений, и теми, которые предоставляют основанные на этих решениях услуги.

Таким образом, политические сети обладают рядом характеристик, которые отличают их от иных форм управленческой деятельности. Во-первых, они представляют собой такую структуру управления публичными делами, которая связывает государство и гражданское общество. Эта эмпирически наблюдаемая структура теоретически описывается как множество разнообразных государственных, частных, общественных организаций и учреждений, имеющих некий совместный интерес. Во-вторых, политическая сеть складывается для выработки соглашений в процессе обмена ресурсами, имеющимися у ее акторов. Это означает, что последние заинтересованы друг в друге. Ресурсы могут быть распределены неравномерно, но, несмотря на различия в степени обеспеченности ресурсами, все участники сети вынуждены вступать во взаимодействие. Между ними существует ресурсная зависимость. В-третьих, важным элементом политической сети выступает общий кооперативный интерес. Многие исследователи особо выделяют эту черту, так как она отличает данную регулятивную систему от рынка, где каждый участник преследует прежде всего собственные интересы. В-четвертых, участники сети не выстраиваются в иерархию: с точки зрения возможностей формирования совместных решений по интересующим вопросам все они равны. Иначе говоря, здесь наблюдаются не вертикальные, а горизонтальные отношения. В-пятых, сеть — это договорная структура, состоящая из набора контрактов, которые основаны на согласованных формальных и неформальных правилах коммуникации. В политических сетях действует особая культура консенсуса. В целом такая сеть есть система государственных и негосударственных образований в определенной сфере политики, которые взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости в целях достижения согласия по интересующему всех политическому вопросу, используя при этом формальные и неформальные нормы.

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Ясно, что политические сети будут различаться по ряду параметров. Конечно, некоторые из таких различий связаны со степенью выраженности общих качеств, но имеются и внутренние дифференцирующие критерии. К последним следует отнести: (1) число и тип участников; (2) характер институционализации; (3) сферу политики, где формируются сети; (4) распределение ресур-

сов между участниками; (5) особенности объединяющих их интересов; (6) степень концентрации власти и т.д. [Jordan, Schubert 1992; Rhodes, Marsh 1992; Kriesi 1994; Knoke, Pappi, Broadbent, Tsujinaka 1996]*. Воспользуемся наиболее распространенной типологией политических сетей, предложенной Р.Родесом** [Rhodes, Marsh 1992: 13–15]. В соответствии с этой типологией выделяются пять типов политических сетей: политические сообщества (policy communities), профессиональные сети (professional networks), межуправленческие сети (intergovernmental networks), сети производителей (producer networks) и проблемные сети (issue networks).

Для *политических сообществ* характерны стабильность взаимоотношений; устойчивое, но ограниченное членство; вертикальная взаимозависимость, основанная на совместной ответственности за предоставление услуг; изоляция как от других сетей, так и от публичных организаций (включая парламент). Такие сети являются глубоко интегрированными, имеют высокую степень вертикальной взаимозависимости при незначительной вертикальной координации и концентрируются на функциональных интересах (скажем, вопросах образования или пожарной безопасности). Это скорее территориальные сообщества.

В *профессиональных сетях* преобладает один класс участников процесса производства политических решений: профессиональные группы. Каждая такая сеть выражает интересы особой группы, основана на высокой вертикальной взаимозависимости и изолирована от других сетей. Описываемые сети могут иметь национальный масштаб (например, Национальная служба здравоохранения в Великобритании).

Межуправленческие сети формируются на базе представительства местных властей. Их характеризуют топократическое членство, явное исключение иных публичных союзов, охват интересов, связанных со многими службами, ограниченная вертикальная взаимозависимость, широкая горизонтальная структура и способность взаимодействовать со многими другими сетями.

Сетям производителей присущи значительная роль в экономической политике (интересы публичного и частного секторов), подвижное членство, зависимость центра от промышленных организаций (при производстве товаров и экспертизе), а также ограниченная взаимозависимость хозяйственных интересов участников.

Проблемные сети имеют большое число участников с ограниченной степенью взаимозависимости. Здесь очень ценятся стабильность и постоянство, при том что структура нередко отличается атомистичностью.

ПОНЯТИЕ “РУКОВОДСТВО” В КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Английское слово *governance* имеет целый набор значений. Это и “руление”, и “управление на высших уровнях организации”, и “руководство”, и “общее управление”, и “политическое управление”. Конечно, все эти значения связаны друг с другом, но рассматриваемый термин обладает и более широкой коннотацией, если его использовать, как это часто делают, в ряду с другими, например, с рынком и иерархией как с двумя способами координации взаимодействий. Мы используем данное слово в смысле общего политического управления, т.е. *руководства*, тем более что указанное значение включает в себя многие другие толкования термина.

Понятие “руководство” в современной политической науке и науке государственного (шире — публичного) управления приобретает концептуальное значение***. Некоторые исследователи видят в нем ядро самостоятельной

* Описание ряда подходов к типологии политических сетей приведено в [Burzel 1998a: 256–258].

** В ее основу положены три критерия: степень внутренней интеграции сети, число участников и распределение ресурсов между ними.

*** Не случайно XVIII конгресс Международной ассоциации политической науки (август 2000 г., Квебек) был посвящен проблеме “World Capitalism, Governance and Community: Toward a Corporate Millennium?”.

концепции — наряду с институциональной концепцией управления, а также с концепциями государственного менеджмента и политических сетей [Frederickson 1999: 705–706]. Вместе с тем именно в последней Берцель выделяет самостоятельную школу (по преимуществу немецкую), определяя ее особенности через понятие “governance” [Burzel 1998a]. Многие другие авторы используют его для характеристики процесса налаживания отношений между участниками сетей и принятия политических решений. Приведем суждение Г. Питерса: “Перспектива здесь состоит не столько в том, чтобы государственная служба стремилась принять философию и идеи общественного сектора; скорее преобладает взгляд, в соответствии с которым общественные институты в качестве выразителей социального интереса могли и должны были бы играть лидирующую роль в межсекторальной мобилизации ресурсов и в совместном определении ставок. Роль политических институтов при различных типах управления способна сильно разниться, но поскольку налицо их значительная вовлеченность в руководство, в [политическом] процессе представлены также коллективные цели” [Peters 1998: 229]. П. Джон и А. Коул подчеркивают, что понятие “руководство”, обозначающее политическое влияние через диффузные сети производителей решений, заменяет собой понятие “правительство” как осуществление институциональной власти [John, Cole 2000: 250].

Будучи преимущественно политологической, концепция руководства в определенной мере восстанавливает значение теории государственного управления в политической науке. Такое управление предстает здесь не столько в качестве исполнительной функции государства, весьма отдаленно связанной с непосредственным общественным влиянием, сколько в качестве одной из составляющих общественно-политического процесса выработки согласованного политического решения. Как отмечают К. Хенф и Л. Отуул, “современное управление характеризуется системами принятия решений, в которых территориальные и функциональные дифференциации преобразуют эффективную организацию разрешения проблем в набор субсистемных акторов со специальными задачами и ограниченной компетенцией и ресурсами” [Hanf, O’Toole 1992: 166]. В сфере публичного управления эту особенность выражает включение в процесс принятия решений внешних — общественных и частных — акторов, а значит и развитие общественной коммуникации, дискурса, договора.

“Термин ‘руководство’, — подчеркивают Л. Линн, К. Хайнрих и К. Хилл, — подразумевает конфигурацию отдельных, но взаимосвязанных элементов — статутах, политических мандатов, организационных, финансовых и программных структур, административных правил и директив, институциональных правил и норм — которые в комбинации определяют цели и средства государственного-управленческой деятельности. Любая особая конфигурация — в конкретной сфере политики (например, экологической), в отношении типа государственно-управленческой деятельности (например, регуляции), внутри особой юрисдикции (например, штата или города), в конкретной организации (например, в отделе гуманитарного обслуживания) или в организационной отрасли (например, в агентстве по обслуживанию детей) — является результатом динамического процесса, который мы определяем как ‘логику руководства’. Этот процесс связывает ценности и интересы граждан, законодательный выбор, исполнительные и организационные структуры и роли, а также юридический надзор способом, который предполагает взаимоотношения, значительно влияющие на эффективность деятельности” [цит. по Frederickson 1999: 705–706].

Руководство отличается как от простого администрирования (когда источником политических решений выступает верхушка иерархической пирамиды государственной власти, а общественные структуры оказывают на этот процесс лишь опосредованное влияние), так и от рыночной модели государственного управления с ее акцентом на принципы торговой сделки, в которой каждый пытается максимизировать свой особый интерес. Оно осуществляется через переговоры между государственными и негосударственными структурами

и направлено на выработку удовлетворяющего стороны политического решения. Считается, что данная модель управления эффективнее рыночной и иерархической и лучше обеспечивает общественные потребности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Эффективность управления посредством политических сетей обусловлена несколькими факторами. Во-первых, таким образом легче наладить взаимоотношения между государством и различными группами интересов, так как благодаря механизмам доверия сети позволяют снизить издержки на ведение переговоров. Как пишет Э. Хиндмуур, “рынки и иерархии способствуют возникновению доверия через институциональные гарантии. Работники готовы трудиться на работодателя, ибо верят, что их усилия будут оплачены, и они вкладывают свое доверие не в персональную интегрированность с работодателем, а в действенную юридическую систему, которая закрепляет соглашение сторон. Ни рынки, ни иерархии не способны обеспечить гарантии, достаточные для достижения доверия между правительством и группами давления” [Hindmoor 1998: 34]. В силу многих причин социального порядка такое доверие достижимо именно в политических сетях. Можно сказать, что оно возникает в результате социального конструирования в процессе формирования сети.

Во-вторых, эффективность политических сетей связана с внутренними условиями взаимодействия их членов. Специальное исследование, проведенное Б. Милвордом и К. Прованом, показало, что сетевая эффективность зависит от целого ряда факторов [Milward, Provan 1998: 216–217]. Она будет наивысшей, когда сеть интегрирована, но интегрирована вокруг ключевого властного агента. Усилению эффективности способствуют также прямые (в отличие от фрагментированных и опосредованных) механизмы финансового контроля государства. Сетевая эффективность более вероятна в богатом ресурсами окружении, однако ресурсное богатство само по себе не создает эффективную сеть, а ресурсный недостаток не предопределяет ее неэффективность. Наконец, эффективность оказывается наивысшей в ситуации общей сетевой стабильности, хотя стабильность не является достаточным условием эффективности. Требуется, чтобы сеть была хорошо оснащена, контролировалась центром и непосредственно снабжалась.

Концепция политических сетей имеет глубокие корни в исследованиях, посвященных взаимодействию гражданского общества и государства, правительства и групп интересов. Особо следует отметить такие направления, как плюралистическая теория, корпоративизм, теории заинтересованных групп и межорганизационных отношений. Свое влияние на данную концепцию оказал неoinституционализм (особенно его социологическая версия). Хотя концепция сетей может быть подвергнута и подвергается критике, сегодня очевидно, что она удачно конструирует альтернативные рынку и иерархии модели публичного управления и выработки политических решений, а также модели взаимодействия государства и гражданского общества в условиях глобализации, роста неустойчивости, умножения рисков в общественном развитии.

Bogason P., Toonen T. 1998. Introduction: Networks in Public Administration. — *Public Administration*, vol. 76, № 2.

Burzel T. 1998a. Organizing Babylon. On the Different Conceptions of Policy Networks. — *Public Administration*, vol. 76, № 2.

Burzel T. 1998. Rediscovering Policy Networks as a Form of Modern Governance. — *Journal of European Public Policy*, vol. 5, № 2.

Freeman J. 1955. *The Political Process*. N.Y.

Frederickson G.H. 1999. The Respositioning of American Public Administration. — *PS Political Science and Politics*, vol. 32, № 4.

John P., Cole A. 2000. When Do Institutions, Policy Sectors, and Cities Matter? Comparing Networks of Local Policy Makers in Britain and France. — *Comparative Political Studies*, vol. 33, № 2.

История политической мысли: консерватизм

От редакции. Долгое время консерватизм служил для отечественного общественно-научного объекта не столько научного анализа, сколько идеологически мотивированной критики. В нем видели приверженность "старому строю, старым, отжившим порядкам", косность и враждебность по отношению "ко всему новому, передовому в политической жизни, науке, литературе". Сегодня, когда едва ли не все политики обновленной России заявляют о своей причастности к консерватизму, его прежние оценки не оспариваются разве что в силу их очевидной непопулярности. Пospешность, с которой даже самые "передовые" силы страны успели усвоить формулы инокa Филофея и графа Уварова, вызывает лишь иронию. Вместе с тем бурный ренессанс консервативной идеи дает повод задуматься об истинных адресатах того упрека в хамелеонстве, которого консерваторы удостоивались от своих оппонентов в течение долгих десятилетий. В самом деле, не подтверждают ли нынешние российские реалии уже не раз доказанную способность консерватизма к поразительным трансформациям? Или же следует говорить о мутации иных идейно-политических течений, в то время как сам консерватизм, может быть, "уже давно мертв и похоронен" (П. Кондилис)? Наконец, остается нерешенным главный вопрос — что же такое консерватизм? Суть данного феномена вряд ли прояснили те политические процессы, которые развивались на Западе вместе с "консервативной волной" 1980-х и "консервативной революцией" 1990-х годов. Скорее, они высветили новые грани консервативной традиции, требующие не только своего частного осмысления, но и переосмысления традиции в целом.

Действительно, чем разнообразнее проявления консерватизма, тем более очевидной становится его слабая изученность. Еще сорок лет назад А. Молер, отмечая плачевное состояние исследований по данной тематике, назвал консерватизм "приемышем" политических и исторических изысканий. Спустя десятилетие с этим мнением согласился другой виднейший исследователь проблем консерватизма — М. Грайффенхаген, а еще через два десятка лет тот же приговор повторил К. Ленк. Тем более настоятельной представляется необходимость восполнить пробелы, имеющиеся в данной сфере. Стремясь внести свой вклад в решение этой задачи, наш журнал посвятил в последние годы "консервативной" проблематике ряд статей и материалов. Той же цели призвана служить и предлагаемая рубрика. Консерватизм предстанет в ней в многообразии конкретно-исторических проявлений, а следовательно, именно в том виде, в каком только и возможно его адекватное постижение. Ведь, как говорил У. Черчилль, "быть истинным консерватором, значит меняться вместе с переменчивым миром".

ПОНЯТИЕ СУВЕРЕНИТЕТА
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ Ж. ДЕ МЕСТРА

М.И. Дегтярева

Для Жозефа де Местра (1754 — 1821) проблема суверенитета являлась одной из центральных. Это неудивительно: ведь именно французской юридической и политической мысли принадлежало первенство в разработке понятия суверенитета, а революция 1789 г. создала прецедент вольного обращения с высшей государственной властью. Став яростным противником революции, де Местр вынужден был искать аргументы в защиту прерогатив суверена —

ДЕГТЯРЕВА Мария Игоревна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Интерцентра Московской высшей школы социальных и экономических наук.

- Jordan G., Schubert K. 1992. A Preliminary Ordering of Policy Network Labeling. — *European Journal of Political Research. Special Issue*, vol. 21, № 1-2.
- Hekanson H., Johanson J. 1998. The Network as a Governance Structure: Interfirm Cooperation Beyond Markets and Hierarchies. — *Organizing Organizations*. Bergen.
- Harmon M. 1998. Decisionism and Action: Changing Perspectives in Organization Theory. — *International Journal of Public Administration*, vol. 26, № 6-8.
- Hanf K., O'Toole L. 1992. Revisiting Old Friends: Networks, Implementation Structures and the management of Inter-Organizational Relations. — *European Journal of Political Research. Special Issue*, vol. 21, № 1-2.
- Hindmoor A. 1998. The Importance of Being Trusted: Transaction Costs and Policy Network Theory. — *Public Administration*, vol. 76, № 1.
- Kelly R. 1998. An Inclusive Democratic Polity, Representative Bureaucracies? And the New Public Management. — *Public Administrative Review*, vol. 58, № 8.
- Kenis P., Schneider V. 1991. Policy Networks and Policy Analysis: Scrutinizing a New Analytical Toolbox. — *Policy Network: Empirical Evidence and Theoretical Considerations*. Frankfurt a/M.
- Knoke D., Kuklinski J. 1982. *Network Analysis*. Beverly Hills, L., New Delhi.
- Knoke D. 1990. *Political Networks. The Structural Perspective*. Cambridge.
- Knoke D., Pappi F., Broadbent J., Tsujinaka Y. 1996. *Comparing Policy Networks. Labor Politics in the US, Germany, and Japan*. Cambridge, N.Y.
- Kriesi H. 1994. *Les Democracies Occidentales. Une Approche Comparee*. Paris.
- March J. 1997. Administrative Practice, Organization Theory, and Political Philosophy: Ruminations on the Reflections of John M. Gaus. — *Political Science and Politics*, vol. 30, № 4.
- Marsh D., Smith M. 2000. Understanding Policy Networks: toward a Dialectical Approach. — *Political Studies*, vol. 48, № 1.
- Milward H., Provan K. 1998. Principles for Controlling Agents: The Political Economy of Network Structure. — *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 8, № 2.
- O'Toole L. 1997. The Implications for Democracy in a Networked Bureaucratic World. — *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 7.
- Peters G. 1998. Governance Without Government? Rethinking Public Administration. — *Journal of Public Administration: Research and Theory*, vol. 8, № 2.
- Provan K., Sebastian J. 1998. Networks within Networks: Service Link Overlap, Organizational Cliques, and Network Effectiveness. — *The Academy of Management Journal*, vol. 41, № 4.
- Rhodes R., Marsh D. 1992. Policy Network in British Politics. A Critique of Existing Approaches. — *Policy Network in British Government*. Oxford.
- Rhodes R. 1997. *Understanding Governance. Policy Network, Governance, Reflexivity and Accountability*. Buckingham.
- Rosenau J., Czempel E.-O. (eds.). 1992. *Governance without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge.
- Schmitter Ph. 1970. Still the Century of Corporatism. — *Review of Politics*, vol. 36, № 1.
- Smorgunov L. 1999. Rational Choice, Communitarianism, Collectivist Values and Problems of the Effective State. — Koryushkin A., Meyer G. (eds.) *Communitarianism, Liberalism, and the Quest for Democracy in Post-Communist Societies*. St. Petersburg.
- Toonen T. 1998. Networks, Management and Institutions: Public Administration as 'Normal Science'. — *Public Administration*, vol. 76, № 2.
- Wamsley G., Wolf J. (eds.) 1996. *Refounding Democratic Public Administration. Modern Paradoxes, Postmodern Challenges*. Thousand Oaks, L., New Delhi.

так же, как когда-то, в XVI в., это делал Жан Боден [см. напр. Дегтярева 2000].

Оба философа политически ангажированы, оба — “рыцари белой лилии без страха и упрека”. Однако вряд ли можно считать де Местра непосредственным учеником и последователем Ж.Бодена. Де Местр — новоевропейский мыслитель, у него множество более близких “учителей” — представителей совершенно разных, а иногда даже противоположных направлений и школ*.

И все же в самом подходе к определению понятия “суверенитет” у Бодена и де Местра было нечто общее. Оба старались выделить существенные качества суверенитета, сопоставляя его с другими видами власти. Но если первый сравнивал суверенитет с властью преходящей — наместников или держателей, то представление второго вырастало из критики доктрины *народного суверенитета*. Впервые эта тема была поднята де Местром в “Рассуждениях о Франции” (1797 г.), которые произвели настоящий фурор. Успех книги определялся прежде всего ее стилем — неожиданным соединением мистики и рационализма, светского остроумия и религиозного чувства.

КРИТИКА ТЕОРИИ НАРОДНОГО СУВЕРЕНИТЕТА

Основной аргумент де Местра против этой теории — исторический. Именно с его помощью философ обосновывает утверждение о том, что народный суверенитет представляет собой не более чем абстракцию, произвольную и, следовательно, невоплотимую конструкцию.

Казалось бы, ссылка на авторитет истории опасна, ибо даже у Бодена есть понятие *суверенитета народа*, которое он использует применительно к *античным республикам*. Но в том-то и дело, что у Бодена речь идет об античности, а де Местр, как и подобает консерватору, размышляет предельно конкретно. Революционеры пытаются *реализовать суверенитет народа во Франции*, следовательно, надо рассуждать не о достоинствах идеи, а о *возможности ее воплощения в данной стране и в данный момент*.

Прежде всего, Франция занимает обширную территорию, поэтому вопрос о перспективе народного суверенитета переформулируется автором “Рассуждений” следующим образом: *может ли существовать великая республика?* Только после этого де Местр обращается к авторитету истории.

С присущей ему афористичностью он сравнивает историю с игрой в кости. Если на сторонах игрального кубика, подброшенного сто миллионов раз, появляются одни и те же цифры — 1, 2, 3, 4, 5, то поверим ли мы, что на одной из его граней находится цифра 6? Нет, конечно. Так и в истории, где Фортуна бросает кости в течение четырех тысяч лет. Выпадала ли когда-нибудь великая республика? Нет. Следовательно, *этой* цифры на костях не было.

Если бы в мире возникали все новые и новые формы правления, можно было бы признать за республикой во Франции историческую перспективу. Но до сих пор людям приходилось сталкиваться преимущественно с монархией и лишь изредка — с республикой. Если присмотреться к этой последней форме, то станет очевидно, что в одних случаях суверенитет там осуществлялся массой, в других — аристократией. Но всякий раз — в государстве с небольшой территорией [см. Местр 1997: 56].

Читатель, естественно, вправе усомниться в корректности сопоставления истории с игрой в кости. В случае с кубиком набор вариаций строго ограничен, в реальности же сохраняется возможность появления *новых обстоятельств*. Но де Местр будто бы намеренно использует механистическую логику.

Сама идея о том, что географический фактор способен стать препятствием для осуществления суверенитета, не оригинальна. Того же взгляда придерживался и автор доктрины народного суверенитета — Ж.-Ж.Руссо. Поэтому критика этой доктрины де Местром оставляет ощущение того, что поединок с Руссо ведется “оружием” последнего. Оригинальность заключается, пожалуй,

* В их числе был и английский философ-консерватор Э.Бёрк. Его памфлет “Размышления о революции во Франции” (1790) помог де Местру раз и навсегда выбрать свой политический лагерь.

лишь в обращении к авторитету истории.

Только в последние годы жизни де Местра консервативный реализм придаст его рассуждениям пророческую ясность, граничащую с беспощадностью к себе и к своим иллюзиям. Но в 1790-е годы философ был еще очень далек от признания того, что революция создала и новую эпоху, и новый ряд причинности — *прежде не встречавшиеся цифры на игральной кости*. И мысли де Местра о народном суверенитете в “Рассуждениях” иллюстрируют то, как *функционально* он использовал тогда принцип *историзма*.

По существу, де Местр оказался в своеобразном логическом капкане. Для консервативных мыслителей *История, Опыт, Действительность* являются такими же предельными авторитетами, как *Разум* — для просветителей. *Нет и не может быть ничего, что не имело бы начала в прошлом и не было бы связано с ним*. Народный суверенитет в крупных государствах утопичен, поскольку лишен *исторического прецедента*.

Но как быть в таком случае с самой революцией? Она тоже не имеет аналогов ни по масштабам, ни по продолжительности и, тем не менее, постоянно напоминает о своей *реальности* — и растущим числом казненных, и вынужденной эмиграцией дворян (в т.ч. самого де Местра). Как и почему вообще произошла революция, если она *антиисторична*?

Де Местр пытается выйти из этого затруднения. Оставаясь консерватором, он не может не признать того, что настоящее связано с прошлым, а значит, у революции во Франции были исторические предпосылки. Вот почему она трактуется не только как “заговор”*, но и как *исторически обусловленное событие* — следствие германской Реформации, разрушившей религиозный авторитет, основание порядка политического.

В то же время консервативная позиция не позволяет де Местру допустить, чтобы революция и ее установления получили *оправдание* с позиции историзма. И автор “Рассуждений” находит довольно остроумный способ “нейтрализовать” сей неудобный исторический факт. Революция интерпретируется им как *момент в предустановленном свыше историческом маршруте*, как последний акт искупления, за которым последует возвращение человечества на праведный путь под эгидой обновленной католической Франции.

Таким образом, обвиняя революционеров в *пренебрежении историческим опытом*, де Местр старается хотя бы внешне выдержать приверженность *принципу историзма*. Тем не менее очевидно, что его исторический подход не распространяется дальше объяснения причин возникновения революции. И здесь обнаруживается логическая непоследовательность: с одной стороны, де Местр доказывает, что революция во Франции *исторична*, хотя *ничего подобного до сих пор в истории не было*, с другой — обосновывает *невозможность осуществления народного суверенитета в великой республике в настоящем именно отсутствием прецедента в прошлом*. Иначе говоря, “правило игральной кости” оказывается не универсальным. В первом случае тот факт, что *явления прежде не было*, не воспринимается как свидетельство его *принципиальной невозможности*, во втором — этому обстоятельству придается значение *исчерпывающего доказательства*.

Однако аргумент об отсутствии у идеи народного суверенитета исторического основания нуждался в развитии. Поэтому следующий шаг философа в критике народного суверенитета был связан с оценкой эффективности представительства в стране с обширной территорией. Для де Местра вопрос заключался не в том, принесла ли новая французская конституция свободу “народу-суверену”, а в том, позволяет ли она народу в принципе *быть сувереном*. И тут, естественно, возникает аналогия с соображениями А. де Токвиля относительно недостатков парламентской демократии.

* В отличие от А.Ривароля, С. де Кастра и аббата А.Баррюэля, де Местр понимает “заговор” не как деятельность тайной секты, а как особый дух времени. Позднее, в “Четырех главах о России”, де Местр заговорит и о конкретных “виновниках революции”, но даже в этом произведении идея “порочного духа времени” сохранится.

Ввиду многочисленности населения Франции его непосредственное участие во власти, рассуждает де Местр, нереально. Нетрудно подсчитать, что, согласно условиям формирования законодательного корпуса*, обычный француз может войти в его состав не чаще, чем раз в 60 тыс. лет. На практике воля народа делегируется так наз. представителям, что неизбежно ведет к полному отчуждению народа от правительства [Местр 1997: 61-63].

Налицо также созвучие с идеями Руссо, с тем только отличием, что аналогичные упреки высказывались последним в адрес британской политической системы. В самом деле, не Руссо ли писал о том, что англичане свободны только выбирать депутатов парламента, но не выражать свою волю, ибо не участвуют в управлении непосредственно?

Однако о совпадении идей де Местра со взглядами Токвиля и тем более Руссо говорить не приходится. В первом случае — потому, что де Местра вообще не интересовала проблема тирании большинства как *опасного отклонения в развитии демократии*. И это понятно, поскольку в своей критике института народного представительства де Местр и Токвиль руководствовались абсолютно разными мотивами. Для Токвиля псевдodemократизм был скорее “болезнью” парламентской системы, для де Местра — *единственно возможным* сценарием развития событий. В отличие от Токвиля, де Местр не рассуждает об опасности захвата власти некомпетентным большинством; для него достаточно того, что *большинство вообще не обладает властью*. Республика, по его мнению, существует только в столице, а остальная часть Франции является подданной республики. Вот почему более корректным было бы сравнение дискурсов де Местра и Бёрка, так как именно знаменитый британец впервые сформулировал тезис о “диктатуре Парижа”.

Взаимоотношения де Местра с Руссо более сложны и интересны. Критика британской политической системы не спасает последнего от язвительных пассажей со стороны оппонента. Мало того, именно доктрина Руссо служит де Местру самым сильным и провоцирующим интеллектуальным вызовом. Руссо убежден, что парламентаризм не способен служить *средством выражения общей воли*, ибо ту нельзя делегировать, и решения депутатов — лишь частные волеизъявления. Но в таком случае само выражение общей воли становится проблематичным. Если это не воля представителей и даже не просто воля всех, *а такая, какой бы она могла быть, обладай народ правильным представлением о благе*, то не вполне понятен механизм ее изъяснения. Может ли всеобщая воля быть в принципе выражена иначе, чем при посредничестве “мудрого законодателя”, выступающего в роли ее интерпретатора?

Де Местр безошибочно почувствовал и предельно абстрактный характер центральной категории Руссо, и деспотическую направленность предлагаемой тем политической концепции. Поэтому его критические замечания направлены не только на разоблачение недостатков реально действующего представительства, но и на обоснование спекулятивного характера самого принципа “народного суверенитета”, ибо формообразующий признак суверенной власти — *воля* — не находит адекватного выражения даже в теории. Иными словами, с точки зрения философа, народ *в принципе лишен возможности управлять*: в республике, как и в монархии, он неизбежно оказывается на положении *управляемого*. В целом, по мнению де Местра, географические условия — непреодолимое препятствие для осуществления во Франции народного суверенитета: *“слова великая республика исключают друг друга, как слова квадратный круг”* [Местр 1997: 63].

СУВЕРЕНИТЕТ: ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Но если де Местр считает народный суверенитет во Франции нереальным, полагая, что народ не обладает властной способностью или, что практически одно и то же, возможностью править самому, резонно предположить: единст-

венным источником суверенитета философу видится король — кто, как не он, должен обладать способностью к управлению? Однако мы обнаруживаем в текстах де Местра нечто иное.

В книге “О Папе” (1819), предвосхищая возможный вопрос читателя, созданный король для народа или народ — для короля, де Местр пишет: “Два предложения ошибочны, если приняты порознь, и истинны, если приняты вместе. Народ создан для государя, и государь создан для народа; *и тот, и другой* созданы для того, чтобы был суверенитет. Большая пружина в часах создана вовсе не для маятника, и он — не для нее; но каждое из них — для другого, и то и другое для того, чтобы показывать время [Maistre: II, 143] (здесь и далее курсив мой. — М.Д.).

Приведенное высказывание чрезвычайно важно, поскольку из него следует, что де Местр рассматривает суверенитет иначе, чем Боден. Суверенитет возникает как *слагаемое усилий монарха и подданных*. В данном случае вроде бы не может быть никаких сомнений в том, что суверенитет *не сводим к конкретному носителю*: он есть не свойство какой-то одной из сил, участвующих в его отправлении, а результат их общей деятельности, подобно тому, как время на циферблате часов — следствие согласованной работы отдельных частей часового механизма.

Заявление, казалось бы, неожиданное в устах роялиста. Хотя по существу в самом суждении ничего удивительного нет, если принять во внимание контекст — *концепцию национально-монархического равновесия*, к которой нам еще предстоит вернуться. Вместе с тем в “Рассуждениях о Франции” мы находим фрагмент, способный заставить усомниться в правильности понимания предыдущего высказывания: “Одно из самых великих преступлений, которое могло бы свершиться, это, несомненно, посягательство на *суверенитет*. Ничто другое не влечет столь ужасных последствий. Если носителем этого суверенитета является человек* и если его голова падает как жертва заговора, то преступление становится еще более чудовищным” [Местр 1997: 23].

Тенденция к *персонализации суверенитета* выражена здесь достаточно отчетливо. Таким образом, перед нами два совершенно разных взгляда на суверенитет. Дает ли это основание говорить о том, что деместрова трактовка суверенитета с годами претерпела серьезные изменения? Верно ли, что *персоналистскую* трактовку сменило более сложное представление о суверенитете как о *высшей государственной власти, не сводимой к конкретным носителям*? Для того чтобы разобраться в этом, обратимся к важнейшей составляющей деместровой политической теории — идее национально-монархического альянса в ее эволюции.

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНО-МОНАРХИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

“Равновесие” (équilibre) — одно из излюбленных понятий энциклопедистов (на нем, как известно, строится принцип разделения властей Монтескье). В зрелой деместровой теории оно трактуется как социально-политический баланс и одновременно — как своеобразная амальгама двух элементов: *нации и королевской власти*. Соотношение указанных начал мыслится де Местром не только в качестве системы их взаимного сдерживания, но и как политический императив, исключающий саму возможность определения одного вне зависимости от другого.

Согласно де Местру, *власть* способна интегрировать нацию с помощью “политической веры” — “соединенных и переплетенных политических представлений”. А король как конкретный объект политического поклонения выступает для подданных персонализированным воплощением идеи Родины. Приверженность к династии совпадает с привязанностью народа к своему историческому прошлому. Поэтому именно в преданности престолу де Местр усматривает наивысшее проявление патриотического чувства. Только благода-

* По Конституции 1795 г. в законодательном собрании Франции должны были заседать 750 депутатов с ежегодной сменой трети состава.

* В буквальном переводе: “Если суверенитет держится на голове...” (Si la souveraineté réside sur une tête...).

ря монархии *нация определяется в качестве исторической и политической целостности*. “Отнимите царицу у пчелиного роя, и вы будете иметь сколько угодно пчел, но улей — никогда” [Maistre: I, 39].

Монархия для де Местра *немыслима отдельно от нации*. Поэтому он связывает легитимность королевской власти с ее *наследственным характером и национальным происхождением*. Совершенная монархия не должна основываться на узурпации, ибо иноземная власть “приносит народу не порядок и мир, а угнетение и тиранию, а повиновение ей — самое большое несчастье для людей”. Избрание короля в случае пресечения династии представляется де Местру священным и неотъемлемым *национальным правом*. Долг народов по отношению к королям состоит в повиновении, а королевская власть связана с подданными *системой обязательств*. Такая власть потому является “наилучшей формой осуществления суверенитета”, что может обеспечить наибольшее благо наибольшему числу лиц на наибольшей территории в течение наиболее продолжительного времени — благодаря развитой системе степеней и отличий, а также благодаря взаимной ответственности и преемственности представителей царствующего дома.

Однако королевская власть должна не только оградить нацию от внешних невзгод, но и обезопасить ее от произвола. Для этого требуется признать необходимой систему сдержек для самой монархии. Присущий философу дух рационализма не позволяет ему ограничиться лишь боденовскими “внутренними” рычагами регулирования поведения государей — моральными и религиозными законами. Де Местр не был бы самим собой, если бы не добавил к “королевскому инстинкту” — внутреннему чувству, страхующему августейших государей от совершения ошибок ординарных людей, — социальные ограничения. Первое из них состоит в добровольном отказе монархов от права по собственному усмотрению вершить суд и в подчинении судопроизводства установленным законам. Сверх того действует независимый судебский корпус — магистратура.

Помимо “разделения” с нацией судебной власти, государи предоставляют ей законосовещательный голос (применительно к Франции речь идет о Генеральных Штатах). Сословное представительство — еще один социальный противовес. К разряду “естественных” средств, регулирующих поведение монархов, де Местр относит традицию и общественное мнение.

Наконец, важным элементом, смягчающим политическую власть, философ считает сакральный характер законов и норм и участие духовенства в управлении государством. По его мнению, такое участие — правда, во власти не политической, а сугубо административной* — является традиционным для Франции: “Я не думаю, что какая-либо иная европейская монархия использовала ради блага Государства большее число высших священнослужителей в гражданском управлении” [Местр 1997: 105].

Итак, “равновесие” есть *система взаимного сдерживания монархии и нации, обеспечивающая государству политический статус-кво*. С точки зрения де Местра, до революции французы были счастливыми обладателями неписаной конституции, каковая состояла из “соединения свободы и власти, законов и воззрений”: “Все влияния были хорошо уравновешены, и каждый занимал свое место” [Местр 1997: 105]. Еще в 1797 г. “раздор” французской нации с королями представлялся ему своеобразной “домашней ссорой”, спровоцированной извне “злокозненной” протестантской Германией. Недаром в последних главах “Рассуждений” он призывает день, “когда король соединится со своей нацией, которая найдет в нем все” [Местр 1997: 123].

Однако Наполеон “разрубил” звенья системы, став олицетворением национальных интересов Франции и “броней” государства. “Домашняя ссора” слишком затянулась, и этот неутешительный для монархиста факт заставил де Местра откорректировать (в работе “О Папе”) концепцию “равновесия”.

К тому времени де Местр постепенно изменил свой взгляд на причины революции, частично возложив вину за события 1789 г. на самого монарха. В поздних произведениях и письмах он постоянно проводит мысль о том, что проповедь божественного Провидения содержит две стороны. Одна из них обращена к государям, другая — к народам: “Революции происходят только от злоупотреблений правительства, но любые злоупотребления все-таки несравненно лучше революции”. Эта мысль получила развитие и в его политической теории. Дабы предупредить подобные губительные события впредь, философ предлагает возложить на папу Римского роль третейского судьи в разрешении конфликтов между монархами и их народами и вообще становится более осторожным в высказываниях о нации.

Но какое отношение это имеет к концепции суверенитета? На наш взгляд, приводившийся выше фрагмент из “Рассуждений о Франции” о недопустимости посягательств на носителя суверенитета недвусмысленно свидетельствует о том, что в 1790-е годы де Местру был чужд дух компромисса. В то время суверенитет представлялся ему исключительно *монархическим*, а идея национально-монархического *равновесия* служила оправданием жесткой монархической позиции. По сути дела, за просветительским понятием “равновесия” скрывалось содержание, имеющее традиционалистскую генеалогию.

С помощью идеи “баланса интересов” де Местр фактически попытался обосновать “интегральный абсолютизм” идеолога Людовика XIV — епископа Ж.Боссюэ, объявлявшего абсолютную монархию лучшей из возможных форм национального единения и выражения чаяний различных социальных слоев. Революция перевела “интегральный абсолютизм” из разряда традиционалистских идей в сферу консервативной мысли. Инстинктивное стремление Боссюэ укрепить институт монархии с помощью лозунга “общего блага” приобретает доктринальную законченность уже в конце XVIII в., когда абсолютизм начинает оправдываться через просветительский идеал *социально-политического баланса*.

ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ “РАВНОВЕСИЯ” В КНИГЕ “О ПАПЕ”

Сказанное выше может создать впечатление, будто де Местр начал осознавать, что с нацией следует считаться, что она обладает волей и активностью — такими же слагаемыми суверенитета, как и воля короля. Однако не будем спешить с выводами.

Открывая книгу “О Папе”, мы видим, что там в основных чертах сохраняется уже знакомая нам концепция “равновесия”: нация невозможна без монархии, монархия — ничто без нации. Вместе с тем в этой работе де Местр более подробно, чем прежде, описывает систему сдерживания монархического авторитета. К прежним механизмам контроля добавляется теперь *папская супрематия*. Похоже, что в новом варианте, при новой трактовке суверенитета “равновесие” становится фактическим. Но тут появляется масса оговорок, исключающих мысль о равнозначности его составляющих.

Прежде всего, философ чистосердечно признается в своем пристрастии: “Нет суверена без нации, как нет и нации без суверена; но нация обязана суверену *большим, чем суверен — ей*. Ибо она обязана ему своим *общественным существованием и всеми благами, которые из этого вытекают*, в то время как государь обязан суверенитету только тщетным блеском, не имеющим ничего общего со счастьем и почти всегда исключаящим его” [Maistre: II, 143]. Иными словами, суверенитет представлен здесь буквально как *бремя государя*.

А дальше королевская власть предстает фактически как синоним суверенитета. Это особенно заметно в рассуждениях де Местра о неправомерности по отношению к королям суда нации. Тезис о том, что “*суверенитет является абсолютным только в своем кругу законности*” [Maistre: II, 151], меркнет на фоне следующего пассажа: “На практике совершенно одно и то же — *быть справедливым и ошибаться, не подлежа за это обвинению*” [Maistre: I, 25]. Но ошибаться может человек. Так что *персоналистская тенденция* напоминает о себе и здесь.

* “Во Франции никогда не было правления священников” [Местр 1997: 105].

Наконец, в одном из сочинений де Местра мы находим фрагмент, из которого видно, что речь идет не об ошибках *верховой власти в ее абстрактном выражении*, а именно об ошибках *суверена*: “Если бы я мог быть вынужден согласиться с *правом на кровопролитие* Нерона, то я никогда не согласился бы с тем, что *люди имели право судить его*: ибо закон, в силу которого бы его судили, был бы создан... другим сувереном, что предполагало бы суверена, *противопоставленного ему самому, или суверена выше суверена*: оба предположения одинаково недопустимы” [цит. по Cioran 1957: 149]. Таким образом, когда де Местр говорит о том, что суверенитет ограничен своим кругом законности, он подразумевает именно *власть монарха-суверена*, а не суверенитет как высшую власть в государстве, рождающуюся из взаимодействия правителя и подданных.

Кстати, тенденция к персонализации суверенитета выражена очень сильно и тогда, когда де Местр протестует против отделения *духовной супрематии от папы*. В принципе выдерживается единый логический стиль: *власть немыслима отдельно от ее носителя*. В этом и состоит суть апологии персоны римского первосвященника. Не *духовная санкция как таковая*, а именно *слово папы* провозглашается краеугольным камнем всей европейской политики. Иначе *власть как способность к действию будет парализована*. Не это ли имеет в виду де Местр, когда замечает: “Допустите один раз обжалование его [папы] декретов, нет больше правительства, нет больше единства, нет больше зримой Церкви” [Maistre: I, 27]. Но по этой логике точно так же может быть парализована способность к действию *внутри государства*. Хотя прямых высказываний такого плана у де Местра нет, читатель подводится к мысли о том, что в суверенитете воплощается не *воля нации вообще*, а *воля суверена-государя*.

Итак, одновременно с разрушением “равновесия” как системы взаимного сдерживания монархов и наций распадается и суверенитет как воплощение *воли монарха и народа*. Мы не станем здесь уточнять мотивы, по которым де Местр создал в книге “О Папе” новую формулу суверенитета, отличающуюся от представленной в “Рассуждениях”. Но очевидно, что стремление *завуалировать персонализм* было связано с осознанием того, что политическая реставрация потребует от монархов гибкости по отношению к своим народам. И если не изменилось существо концепции, то де Местру все же пришлось “поменять свой слог”.

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КАЧЕСТВА СУВЕРЕННОЙ ВЛАСТИ

Из деместровых работ следует, что суверенна та власть, чьи действия не связаны сопротивлением со стороны посторонней воли. В этом заключается основной смысл тех разделов сочинения “О Папе”, где говорится о власти королей и римского первосвященника. Иначе говоря, речь идет о *власти, способной к абсолютно самостоятельному действию*. И здесь отчетливо проявляется сходство построений де Местра с теорией Ж.Бодена.

Но тогда неизбежно встает следующая проблема: как быть с Наполеоном, который продемонстрировал не только безграничность собственной власти и неподотчетность ее любой другой воле, но и талант к действию? На его фоне *слабость монархов* проявлялась довольно наглядно. Кто же из них, если руководствоваться деместровым представлением о суверенитете, с большим основанием должен был считаться сувереном?

Де Местр, несмотря на весь свой роялизм, был не настолько слеп, чтоб не осознавать: *воля Людовика XIV* не нашла продолжения у его потомков. Философ вообще неоднократно говорил об “оскудении крови Бурбонов”, что являлось “вечной занозой в его сердце”. При этом он дал Наполеону столько лестных характеристик, что им мог бы позавидовать самый искушенный придворный Бонапарта. Чего, например, стоит пассаж из письма, написанного в 1809 г.: “Нельзя ставить узурпатора, которого сегодня хватают, чтобы отправить на виселицу, на одну доску с необычайным человеком, владеющим тремя четвертями Европы, признанным всеми монархами, породнившимся с тремя или четырьмя династиями и, наконец, взявшим за последние пятнадцать лет больше

столиц, нежели самые великие полководцы — простых городов за всю жизнь. Подобный человек не вмещается ни в какие рамки” [Местр 1995: 93].

И все же де Местр отказывается называть власть Наполеона *суверенной* — несмотря на признание заслуг последнего перед нацией, невзирая на убеждение в том, что только благодаря Наполеону удалось отстоять независимость Франции: “В начале этой гибельной эпохи было довольно общепринятым говорить, что если бы в Париж пожаловали с войском, вопрос мог быть только о разделе Франции. Сегодня точно так же отовсюду раздается, что равновесие нарушено безвозвратно, что преобладание Франции покоится на непоколебимых основах и остается лишь склонение головы... Лет двенадцать-пятнадцать назад французы были ничтожествами, каковых растерли бы в пыль: сегодня это Титаны, которых невозможно догнать” [цит. по Cioran 1957: 202].

Таким образом, наличия боденовских качеств — *объема, непроемкости, неограниченной властной способности* — оказывается недостаточно для признания за Наполеоном прав суверена. Ни вступление Бонапарта в родственные отношения с австрийской династией, ни даже *священная санкция* со стороны папы Римского не меняют в глазах де Местра природы власти французского императора: он остается лишь держателем, *хранителем властного мандата* до появления нового законного короля, каковым, по мнению философа, мог стать, в частности, сын Наполеона: “Ни медь, ни олово по отдельности не пригодны, чтобы лить пушки и колокола, но в соединении весьма для сего хороши. Кто знает, может быть, древняя августейшая кровь, ослабевшая и разжиженная, смешавшись с красною пеною бандита, и создаст нового монарха?” [Местр 1994: 183].

Особенно болезнен для де Местра, католика и легитимиста, факт коронации Бонапарта понтификом. В деместровской записной книжке есть высказывание по этому поводу: “Всем своим сердцем я желаю папе смерти, точно так же и на том же основании, на каком я желал бы ее сегодня своему отцу, если бы завтра ему предстояло так обесчеститься” [цит. по Cioran 1957: 309].

В конце концов де Местр упирается в тот же вопрос, который в свое время, хотя и в иных обстоятельствах, волновал Ж.Бодена: *в чем отличие власти настоящего суверена от власти держателя?* Только при ответе на него выявляется действительно значимый для философа признак суверенной власти — ее *древность, традиционность*. Но разве названный признак не был включен Боденом в дефиницию суверенитета? Ведь Боден называет суверенной власть абсолютную и постоянную. В определенном смысле это так, но не стоит забывать о боденовской интерпретации *постоянства*. Для автора “Шести книг о республике” принципиально то, что постоянная власть есть власть *непроизводная, не имеющая на земле иного хозяина, кроме ее обладателя*, а не *сам факт ее долговременности*. А для де Местра признак долговременности *достаточен сам по себе и не требует дополнительных комментариев и обоснований*.

Критерий *постоянства* столь важен не потому, что показывает, *зависит ли данная власть от какой-либо иной или нет, получена ли она на определенный срок или дана непосредственно*, а потому что испытание временем для де Местра — единственное доказательство ее *прочности*. Именно в связи с этим столь важно принимать в расчет указанное *содержательное различие*, хотя на первый взгляд может возникнуть ощущение абсолютной тождественности признака *постоянства* суверенитета у Бодена и де Местра.

Для последнего власть Наполеона *не суверенна* вовсе не потому, что у Бонапарта *есть некий сеньор, предоставивший ему эту власть на определенный срок*, а потому что она *не апробирована временем* и, соответственно, *ненадежна*. Не случайно де Местр беспрестанно ссылается на инстинкт, который подсказывает ему: многочисленная семья Наполеона потеряет корону, как потеряла ее семья Кромвеля, ибо эту корону не поддерживает авторитет *времени*. Если он и примиряется с мыслью о том, что сын Наполеона сможет приобрести статус суверена, то только благодаря *древности рода* Марии-Луизы. Но и на эту уступку де Местр идет в силу особых обстоятельств: “Что делать и че-

го ждать, когда все государи превратились в его [Наполеона] союзников?» [Местр 1994: 183].

Таким образом, деместрова трактовка признака *постоянства* в чем-то больше соответствующей трактовки Бодена. Нетрудно заметить, что для де Местра вопрос о *праве власти именоваться суверенной* равнозначен вопросу о ее *легитимности*, причем строгая роялистская позиция определяет значение данной категории: *легитимная власть есть власть монархическая*. Бодена больше занимает иной аспект, связанный с династической борьбой, — *четкое представление о сеньориальных правах и обязанностях, о субординации*. Потому ему так важно отличать *владельца от пользователя*.

Легитимизм объясняет, почему у де Местра меняется и смысл такого важного признака суверенитета, как *богоположенность*. Благословение папы само по себе не придает власти узурпатора божественный характер. *Имеет ли власть божественное происхождение или нет, всецело зависит от того, как долго она существует*. Если династия продержалась века, значит, она «выбрана и выращена среди облаков Создателем», *угодна Богу*.

Вместе с тем нельзя сказать, что философу совершенно чужда установка апостола Павла: «Всякая власть от Бога». Иначе как можно было бы объяснить появление Наполеона? Согласно позиции де Местра, его приход также связан с божественной волей, но он — «страшное орудие Провидения», которое исчезнет, выполнив свое назначение и покончив с революцией. Когда же речь идет о *власти суверенной*, по-настоящему желанной Богу, в силу вступают критерии *давности*.

Ничего подобного в боденовской трактовке божественности суверенитета мы не находим. Как ни парадоксально, *божественный характер власти* определяется для де Местра ее *долговечностью*. Традиция имеет в его глазах решающее значение.

* * *

Несмотря на множество различий, концепции де Местра и Бодена схожи в главном — в *персонализации* суверенитета. отождествление Боденом *суверенитета* и *власти суверена* свидетельствует о непростом рождении данного политико-правового концепта. Но любопытно, что де Местр, похоже, не замечал проблематичности содержательного расхождения данных категорий. В этом его отличие от Т.Гоббса, который, рассуждая о государственной власти, предпочитал термин «суверен», а понятие «суверенитет» использовал крайне редко. Вероятно, это было связано с тем, что, обнаружив у Бодена тенденцию к *персонификации суверенитета*, английский философ с присущей ему педантичностью старался отразить существо идеи в терминологии.

Невнимание де Местра к указанной детали было следствием скорее его идеологической позиции, нежели пунктуальной приверженности первоначальному значению понятия. По существу де Местр, подобно энциклопедистам, трансформировал *проблему суверенитета* в обоснование *права на суверенитет объекта собственных политических пристрастий*, хотя, в отличие от оппонентов из либерального лагеря, не артикулировал это открыто. Частое употребление термина «*суверенитет*» в значении *власть монарха-суверена* само по себе несло мысль о *естественности* данного отождествления. Таким образом, общими усилиями представителей противоположных политических лагерей концепция суверенитета приобрела выраженный идеологический характер.

Дегтярева М.И. 2000. Разработка понятия суверенитета Жаном Боденом. — *Полис*, № 3.
Местр Ж. де. 1994. Письма Жозефа де Местра из Петербурга в Сардинию — *Звезда*, № 11.
Местр Ж. де. 1995. *Петербургские письма* (составление, перевод и предисловие Д.В.Соловьева). СПб.

Местр Ж. де. 1997. *Рассуждения о Франции*. М.

Cioran E.M. 1957. *Joseph de Maistre*. P.

Maistre J. de. *Du Pape*. P. (s. an.).

РУССКИЕ ИСТОКИ НЕМЕЦКОЙ «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»: АРТУР МЁЛЛЕР ВАН ДЕН БРУК

С.Г. Алленов

Политический лексикон новейшей эпохи содержит немало терминов, которые кажутся сотканными из противоречий. Интригуя своим парадоксальным звучанием, они тонко отражают прихотливые реалии ушедшего века. Одним из подобных неологизмов стало понятие «консервативная революция», лозунги которой впервые прозвучали в Германии 1920-х — начала 1930-х годов. Ее застрельщиками выступали публицисты, находившиеся в непримиримой оппозиции к либеральной демократии и призывавшие к ее ликвидации во имя утверждения «высших», национальных ценностей. В пестром стане противников веймарского режима «революционные консерваторы» выделялись не только агрессивностью той критики, которую обрушивали на его устои. В ситуации, когда «уметь ненавидеть было важнее, чем мыслить» (К.Гейден), они все же демонстрировали оба дара. Вместе с тем их интеллектуальные изыски часто звучали в унисон с нехитрыми пароллями нацистской пропаганды. Это созвучие, отмеченное критиками, а отчасти и апологетами «революционного консерватизма», впоследствии не раз заставляло тех и других возвращаться к вопросу о его ответственности за установление нацистской диктатуры [см., напр. Рахшмир 1973; Kroll 2000]. Но независимо от того, была ли «консервативная революция» в Германии предтечей нацизма или его альтернативой, она бесспорно входила в число наиболее радикальных националистических течений XX в.

После разгрома нацистского «рейха» во второй мировой войне «революционно-консервативная» идея в течение почти полувека казалась достоянием не столько политики, сколько истории. Однако с наступлением краха «реального» социализма и кризиса как «левого», так и замешанного на антикоммунизме «правого» мировоззрений, она вновь завоевывает многочисленных сторонников, причем уже не только в Германии, но и в других странах Европы. Таким образом, окончание «холодной войны», принятое было приверженцами либеральной демократии за «конец истории», обернулось ренессансом «консервативной революции». Сегодня ее европейские идеологи, как и их предшественники веймарской поры, всюду противопоставляют «открытому» обществу миф о культурно однородной, органически «слипной» и иерархически выстроенной народной общности [см., напр. Jaschke 1994; Eichberg 1996: 10 ff; Klönne 1996].

В последние десять лет «революционный консерватизм» успел стать заметным явлением и в нашей стране. Укорениться на российской почве ему помогают, с одной стороны, предпринятый его отечественным вождем А.Дугиным синтез «революционно-консервативной» традиции с элементами евразийства [см. Дугин 1992], с другой — указания того же Дугина на «обязательную русофилию» его немецких предтеч [Дугин 1994: 12]. Действительно, взгляды многих (хотя и не всех) «революционных консерваторов» свидетельствуют о том, что пресловутый германский «Drang nach Osten» имел порой не только агрессивный заряд и не всегда означал военный «натиск на Восток». Их публицистика нередко являла образец культурно и политически мотивированного «притяжения к Востоку», под которым в первую очередь подразумевалась Россия. Будучи, как и сама «консервативная революция», весьма противоречивым явлением, эта «восточная ориентация» стала одним из важнейших компонентов ее идеологии. В той или иной форме она прослеживается в

АЛЛЕНОВ Сергей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент Воронежского государственного университета.

работах Э.Никиша, М.Х.Бема, К.О.Петеля, Г. фон Гляйхена, Э. фон Саломона, Г.Шварца и ряда других “революционных консерваторов”. Продолжая в своей “русофилии” еще не забытую прусскую консервативную традицию первой половины XIX в., они вдохновлялись отчасти романтическим противопоставлением “животворных” культур Востока “прогнившей” цивилизации Запада, отчасти — конъюнктурными надеждами на альянс с Советской Россией и коммунистами в борьбе против Антанты и веймарской демократии.

“Восточные мотивы” немецкой “консервативной революции” получили наиболее концентрированное выражение в творчестве Артура Мёллера (1876 — 1925 гг.), вошедшего в историю под псевдонимом Мёллер ван ден Брук. Известность этого автора имеет зловещий оттенок, поскольку название его главного труда — “Третий рейх” [Moeller 1923] — вызывает неизменные ассоциации с нацистским режимом. Так, в советской историографии Мёллер однозначно оценивался как идейный предтеча нацизма [Галкин 1967: 317-318; Бланк 1974: 41-43; Бланк 1978: 109-110; Бессонов 1985: 99-100], тем более, что сам будущий фюрер был готов признать в нем не только своего соратника, но и наставника [см. Pechel 1947: 277]. Неудивительно, что политическая репутация этого “наиболее популярного барда германского империализма” затмила все проявления того страстного интереса к русской культуре, которым было пронизано его творчество. Между тем, находясь у самых истоков “революционно-консервативного” движения, Мёллер играл роль посредника между “русской идеей” — прежде всего политической философией Ф.М. Достоевского — и идеологией немецкого национализма. Представляется, что именно ему немецкая “консервативная революция” была во многом обязана своей “восточной” ориентацией и, более того, наличием “русских” следов в своей мировоззренческой родословной.

ПУТЬ В ПОЛИТИКУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕОЦЕНКУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

В блестящей плеяде немецких литераторов первой четверти XX в. А.Мёллер был если не самой яркой, то наиболее разносторонней фигурой. Свой творческий путь он начинал на рубеже веков как переводчик и издатель иностранной беллетристики, литературный критик и эссеист, искусствовед и культуролог. С успехом выступая на каждом из этих поприщ, Мёллер успел внести к началу первой мировой войны весомую лепту в культурную жизнь кайзеровской Германии. Он немало способствовал популяризации молодых писателей, в которых безошибочно угадывал будущих звезд немецкой литературы [см., напр. Moeller 1902], но, пожалуй, еще больше — ознакомлению соотечественников с культурными традициями и новациями других стран. На этом этапе своего творчества будущий идеолог немецкого национализма предстает аполитичным космополитом, выступающим против засилья буржуазной морали и обывательских вкусов. Находясь, как и другие представители немецкого литературно-художественного авангарда, в разладе с духовной ситуацией вильгельмовской Германии, он не случайно провел несколько лет за пределами родины — сначала во Франции, затем в путешествиях по другим странам Европы.

Примечательно, что превращение Мёллера из воинствующего эстета в столь же пылкого националиста происходило именно в добровольной эмиграции, где он остро ощутил “различия наций” и неизбежность грядущей схватки между ними. В то же время, в своем протесте против “ложных” идеалов буржуазной эпохи, Мёллер обратился к “ценностям народов” как “вечным” и “истинным” первоосновам их культур. Свою “переоценку ценностей” будущий националист начинал в этико-эстетической сфере, казавшейся тогда еще очень далекой от политики. Однако, заговорив о национальной природе “высших” ценностей, Мёллер сделал тем самым решающий шаг к наполнению ницшеанского бунта против духовных устоев буржуазного общества вполне отчетливым политическим содержанием. Следующим логическим шагом в том же направлении стал его призыв к соединению политики и культуры [см. Moeller 1909]. Спустя всего несколько лет этот путь окажется магистральным

в духовном развитии целой плеяды немецких интеллектуалов. Но именно Мёллер, вступивший на него раньше своих соратников по “консервативной революции”, и успевший пройти все его этапы от культурпессимизма до национализма, по праву прослыл “парадигматическим типом” немецкого литератора первой трети XX в. [см. Schwierskott 1962: 37, 155; Kaltenbrunner 1969; Kondylis 1986: 480].

Следует признать, что обострившееся чувство национальной принадлежности не лишило новоиспеченного патриота способности ценить и пропагандировать инокультурный опыт. Уже стоя на националистических позициях, Мёллер продолжал ратовать за немецкий “универсализм”, способный покорять пространство чужих культур и впитывать из них то, что поможет возродить национальное сознание самих немцев [см. Moeller 1933a: 179]. Блестящим образцом такого универсализма явилась написанная им в поездках по Италии и ставшая настоящим гимном этой стране книга под названием “Итальянская красота” [см. Moeller 1913]. Секрет очарования и преемственности итальянской культуры автор видел во взаимодействии вечного духа, рожденного ландшафтом Аппенин, и народов, сменявших друг друга на полуострове. Такой подход годился не только для объяснения итальянских красот: включая в себя элементы геополитики и расовой доктрины, он уже содержал зачатки оригинального политический мифологии. Правда, Мёллер, почитавший Х.Чемберлена и К.Хаусхофера и охотно оперировавший понятиями “пространство”, “почва”, “раса” и “кровь”, так и не принял ни той, ни другой теории в их чистом виде [см. Rödel 1939]. В противном случае немецкий националист вряд ли смог бы остаться поклонником чужих культурных традиций.

Книга об “Итальянской красоте” была лишь частью задуманного автором фундаментального труда о “ценностях народов”, один из томов которого он намеревался посвятить “немецкому мировоззрению” и “русской душе”. Хотя эта работа так и не была написана, “русская тема” неизменно оставалась одной из центральных в творчестве Мёллера — культурфилософа и политического публициста. Высоко оценивая “гениально-душевные” задатки русского народа, немецкий литератор считал их в равной степени чисто русским и общечеловеческим достоянием. Эти задатки открылись ему не только во “врожденной религиозности” русских, но и в их великой литературе XIX в. В ней он находил предельно четкую постановку тех проблем, которые вставали на Западе лишь в “смутном и неявном виде”, и, как ему казалось, — самое глубокое обоснование “смысла сегодняшней и завтрашней жизни”. Он был убежден, что этот смысл “чище и величественнее всего” раскрывается в творческом наследии “центрального гения” русской литературы — Достоевского [см. Moeller 1933a: 184, 185].

Результатом увлечения Мёллера русской классикой стало издание им в 1906 — 1919 гг. первого на немецком языке полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского [Dostojewski 1906 — 1919]. Не будет преувеличением сказать, что эта публикация явилась выдающимся вкладом в диалог культур России и Германии. В немецких читательских кругах благодаря этому поистине подвижническому труду установился настоящий культ Достоевского, сохранившийся в годы первой мировой войны и после ее окончания [см. Koenen 1998: 763-789; Garstka 1998: 135-150]. В блестящих вступительных эссе к томам Достоевского Мёллер старался передать читателям свою любовь к его творчеству и выступал как интерпретатор его произведений. Размышляя над произведениями Достоевского, Мёллер искал ответ прежде всего на те вопросы, которые занимали его в ходе осознания собственной, немецкой национальной принадлежности. Уже поэтому Достоевский был для него больше, чем великий писатель. То “больше”, что Мёллер открыл в своем кумире, он выражал понятиями “великий мистик”, “великий этнопсихолог”, но чаще всего — “великий националист”. В его текстах эти слова имели схожий смысл и звучали как почетные звания, к которым он, бесспорно, мог бы добавить еще одно: “великий учитель”. Действительно, русский классик во многих отношениях служил будущему идеологу немецкого национализма наставником и примером для под-

ражания. Прежде всего у Достоевского Мёллер учился верить в избранность своего народа, видеть в нем высшую ценность и пророчествовать о его великом предназначении.

ПРОПОВЕДЬ “ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТИ” КАК УРОК НАЦИОНАЛИЗМА

Мёллер отмечал, что русским патриотом Достоевский стал на чужбине, наблюдая европейскую жизнь вблизи и проникаясь к ней все большим отвращением. Именно европейские впечатления, полагал Мёллер, привели писателя к выводу о необходимости для русских “стать русскими во-первых и прежде всего”, а также к мысли о том, что, только осознав себя в этом качестве, русский человек поможет европейцам “снова стать людьми” [Moeller 1933a: 48]. Таким образом он прямо указывал на источник, из которого вытекал и его собственный немецкий национализм, и, как он полагал, — русский патриотизм его кумира. Этим источником была нелюбовь к Западу и неприятие базисных ценностей его культуры. Именно эти мотивы Мёллер особенно тщательно прослеживал в художественных произведениях и публицистике своего любимого писателя.

Ни вера Достоевского во “вселенскую отзывчивость русской души”, ни его известные признания в любви к “европейскому кладбищу” не помешали Мёллеру уловить неприязнь писателя к современной Европе, в которой “все подкопано и может быть завтра же рухнет бесследно во веки веков” [Достоевский 1984: 132; см. подр. Hielscher 1998]. В представлении самого немецкого националиста Запад ассоциировался с распадом и смертью органического народного целого. Поэтому с пылом истинного славянофила он осуждал “безрасудство Петра Великого”, открывшего свою страну Европе, и находил последствия этого шага разрушительными для России [см. Moeller 1933a: 156, 182]. Однако творчество Достоевского (как, впрочем, и вся русская литература) убеждало Мёллера в том, что даже после “роковых” петровских реформ Россия сумела сохранить в толще народной жизни свою стихийную силу и самобытность. Все привлекательные черты духовной жизни России — будь то русская набожность или русский юмор, русская чувственность или русский консерватизм — он так или иначе сводил к русскому антизападничеству.

Основную причину своей тяги к России Мёллер открыл сам, признав однажды, что “немцам недостает безусловной русской духовности” [Moeller 1933a: 185]. Эта духовность, пояснял он, “нужна Германии как противовес против западничества”, “как восточное дополнение нашей собственной духовности”. Она связывает Россию с Германией тем больше, “чем менее западной, чем подлиннее русской, славянской, византийской... она является” [Moeller 1933a: 160]. Русская способность к беспощадному и мучительному самопознанию, обещавшая искупление “смертного греха” западничества, заставляла Мёллера весьма серьезно относиться к пророчеству Достоевского о скором рождении “русского Христа”, “Христа сегодняшнего дня”, который явится “обороной от Запада” не только для России, но, возможно, и для Германии [Moeller 1933a: 29].

Надежда, которую Мёллер связывал с “безусловной русской духовностью”, была тем сильнее, чем тлетворнее ему представлялось влияние Запада на его собственную страну. Вопреки знаменитым пассажам из “Пушкинской речи” своего кумира Мёллер называл “полное самоотречение” в отношениях с Западом не достоинством, но слабостью, свойственной не столько России, сколько Германии [см. Moeller 1933a: 185]. Но, сожалея о потере соотечественниками “духовного суверенитета”, он все же не терял веры в их способность свернуть с “порочного” западного пути и обратиться к собственным ценностям. Эту уверенность вселял в него Достоевский, причем не только силой русского примера, но и указаниями на таящийся в самой Германии антизападнический потенциал. Для Мёллера и его соратников — немецких патриотов “нового” зачала — отзыв русского писателя об их родине как о “вечно протестующей” против Запада [Достоевский 1983: 151-154] звучал высшей похвалой.

В идейном наследии Достоевского нашлось и такое объяснение этому “вечному протесту”, которое легко прочитывалось как пророчество о великом предназначении Германии и ее грядущем торжестве над Западом. Оно открылось Мёллеру в рожденном немецкой романтикой и развитом Достоевским мифе о “молодых” народах, которые в избытке жизненных сил бросают вызов “старым” нациям дряхлеющей Европы. Молодость немцев он порой обосновывал ссылками на чисто биологический факт быстрого роста их численности, но все же главным для него были качественные показатели. Молодость народа он понимал как сохраняемую на протяжении долгого времени близость к животворным природным истокам. Таким образом, мёллеровская оппозиция “молодых” и “старых” народов несла в себе, с одной стороны, почвеннический идеал органически слитной народной общности, а с другой — противоположное этому идеалу, но неизменно связанное с ним представление о погрязшем в индивидуализме западном обществе. В конечном итоге возраст народа, а значит и прочность скрепляющих его уз, стал в интерпретации Мёллера признаком принадлежности к одной из двух абстракций — “Востока” или “Запада”, антагонизм которых был излюбленным мотивом культуркритики начала XX в.

С годами Мёллер охладевал к идее русской “богоизбранности”. Не оспаривая ее напрямую, он все чаще и чаще писал о великом предназначении самих немцев. По его убеждению, для того чтобы их миссия исполнилась, немцы должны были “стать немцами во-первых и прежде всего”. При этом он отнюдь не скрывал, что перефразирует известный призыв Достоевского к русским [см. Moeller 1933a: 48, 186]. В конце концов Мёллер взял на себя в отношении немцев ту же роль “воспитателя” нации, в которой, по его мнению, для русских выступал Достоевский. Первым шагом в этом направлении стала серия биографических эссе о выдающихся немцах — государственных деятелях, писателях, философах и художниках. Работа над ней увенчалась изданием восьми томов под общим названием “Немцы”. Автор адресовал свой труд молодым соотечественникам, чтобы морально подготовить их к назревающей схватке с европейскими державами. А когда война разразилась, Мёллер написал свое самое глубокое по содержанию и изысканное по форме произведение — небольшую книгу под названием “Прусский стиль” [см. Moeller 1916].

Постижение “пруской сущности” было связано для него с вызванной войной необходимостью концентрации немецких национальных сил. “Прусский дух”, воплотившийся в “активной и монолитной” прусской государственности, он противопоставил “аморфности”, присущей, по его убеждению, остальным немцам. Перестройка немецкого государства по прусскому образцу представлялась Мёллеру спасительной для всей нации. Залогом выполнения этой задачи он полагал усвоение того строгого стиля, которому пруссизм обязан своими достижениями в колониальной, военной и политической областях. Сложившийся на прусской почве человеческий тип — стойкий, связанный прочными духовными узами со своим народом и готовый к самоотречению во имя “высших ценностей” — явился для него прототипом немца, которого предстояло воспитать. Воспитание означало для Мёллера (в духе его же призыва к соединению культуры и политики) “политизацию”, точнее, “национализацию” немецкого сознания. Оно должно было служить, с одной стороны, достижению немецкой “цельности” по прусскому образцу, с другой — осознанию немцами своей “сущности”, с тем чтобы затем “наполнить ею” весь остальной мир [Moeller 1911].

Призыв Мёллера к соединению культуры и политики и выразивший из него миф о “немецкой гармонии” могли показаться в охваченной военным энтузиазмом Германии почти воплотившимися в жизнь. Вызванная войной и вылившаяся в мощный поток “патриотических” сочинений политизация немецкой культурной элиты сопровождалась ее настойчивыми попытками стереть грань, разделяющую политику и культуру. Это стремление немецкой интеллигенции могло принимать и форму отрицания “низменных” политических реалий, и (как в случае с Мёллером) форму обращения к единственно “реальной” политике. Но и в том, и в другом случае речь шла о внедрении в

политическую сферу эстетических категорий или “высоких” моральных норм [см. Lübke 1963: 173-238; Vondung 1976a]. В интеллигентском сознании, охотно принимавшем желаемое за действительное, эта метаполитическая утопия нередко заслоняла собой политическую реальность, а раздравшие общество противоречия замещались фикцией долгожданного немецкого единства [см. Bussche 2000: 152-153]. Именно этими иллюзиями объясняется тот восторг, с которым цвет немецкой культуры приветствовал начавшуюся в 1914 г. мировую войну. Вдохновить на прославление “немецкой войны” таких мыслителей, как В.Зомбарт, М.Шелер, Г.Зиммель или Т.Манн, могли лишь мессианские представления о сплоченной в народную общность Германии, спасающей мировую культуру от натиска “бездуховной” цивилизации Запада. В военной публицистике этих авторов (как, впрочем, и их русских собратьев по перу) звучали мотивы, которые были сродни убеждению Достоевского в “полезности” войны, предпринимаемой “для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльного интереса, не для жалкого захвата, не из гордого насилия” [Достоевский 1983: 102-103]. Высказывая схожие суждения еще до начала войны, Мёллер прямо указывал на “духовный империализм” Достоевского как на образец, достойный восхищения и подражания. В призыве русского писателя “расширить сферу господства своего государства” немецкий националист видел империализм “в одно и то же время консервативный и мессианский, вытекающий из русского предназначения, из предания, которое переносится из прошлого в будущее” [Moeller 1933a: 49]. Правда, по мере обострения отношений между Германией и Россией империализм самого Мёллера постепенно утрачивал свои “духовные” компоненты и с началом войны вылился в “самую чистую версию немецкой социал-империалистической теории” [Neumann 1993: 243]. Одним из ее постулатов стало утверждение Мёллера, что “Россия слишком велика для России”, в то время как “Германия слишком мала для Европы” [Moeller 1933b: 156].

Так давнишняя вера в духовное спасение, которое придет к немцам с Востока, обернувшись призывом двинуться туда самим [см., напр. Moeller 1933a: 137]. Случайно или нет, но этот призыв “принять участие в Востоке” напоминал своим мессианским звучанием мечту Достоевского о “русском” решении “восточного вопроса” [Достоевский 1981: 44-50; 1983: 65-74]. Весьма туманно описывая предстоящую немцам смычку с Востоком, Мёллер настаивал, что только осуществив ее, они “получат часть в будущем” и возможность исполнить свое историческое предназначение [Moeller 1933b: 154-155].

Вопреки все более очевидной перспективе разгрома Германии, Мёллер лелеял мечту о ее послевоенной гегемонии в Европе. Этой теме была посвящена изданная им уже после капитуляции и при поддержке германского МИД книга “Право молодых народов”, способная соперничать по претенциозности замысла с “Декретом о мире” В.И.Ленина и “14 пунктами” В.Вильсона. В основу этой работы Мёллер положил все тот же миф о “молодых” народах, в противоборстве которых со “старыми” нациями Европы он видел неумолимый закон природы и истории, всегда остававшейся для него “природным процессом”. С этой точки зрения разгром Германии казался ему несправедливостью всемирно-исторического масштаба, поскольку поверженной оказалась сила, которая объективно “более других нуждалась в победе”. Главным источником этой несправедливости он считал неравномерное распределение территорий между способными к быстрому росту “молодыми” и утратившими такую способность “старыми” народами [Moeller 1919: 10, 99, 101, 113]. Именно с этим обстоятельством Мёллер связывал “право молодых народов”, которое в конечном счете означало “право” на дополнительное жизненное пространство.

ЗАСТРЕЛЬЩИК “КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ”

Понятие “консервативная революция” обычно относят к совокупности антидемократических и националистических течений в Веймарской Германии, располагавшихся между консерватизмом традиционного толка и национал-со-

циализмом [см. Mohler 1950]. Авторы первых фундаментальных исследований данного феномена видели его основное содержание во всеобъемлющем идеологическом наступлении на модерн и весь комплекс идей и учреждений, в котором воплощена либеральная, западная, индустриальная цивилизация [см., напр. Stern 1963: 7, 349; Rudolph 1971: 269; Hecker 1974: 193]. Однако в 1980-е годы представления о собственно “консервативном” характере “революционно-консервативного” движения были серьезно поколеблены [см. Kondylis 1986: 478]. С тех пор исследователи высказали немало сомнений относительно антимодернистской направленности “консервативной революции” и, более того, самого существования данного феномена. Но примечательно, что даже самые решительные сторонники подобного подхода не могут обойтись в своих описаниях веймарского политического ландшафта без объявленного ими же “фантомом” понятия “консервативная революция” [Breuer 1993: 4-5; Siefertle 1995: 43, 221; Eichberg 1996; Bussche 2000: 18-19]. Так или иначе с ним обычно связываются явления немецкого национализма, антикапитализма и антилиберализма, а также попытки противопоставить влиянию западной цивилизации немецкую культурную традицию и идеологию “национального социализма” [см., напр. Geistenberger 1969: 48-60; Laquer 1976: 134-135; Jaschke 1994: 200-203; Kondylis 1986: 473-475; Lenk 1989: 111-112].

В первой половине 1919 г. одним из самых элитарных и влиятельных дискуссионных клубов Германии стал сложившийся вокруг Мёллера “Июньский клуб” в Берлине. Наличие собственного журнала “Гевиссен” (“Совесть”), сети смежных организаций и персональных связей по всей стране позволяло ему распространять свои идеи не только в столице, но и далеко за ее пределами. Участники возникшего таким образом движения называли его “Ринг” (“Круг”), а себя — “младоконсерваторами”. Вскоре “младоконсерватизм” превратился в одно из основных течений развернувшейся в Германии “консервативной революции”, а Мёллер — в одну из ее центральных фигур [см. Sontheimer 1962; Gerstenberger 1969; Kaltenbrunner 1969; Petzold 1978].

Как публицист, чьи тексты претендовали на изысканность мысли и стиля, Мёллер пользовался успехом прежде всего у той части националистически настроенной публики, которой претила топорная пропаганда нацистов. В этих, преимущественно интеллигентских кругах он был автором столь же популярным, как Э.Юнгер в среде “фронтowej молодежи” [см. Reichel 1993: 72]. О способности Мёллера влиять на умы просвещенных соотечественников свидетельствует та легкость, с которой его идеи подхватывались другими властями немецких дум. В число постоянных читателей и собеседников Мёллера входил в первые послевоенные годы плененный его “превосходными” статьями Т.Манн, хвалебные отзывы о его публицистике оставили А.Вебер и В.Зомбарт. Ведущие члены Июньского клуба впоследствии признавали, что Мёллер был душой всех их начинаний и только его безусловный авторитет удерживал организацию от распада [Boehm 1932: 693-697; Boehm 1933: 19; Hermann 1933; Fechter 1934: 31]. В их кругу он почитался как *spiritus rector* и “тайный король”, вдохновлявший своими мыслями о сугубо национальной природе “истинного” социализма и необходимости соединения консервативных и революционных сил. Не случайно в дискуссии 1923 г. с К.Радеком о возможном сплочении коммунистов и националистов для совместного отпора Антанте именно Мёллер выступил от лица всего “правого” лагеря Германии [Moeller 1923a; Moeller 1923b; Moeller 1923c].

Наряду с Т.Манном и Г. фон Гофманшталем Мёллер вправе претендовать на пальму первенства в вопросе о внедрении самого понятия “консервативная революция” в немецкий политический лексикон. Именно он сделал доступным для немецкой публики отзыв Достоевского о себе и своих единомышленниках как о “революционерах от консерватизма” [см. Достоевский 1981: 43-44]. В собственный текст эту формулу русского писателя, сочетавшую, казалось бы, несовместимые понятия консерватизма и революции, Мёллер впервые ввел в 1919 г., в предисловии к роману “Бесы”. Здесь же он пояснял, что

речь идет о “защитниках исконно русского, борцах за специфически русскую натуру, к которой европейские воззрения на государство вместе с либерализмом, парламентаризмом и буржуазностью подходят так же мало, как европейский костюм” [Moeller 1933a: 58]. Впоследствии, пытаясь выразить то главное, что он почерпнул из творчества Достоевского, Мёллер записал: “Достоевский был в одно и то же время революционером и консерватором” [Moeller 1933a: 180]. Но позаимствованную у Достоевского формулу Мёллер не относил исключительно к российским реалиям. Еще в разгар мировой войны он называл русского классика “поэтом нашей эпохи”, который раскрыл в своих произведениях “философию современного человека, а значит и истоки нынешних потрясений”. “Политические проблемы, которыми занимался Достоевский, — отмечал Мёллер, — были прежде всего русскими проблемами... Но эти поистине великие и по-своему вечные проблемы консерватизма и коммунизма, клерикализма, социализма и либерализма были вписаны Достоевским в контекст того времени, в котором мы живем и в котором мы бьемся над их разрешением” [Moeller 1933a: 43, 44].

Тот факт, что путь Мёллера в политику пролегал через русскую литературу, несколько не умаляет немецкого происхождения провозглашенной им “консервативной революции”. С одной стороны, она вырастала из богатейшей духовной традиции Германии начиная со средневековой мистики и кончая культуркритикой XX в., с другой — вбирала в себя настроения того поколения немцев, которому пришлось пережить патриотический подъем 1914 г., горечь поражения, позор Версаля и тяготы послевоенной модернизации. И все же картина зарождения и развития немецкой “консервативной революции” без учета ее “русских истоков” будет неполной. Эти истоки крылись не столько в личных литературных вкусах ее глашатая, сколько в самой духовной атмосфере Германии, пережившей в начале прошлого века мощную культурную экспансию России и ощутившей на себе не менее мощное воздействие российских революций.

РУССКИЕ АНТИНОМИИ: КОНСЕРВАТИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ

Примечательно, что сами понятия “революция” и “консерватизм” будущий идеолог немецкой “консервативной революции” начал употреблять именно в тех текстах, которые были посвящены России. Уже в 1905 г., выражая свое восхищение славянской “расой”, Мёллер называл “консерватизм” в ряду исконных и наиболее симпатичных ему свойств славянства [Moeller 1933a: 11]. При этом он имел в виду не политические предпочтения славян, но особые черты мирной, созерцательной и, как он выражался, “концентрированной” славянской души. Такая оценка, относившаяся прежде всего к русскому народу, могла показаться не слишком удачной, поскольку прозвучала она одновременно с раскатами первой русской революции. И все же эксцессы 1905 — 1906 гг., как и последующие политические события в России, не отвратили Мёллера от мысли о “врожденном” русском консерватизме. Он упорно высказывал ее даже после большевистского переворота, когда в самой Германии казались близкими к исполнению призывы немецких “левых” “сделать как в России”.

Вера Мёллера в незыблемость духовных устоев русского народа кажется на первый взгляд сродни тем идиллическим представлениям о “Святой Руси”, которые были присущи в начале XX в. определенной части не только российской, но и немецкой интеллигенции. Но восприятие Мёллером России было более сложным, а потому и более адекватным, чем у многих его современников. Немецкий русофил отнюдь не был склонен закрывать глаза на обилие изъянов в русской жизни и на то зло, каким ему представлялась традиция нигилизма и революционного движения в России. Уже комментарии к первым томам Достоевского свидетельствуют, что интерес Мёллера к наследию русского классика не в последнюю очередь был вызван именно революционными событиями в России. У Достоевского он искал объяснения причин революции и одновременно — рецептов ее предотвращения, а точнее — способа

обратить ее разрушительные последствия во благо. “Нечистая” доктрина нигилизма представлялась ему противной “природной сути” русского народа, а сами нигилисты рисовались преступниками, убивавшими ради своих целей не только других людей, но и саму Россию [Moeller 1933a: 46, 58, 62].

Осознавая противоречивость нарисованного им русского образа, Мёллер не упускал случая обозначить эту двойственность как можно более выпукло. В таком подходе просматривается приверженность заложенной романтиками и развитой Ницше традиции “примирения крайностей”. Мысли Ницше о сочетании противоположностей как о залоге духовного богатства человека Мёллер не раз обращал сначала на культурную, а затем и на политическую жизнь целых народов. У Ницше противоположности выступали как комплиментарные друг другу и идентичные в своей сущности начала, связь которых исключала отрицание одного другим и снятие обоих в синтезе [см. Schmitt 1998]. Точно так же и в текстах Мёллера — будь то культурно-исторические построения или заметки о текущей политике — на место отрицания и синтеза обычно заступала трансформация, подразумевавшая сохранение противоположных полюсов.

Сознанию, тяготеющему к такому восприятию мира, было трудно найти более яркий пример органического сочетания крайностей, чем русская культура и русский национальный характер. Не случайно к началу XX в. описания антиномий русской жизни и русской “души” превратились в излюбленный способ повествования о России для многих отечественных и зарубежных авторов. Дань этой традиции отдал и Мёллер. Воспринимая Россию как страну, сотканную из противоречий и призванную к их примирению, он пополнил дихотомический ряд, с которым обычно ассоциируется “загадка” России, еще одной оппозицией: революционность и консерватизм. Мысль о сочетании “революционного” и “консервативного” начал в русском национальном характере он иллюстрировал множеством примеров, указывая в т.ч. и на самого Достоевского [Moeller 1933a: 51, 62, 69]. Писатель был для Мёллера ярчайшим образцом противоречивой и в то же время цельной русской натуры, не изменившей себе ни в годы своего членства в революционной организации, ни в последний период жизни, посвященный борьбе против революционного “беснования”. [Moeller 1933a: 56]. Соединив в своей судьбе, своем творчестве и мировоззрении “консерватизм” и революцию, Достоевский преподавал немецкому националисту, пожалуй, самый важный для него политический урок: он “показал, как могут быть преодолены противоречия” [Moeller 1933a: 180].

Однако слиться в одно непротиворечивое целое для Мёллера могли не всякий консерватизм и не всякая революция. Он явно различал два типа русской революционности: революционеров, “исходящих из доктрины”, действующих ради утверждения собственного “я”, и революционеров, “которые исходят из инстинкта” и жертвуют своим “я”. Первый, ненавидимый им тип, был связан в его представлении с западничеством, стремящимся привить России чуждые ей европейские формы в их крайнем проявлении. Второй тип, вызывавший симпатии Мёллера, казался ему порождением стихийной силы русского народа и самой природы России, шансом на ее освобождение от европеизма и возвращение к народным “истокам” [Moeller 1933a: 59, 69]. Как нам представляется, в этих размышлениях Мёллера получил развитие “первоначальный парадокс” Достоевского, верившего, что “русские социалисты и коммунары — прежде всего не европейцы и кончат-таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется недоумение и когда они выучатся России” [Достоевский 1981: 43].

Мёллер с самого начала понимал, что ситуация в России чревата как буржуазно-демократической революцией европейского образца, так и гораздо более глубокими катаклизмами. И до, и после большевистского переворота он считал единственным спасительным исходом для России тот вариант революции, с коим связывал слова Достоевского о грядущем рождении самостоятель-

ной “русской идеи”, которой земля России “чревата ужасно” и которую она уже “в страшных муках готовится родить”. Поясняя мысль писателя, Мёллер подчеркивал: “Но и не склонный сохранять сущее народ будет в своей основе столь же нерушим, сколь он способен хранить приверженность своему еще неявному предназначению” [Moeller 1933a: 55].

Вызревшая в “русских текстах” Мёллера мысль о революции, в которой рождается самостоятельная национальная идея и сохраняется приверженность народа своему предназначению, и была, собственно, идеей “консервативной революции”. В том, что касалось ее практической реализации, застрельщик немецкого “революционного консерватизма” также признавал приоритет России, отмечая, что со времен раскола во всех русских революциях так или иначе повторяется связь не только “апокалиптики и нигилизма, но и консерватизма”. “Россия всегда была революционна, — пояснял он, — но издавна русской чертой было: революционер не тот, кто вводит новое, а тот, кто хочет сохранить старое” [Moeller 1933a: 51, 182]. Естественно, что, придерживаясь такого взгляда, Мёллер не мог признать идентичность России победившему в ней вместе с большевизмом западничеству. Однако с самого начала он угадывал в большевизме его националистический потенциал и считал большевистскую звезду таким же символом русского национализма, каким раньше являлся царский орел [см., напр. Moeller 1933b: 153-159]. Для немецкого знатока “русской души” не подлежало сомнению, что в лице Советской России Запада угрожает самоуничтожение “западными” же средствами. Уже в 1920 г. он упрекал немецких революционеров за неспособность понять то, что “из года в год, по мере развития своей революции все больше понимают русские: революция в нашу эпоху может быть только революцией против Запада” [Moeller 1920]. Заявляя о необходимости продолжить начатую в ноябре 1918 г. немецкую революцию, осмыслив ее “не внутривосточнически, но внешнеполитически” и превратив из “социальной” в “национальную”, Мёллер ставил в пример немецким социалистам то упорство, с которым вели борьбу против Антанты российские большевики [Moeller 1931: 32; Moeller 1933a: 187-190].

Но подобно тому, как не всякая революция могла в представлении Мёллера соединиться с консерватизмом, так и не всякий консерватизм был способен на синтез с революцией. Уже в своих размышлениях о России он описывал два типа консервативного поведения. Если первый заключался для него в попытках сохранить преходящее и отжившее (включая самодержавный строй), то второй означал верность “вечным данностям России”. Безусловно отдавая предпочтение второму из этих типов, Мёллер видел в нем если не синоним национализма, то его производное. Такой консерватизм предполагал бескомпромиссную борьбу против либерализма и его детища — революционного нигилизма — ради спасения “народной сущности” и души русского человека [Moeller 1933a: 48]. Именно эта разновидность консерватизма стала для Мёллера одним из главных элементов доктрины “консервативной революции”.

Усвоенное из русского опыта противопоставление двух разновидностей консерватизма он перенес впоследствии на политические реалии послевоенной Германии. Называя себя “младоконсерваторами”, Мёллер и его соратники оспаривали устоявшееся представление о том, что консерватизм призван служить сохранению действительного порядка вещей. Исполнение этой миссии они представляли вильгельминистам — “реакционерам”, которых презирали и в конфронтации с которыми утверждали свою политическую идентичность. Быть истинным консерватором означало, по определению Мёллера, хранить не все наличные ценности, но только те, “которые достойны сохранения”, т.е. служат основой для обеспечения жизнедеятельности немецкого народа и его грядущего сплочения в единую общность [Moeller 1935: 303]. Такой “революционный” консерватизм, выступавший от имени всей нации, должен был — теперь уже не в России, а в Германии — противостоять как либерализму, творящему “неистинные” ценности западной цивилизации, так и марксизму, грозящему разрушить то, что еще оставалось от “истинных”, народных ценностей.

ОТ “ЦАРСТВА ТРЕТЬЕГО ЗАВЕТА” К “ТРЕТЬЕМУ РЕЙХУ”

По мере развития Мёллером “революционно-консервативной” темы все больше проявлялся еще один русский источник его вдохновения. Обозначенные Мёллером контуры немецкой “консервативной революции” приметно совпадают с очертаниями той теократической утопии, которую разрабатывал сотрудничавший с ним в издании Достоевского Д.С.Мережковский. Сам факт их сотрудничества свидетельствует о том, что корифей “русской идеи” и застрельщик немецкой “консервативной революции” были во многом солидарны в своем подходе к творчеству писателя. О том же говорит и созвучие вводных статей Мёллера и Мережковского к томам сочинений русского классика. Но при этом в целом ряде случаев прослеживается зависимость взглядов Мёллера от более ранних работ его старшего партнера. В определенном смысле Мережковский мог бы претендовать на соавторство с Мёллером в выработке немецкого мифа о “русской душе” и немецкой идеи “консервативной революции”.

Уже самым интересом к творчеству Достоевского Мёллер в немалой степени был обязан книге Мережковского “Лев Толстой и Достоевский”, изданной в Германии в 1903 г. [Mereschkowski 1903; ср. Moeller 1904]. Но особенно сильное воздействие на интерпретацию Мёллером идей великого русского писателя оказала опубликованная в 1906 г. статья Мережковского “Пророк русской революции”. Вскоре она была перепечатана в качестве введения к совместно изданному ими тому материалов из “Дневника писателя” [см. Mereschkowski 1907]. В этой статье Мережковский с присущей ему смелостью брался расшифровать “истинный смысл” послания Достоевского, скрытый, как он полагал, даже от самого автора, который, сам того не сознавая, указал “истинный путь”, означавший “религиозную революцию, предельную и окончательную”. Мережковский верил, что за разрушительным “социальным фазисом” начавшейся в России революции последует фазис созидательный и “религиозный”. С этой якобы предсказанной Достоевским и надвигающейся на Россию религиозной революцией он связывал надежды на полное преобразование “общества христианского” в “единую вселенскую и владывствующую церковь” [Мережковский 1991: 342-343, 349].

Мысль Мережковского о “последней сущности” общественных взглядов Достоевского была в 1919 г. воспроизведена Мёллером в его введении к “Бесам”. “Итак, великая русская революция до сих пор подтверждала Достоевского, — писал Мёллер. — За ее первым отрезком стоял Толстой. Она пришла из Просвещения. И означала избавление. Но в тот момент, когда определится, что она несет не только распад, и за ужасным разрушением последует восстановление, — тогда за ее вторым отрезком встанет Достоевский. И это будет означать обязующее единение, но не в европейской, а в русской форме” [Moeller 1933a: 59]. Идею о двух фазах революционного развития, одна из которых будет разрушительной, а другая — созидательной, Мёллер еще не раз повторит в своих работах, когда поведет речь о “немецкой революции”. Он будет писать о ней как о движении, которое не сможет успокоиться, пока “разбуженные ею силы вновь не придут к связующему результату”. Этот второй этап революции, заключающийся в тотальном преобразении сначала немецкого сознания, а затем и окружающего мира, получит у Мёллера название “консервативного”. Он тоже должен будет принести желанное “единение”, но уже не в “европейской” или “русской”, а в чисто “немецкой” форме “третьего рейха” [Moeller 1920; Moeller 1931: 15-31, 222-3].

В своей книге о “Третьем рейхе” Мёллер “национализировал” не только почерпнутую им у Достоевского идею сочетания консерватизма и революции и не только пророчество о второй, “созидательной” фазе революционного развития, которую Мережковский называл “религиозной”. Сюда же, предварительно “онемечив”, он перенес и “договоренную” Мережковским до конца мысль Достоевского о русском стремлении к “примирению мировых противоречий”. Но если Мережковский полагал соединение “обоих краев бездны” — Руси и Европы, Востока и Запада, Духа и Плоти — “тайной” будущей русской

культуры, то Мёллер схожим образом определял задачу грядущего немецкого “рейха”. “Мы должны иметь мужество жить среди противоположностей”, — этот призыв, обращенный к немцам и повторяемый как заклинание, проходит через весь текст книги Мёллера о “третьем рейхе”. Высказанную ранее идею о соединении противоположных начал консерватизма и революции в единое непротиворечивое целое он перенес на все несогласные элементы, которые образуют Германию. Противоречия же между ними автор находил всюду: в отношениях между государством и обществом, между различными немецкими “племенами” и землями, между конфессиями, сословиями, классами и партиями [см. Moeller 1935: 300, 311-312]. Сохранение такого состояния Мёллер считал недопустимым и угрожающим самой жизни немецкого народа. По его мнению, предотвратить эту угрозу должен был прежде всего синтез национализма и социализма, который уже начался в ходе “консервативной революции”, с тем чтобы завершиться в венчающем ее “третьем рейхе”.

Адресованный соотечественникам призыв Мёллера “соединять противоположности” был, конечно же, продиктован немецкими обстоятельствами и соответствовал тем настроениям, которыми жила послевоенная Германия. Но в этом сугубо немецком послании различимы и “русские мотивы”. Ведь писатель, неизменно выступавший для Мёллера образцом, когда-то настойчиво призывал русскую интеллигенцию преодолеть ее “раздор” с народом. “Я прямо провозглашаю, — заявлял он, — уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом... Решительно повторяю, что даже радикальные несогласия наши в сущности один мираж” [Достоевский 1983: 17]. На первый взгляд, эта мысль Достоевского лишь отдаленно напоминает мечту Мёллера о примирении немецких католиков и протестантов, швабов и пруссаков. Но смысл по-разному выраженных Достоевским и Мёллером призывов к “примирению” был один и тот же. Более того — сходна последовательность обрамлявших эти призывы мыслей о путях и целях будущего примирения. Так, центральный “пункт примирения” в России означал, по Достоевскому: прекратить до времени все раздоры и “стать поскорее русскими и национальными” [Достоевский 1983: 20]. Очень схоже формулирует этот пункт и Мёллер: “Все немцы — несмотря на границы и таможни — являются сегодня так или иначе великонемцами... Нам понадобятся силы для того, чтобы быть здесь пруссаками, а там — австрийцами, баварцами, швабами, франками, саксонцами, фризами, оставаясь, тем не менее, друг для друга прежде всего немцами” [Moeller 1935: 312].

Конечным смыслом и целью русского “примирения” для Достоевского было “исполнение национальной идеи русской”, мечта о том, что “Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что именно это слово будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации...” [Достоевский 1983: 20]. Ключевые пассажи из “Третьего рейха”, посвященные миссии будущего немецкого государства, совпадают со словами Достоевского уже не только по общему смыслу: “Величие народа заключено в том, чтобы быть еще чем-то сверх того, что он являет собой, и сообщить о себе нечто: обладать еще чем-то, что он может сообщить... Жить не только для себя, но для всех народов... в отличие от малых народов, способных думать только о собственном ‘я’” [Moeller 1935: 315].

“Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной”, — писал Достоевский [Достоевский 1983: 17]. Перелагая на немецкий лад эту мысль о великой миссии русского народа, Мёллер рассматривал предназначение немцев не во “вселенском”, но в более скромном “центральноевропейском” масштабе. Речь для него шла не о религиозном

единении человечества, а о политическом сплочении под эгидой Германии соседних с ней народов. Но именно потому, что его идеи носили более приземленный характер, в них намного четче проявляется связь между исполнением народом своей водительской роли и самой возможностью его физического выживания. Утверждая, что “немецкий национализм является своеобразным выражением немецкого универсализма”, Мёллер в то же время подчеркивал необходимость для Германии перестать “лакействовать” перед Европой, ни в коем случае “не рассеиваться во всеобщем” и утверждать себя как сильную нацию, которую “все боятся”. Только в этом случае, считал он, немцы будут обладать чем-то, что “смогут сообщить другим народам” [Moeller 1935: 316].

“Онемечивая” идеи Достоевского (и данную им Мережковским интерпретацию), Мёллер “секуляризировал” их смысл, а заодно и словарь русских мыслителей. Так, проповедь “христианского социализма” оборачивалась у него доктриной “национального социализма”, мечта о “религиозной революции” — призывом к “консервативной революции”, а пророчество о “Царстве Третьего Завета” — утопией “третьего рейха”. Переноса эти идеи из религиозно-мистической сферы в конкретную политическую плоскость, немецкий националист обнажал в них то, что считал наиболее актуальным, и таким образом предельно четко сформулировал для себя и своих читателей конечный смысл послания Достоевского о русском “народе-богоносце”: “Центр мира там, где живет народ, осознающий себя этим центром” [Moeller 1933a: 180].

В книге о “Третьем рейхе” Мёллер описывал совершенное немецкое государство, которое, собственно, и должно было явиться итогом “консервативной революции”. Правда, было бы тщетно искать в этом программном сочинении конкретные указания насчет хозяйственной и политической системы будущего немецкого “рейха”. Мёллер стремился прежде всего представить антитезу современному Западу со всеми его ненавистными атрибутами, и потому созданная им утопия была в равной степени эстетическим и политическим идеалом. Сродни этому миру был и обитатель “третьего рейха” — совершенный немец будущего, которого Мёллер называл “консервативным человеком”. В его образе нетрудно узнать ницшеанского сверхчеловека, вздумай тот отказаться от своих претензий на универсализм и обрести национальную идентичность.

В сознании Мёллера сплетались в одно целое не только культурный проект и политическая утопия, но и эсхатологические ожидания. Подобно религиозному, это сознание жаждало сперва радикального преобразования человека, а затем — и окружающей действительности. Рисовавшийся ему “третий рейх” должен был стать в одно и то же время политическим обрамлением и обителью народа, царством всеобщей гармонии и храмом обожествленной нации.

Образ “третьего рейха” вместил многое из того, о чем его создатель писал в предшествующие годы как художник. Став политическим публицистом он, подобно платоновскому герою, пожелал воплотить в жизнь гармонию, которая открылась ему в сфере литературно-художественного творчества. Его метаполитическая утопия явилась, как сказал бы К.Поппер, “интеллектуальной интуицией мира чистой красоты”. Однако взгляд, в соответствии с которым общество должно быть столь же прекрасным, как и произведение искусства, неизбежно вел к “эстетическому отказу от компромисса” и политическому радикализму.

* * *

Незадолго до своей смерти автор “Третьего рейха” задавался вопросом, не приведет ли попытка осуществить его утопию к самоубийству “слишком склонного к самообманам” немецкого народа [Moeller 1935: 7]. Таким образом, Мёллер предвосхитил нынешние споры о его собственной ответственности за роковое для Германии развитие событий. Думается, оценка его “революционно-консервативного” творчества должна учитывать не только связь (часто условную и внешнюю) политической практики нацистов с мёллеровскими идеями немецкого избранничества, “национального социализма” и “третьего рейха”. Следует иметь в виду и то, что эти идеи стали искушением

для многочисленных представителей немецкой интеллигенции, не принявших реалии веймарской демократии и мечтавших о воплощении в политику возвышенных литературных грез. Политизация же духовной культуры и эстетизация политического сознания оказались губительны как для немецкой культуры, так и для политики [см., напр. Stern 1963: 223; Rudolph 1971; Laquer 1976: 104-138; Kondylis 1986: 481]. Не без участия Мёллера и его соратников по "консервативной революции" этот процесс обернулся торжеством фантастических идей национальной гармонии и национального превосходства. В конечном счете иррационализм, привнесенный в политику "консервативной революцией", парализовал те силы, которые могли оказать сопротивление нацизму и предотвратить самоубийственный для Германии выбор.

Не исключено, что своей интерпретацией Достоевского Мёллер раскрыл некий взрывоопасный потенциал, который содержало послание о "народе-богослове". Об опасности такого прочтения Достоевского предупреждал не кто иной, как Д.С.Мережковский. В своей статье о "пророке" русской революции он указывал на заключенный в идеях Достоевского "соблазн", поясняя, что проложенный им "единственный путь ко Христу Грядущему — ближе всех путей к Антихристу", и подчеркивая опасность спутать то Царство Третьего Завета, о котором якобы пророчествовал Достоевский, с идеей обожествленного государства. От имени русских учеников Достоевского, познавших всю силу этого соблазна и, как он полагал, "одолевших" его, Мережковский считал своим долгом предостеречь тех, кто следует за ним по тому же пути [см. Мережковский 1991: 311]. К сожалению, это предупреждение не было услышано в Германии. Впрочем, личный опыт самого патриарха "русской идеи", благословившего в конце жизни агрессию Гитлера против своей родины, тоже посвоему поучителен. Он служит лучшим предостережением от поспешных и самонадеянных заявлений об "одолении Антихристового соблазна" на путях поиска национальной идеи.

- Бессонов Б.Н. 1985. *Фашизм: идеология, политика*. М.
 Бланк А.С. 1974. *Идеология германского фашизма. Материалы к спецкурсу для студентов исторических факультетов*. Часть III. Вологда.
 Галкин А.А. 1967. *Германский фашизм*. М.
 Достоевский Ф.М. 1981. *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Т. 23. *Дневник писателя: 1876 г. (май-октябрь)*. Л.
 Достоевский Ф.М. 1983. *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Т. 25. *Дневник писателя: 1877 г. (январь-август)*. Л.
 Достоевский Ф.М. 1984. *Полное собрание сочинений в тридцати томах*. Т. 26. *Дневник писателя: 1877 г. (сентябрь-декабрь), 1880 г. (август)*. Л.
 Дугин А. 1992. Консервативная революция. Краткая история идеологий третьего пути. — *Элементы. Евразийское обозрение*, № 1.
 Дугин А. 1994. *Консервативная революция (типология политических движений Третьего пути)*. М.
 Дугин А. 2001. Евразия превыше всего. Манифест евразийского движения. — *Завтра*, № 5.
 Мережковский Д.С. 1991. Пророк русской революции (К юбилею Достоевского). — Мережковский Д.С. *В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет*. М.
 Рахмиров П.Ю. 1973. Проблема взаимосвязи нацизма и "революционного консерватизма" в буржуазной историографии. — *Ежегодник германской истории*. 1972. М.
 Boehm M.H. 1932. Moeller van den Bruck im Kreise seiner politischen Freunde. — *Deutsches Volkstum. Monatsschrift für das deutsche Geistesleben*, XXXIV.
 Breuer St. 1993. *Anatomie der konservativen Revolution*. Darmstadt.
 Bussche R. 2000. *Konservatismus in der Weimarer Republik. Die Politisierung des Unpolitischen*. Heidelberg.
 Dostojewski F.M. 1906 — 1919. *Sämtliche Werke*. (Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkovski, Dmitri Philosophoff und Anderen herausgegeben von A. Moeller van den Bruck). Bd. 1-22. München, Leipzig.
 Dostojewski F.M. 1907. *Sämtliche Werke*. (Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkovski, Dmitri Philosophoff und Anderen herausgegeben von A. Moeller van den Bruck). Bd. 13. Politische Schriften. München, Leipzig.
 Eichberg H. 1996. Der Unsinn der "Konservativen Revolution". Über Ideengeschichte, Nationalismus und Habitus. — *Wir selbst*, № 1.

- Fechter P. 1934. *Moeller van den Bruck. Ein Politisches Schicksal*. Berlin.
 Garstka Chr. 1998. *Arthur Moeller van den Bruck und die erste deutsche Gesamtausgabe der Werke Dostojewskijs im Piper-Verlag 1906 — 1919*. Frankfurt a.M.
 Geistenberger H. 1969. *Der revolutionäre Konservatismus. Ein Beitrag zur Analyse des Liberalismus*. Berlin.
 Goedel D. 1984. *Moeller van den Bruck und nationaliste contre le revolution*. Frankfurt a.M.
 Hecker H. 1974. *Die Tat und ihr Osteuropa-Bild 1909 — 1939*. Köln.
 Hermann W. 1933. Moeller van den Bruck. Schicksal und Anteil. — *Die Tat*. 25. Jg., H. 4. Juli.
 Hielscher K. 1998. Dostojewskijs antiwestliche Zivilisationskritik. — Neuhäuser, R. (Hrsg.) *Polyfunktion und Metaparodie. Aufsätze zum 175. Geburtstag von Fedor Michajlovic Dostojewskij*. Dresden.
 Jaschke H.-G. 1994. Nationalismus und Ethnopluralismus. Zum Wiederaufleben von Ideen der "Konservativen Revolution". — *Jahrbuch zur Konservativen Revolution*. 1994. Köln.
 Kaltenbrunner G.-K. 1969. Von Dostojewski zum Dritten Reich. Arthur Moeller van den Bruck und die "Konservative Revolution". — *Politische Studien. Zweimonatsschrift für Zeitgeschichte und Politik*, Heft 184, März/April.
 Klönne A. 1996. *Kein Spuk von gestern oder: Rechtsextremismus und "Konservative Revolution"*. Münster.
 Koenen G. 1998b. Bilder mythischer Meister. Zur Aufnahme der russischen Literatur in Deutschland nach Weltkrieg und Revolution. — Kopelew L. (Hrsg.) *West-östliche Spiegelungen. Russen und Rußland aus deutscher Sicht*. Reihe A. Band 5. *Deutschland und die Russische Revolution*. 1917 — 1924. München.
 Kondylis P. 1986. *Konservatismus. Geschichtlicher Gehalt und Untergang*. Stuttgart.
 Kroll F.-L. 2000. *Konservative Revolution und Nationalsozialismus. Aspekte und Perspektive ihrer Erforschung*. — Schenk-Notzing C. (Hrsg.) *Stand und Probleme der Erforschung des Konservatismus*. Berlin.
 Laquer W. 1976. *Weimar. Die Kultur der Republik*. Frankfurt a.M.
 Lenk K. 1989. *Deutscher Konservatismus*. Frankfurt a.M.
 Lübke H. 1963. *Politische Philosophie in Deutschland. Studien zu ihrer Geschichte*. Basel.
 Mereschkovski D. 1903. *Tolstoi und Dostojewski als Menschen und als Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens*. Leipzig.
 Mereschkovski D. 1907. Zur Einführung. Bemerkungen über Dostojewski. — Dostojewski F.M. *Sämtliche Werke*. (Unter Mitarbeiterschaft von Dmitri Mereschkovski, Dmitri Philosophoff und Anderen herausgegeben von A. Moeller van den Bruck). Bd. 13. Politische Schriften. München und Leipzig.
 Moeller A. 1902. *Die moderne Literatur in Gruppen — und Einzeldarstellungen*. Ausgabe in einem Band. Berlin, Leipzig.
 Moeller A. 1904. Tolstoi, Dostojewski und Mereschkovski. — *Das Magazin für Literatur*.
 Moeller A. 1909. *Nationalismus für Deutschland*. Berlin.
 Moeller A. 1904 — 1910. *Die Deutschen. Unsere Menschengeschichte*. Bd. 1-8. Minden.
 Moeller A. 1911. *Erziehung zur Nation*. Berlin.
 Moeller A. 1913. *Die italienische Schönheit*. München.
 Moeller A. 1916. *Der preussische Stil*. München.
 Moeller A. 1919. *Das Recht der jungen Völker*. München.
 Moeller A. 1920. Wir wollen die Revolution gewinnen. — *Gewissen*, II, 31, März.
 Moeller A. 1923a. Der Wanderer ins Nichts. — *Gewissen*, V, 2, Juli.
 Moeller A. 1923b. Der dritte Standpunkt. — *Gewissen*, V, 16, Juli.
 Moeller A. 1923c. Wirklichkeit. — *Gewissen*, V, 30, Juli.
 Moeller A. 1923d. *Das dritte Reich*. Berlin.
 Moeller A. 1931. *Das dritte Reich*. Hamburg.
 Moeller A. 1935. *Das dritte Reich*. Hamburg.
 Moeller A. 1933a. *Rechenschaft über Rußland*. Berlin.
 Moeller A. 1933b. *Der politische Mensch*. Breslau.
 Mohler A. 1950. *Die konservative Revolution in Deutschland 1918 — 1932. Grundriß ihrer Weltanschauungen*. Stuttgart.
 Neumann. Fr. 1993. *Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933 — 1944*. Frankfurt a. M.
 Pechel R. 1947. *Deutscher Widerstand*. Zürich.
 Petzold J. 1978. *Konservative Theoretiker des deutschen Faschismus. Jungkonservative Ideologen in der Weimarer Republik als geistige Wegbereiter der faschistischen Diktatur*. Berlin.
 Reichel P. 1993. *Der schöne Schein des Dritten Reiches. Faszination und Gewalt des Faschismus*. Frankfurt a.M.
 Rödel H. 1939. *Moeller van den Bruck. Standort und Wertung*. Berlin.
 Rudolph H. 1971. *Kulturkritik und konservative Revolution. Zum Kulturell-politischen Denken Hoffmannstahls und seinen problemgeschichtlichen Kontext*. Tübingen.
 Schmitt G. 1998. *Zyklus und Kompensation. Zur Denkfigur bei Nietzsche und Jung*. Frankfurt a.M.

Schwierskott H.-J. 1962. *Arthur Moeller van den Bruck und die Anfänge des Jungkonservatismus in der Weimarer Republik*. Göttingen.

Sieferle R.P. 1995. *Die Konservative Revolution. Fünf biographische Skizzen* (Paul Lensch, Werner Sombart, Oswald Spengler, Ernst Junger, Hans Freyer). Frankfurt a.M.

Sontheimer K. 1962. *Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik. Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933*. München.

Stern Fr. 1963. *Kulturpessimismus als politische Gefahr. Eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland*. Bern.

Vondung K. 1976a. *Geschichte als Weltgericht. Genesis und Degradation einer Symbolik*. — Kreuzer H. (Hrsg.) *Literatur für viele. 2 Studien zur Trivialliteratur und Massenkommunikation im 19. und 20. Jahrhundert*. Göttingen.

КАКАЯ ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИЛУЧШЕЙ ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕКА?

Р.Кирк

Рассел Кирк (Russel Kirk, 1918 — 1994) — видный американский консервативный деятель, культуролог, политолог, историк, публицист, литератор.

В 1951 г. Кирк опубликовал свою первую книгу “Рэндолф Роанокский: исследование консервативной мысли”, посвященную анализу политических воззрений американского государственного деятеля XIX в. Д.Рэндолфа из виргинского города Роанока. Затем в свет вышел самый известный его труд — “Консервативное мышление” (1953), где автор попытался определить, что такое консерватизм в широком культурологическом смысле, проследить его корни и историю “от Бёрка до Элиота”. Многократно переиздававшаяся, эта книга до сих пор остается наиболее авторитетной работой по данной теме.

Кирк видел в консерватизме защиту непреходящих норм человеческого бытия. “Сутью социального консерватизма” было, по его мнению, “сохранение древних моральных традиций человечества”. В аналогичном ракурсе он рассматривал консерватизм и в политической теории.

Важнейшим источником концепций Кирка стали воззрения крупнейшего английского политического деятеля, философа и публициста Эдмунда Бёрка (1729 — 1797). В Америке середины XX в. интерес к наследию этого критика идеологии Французской революции был весьма силен. Кирку оказалась особенно близка мысль Бёрка о государстве как о результате многовекового “органического” развития и созидательной деятельности, его представление о социальной жизни как о “контракте вечного общества”, объединяющем умерших, живущих и еще не рожденных. По словам известного американского исследователя Дж.Нэша, книга Кирка стала катализатором появления в США интеллектуального консервативного движения [см. Nash G. 1998. *The Conservative Intellectual Movement in America Since 1945*. Washington, p.61]. Кирк проследил историю англо-американский консервативной мысли, показал весомость ее интеллектуального наследия и вклад в развитие западной философии в целом. Он также оспорил представление о том, что Соединенные Штаты есть продукт либерализма эпохи Просвещения, обозначив консервативные истоки американской культуры и политической традиции. В дальнейшем Кирк рассматривал с этой точки зрения историю, политическую мысль и культуру США во многих своих работах, в частности, в книге “Консервативная конституция” (1990).

Кирк был серьезно озабочен кризисом современной западной культуры. Он видел истоки этого кризиса, помимо прочего, в забвении религии, будучи убежден, что религиозное сознание является первоосновой всякой культуры и его утрата неизбежно ведет к упадку, а в конечном итоге — и к гибели последней. Возможность возрождения западной культуры он связывал с возрождением принципов, ценностей и традиций христианского мира как реального международного сообщества.

Публикуемая ниже работа — лекция, прочитанная Р.Кирком в Университете Оклахомы 25 апреля 1956 г.*

М.П.Кизима

Мы не созданы для счастья. Мы созданы, скорее, для долга и смирения; счастье же, когда нам доводится испытать его, приходит случайно или как награда за исполненный долг, и оно не остается с нами надолго. Согласно Декларации нашей независимости, мы имеем право на стремление к счастью. Да,

Конкурс 2001 года

на лучшие научные и учебно-методические разработки российских политологов

В течение 2001 г. проводится конкурс на лучшие научные и учебно-методические разработки российских политологов. На конкурс могут быть представлены книги, статьи, учебные программы и материалы, а также рукописи, подготовленные в 2000 и 2001 гг. и являющиеся важным вкладом в развитие отечественной политологии. Тематика работ не ограничивается.

Работы, созданные как членами РАПН, так и не входящими в Ассоциацию российскими политологами, должны быть отобраны и рекомендованы для участия в конкурсе региональными отделениями Российской ассоциации политической науки, либо их городскими, университетскими и прочими секциями. В порядке исключения на конкурс могут быть приняты работы, рекомендованные диссертационными советами по политологии, как правило, в регионах или университетских центрах, где нет соответствующих структур РАПН.

Индивидуальные члены РАПН имеют право представить на конкурс свои работы при условии, если имеются три письменных рекомендации других членов Ассоциации.

Работы принимаются на конкурс до 15 сентября 2001 г. по адресу 101831, Москва, Колпачный переулок, д. 9а, комн. 202. Справки по телефону 921-01-32 или по электронной почте гарп@гарп.ру.

* Kirk R. What Is the Best Form of Government for the Happiness of Man? Norman: University of Oklahoma Press, 1956. Публикуется в сокращении.

на стремление — возможно, но не на обладание, ведь счастье застенчиво и быстро бежит, его редко удается поймать тем, кто устремляется к нему напрямик. Однако оно иногда приходит к тем, кто перестал его ловить, и вознаграждает их тогда, когда они менее всего этого ожидают. “Мы должны находить свое счастье в работе или не искать его вообще”, — говорил И.Бэббит. Человек, делающий свою работу радостно и хорошо, иногда косвенным путем обретает счастье; а тот, кто всю жизнь бежит за этим ускользающим духом, не коснется и края его одежд: как и принц Абиссинии Расселас, он всегда чахнет найти счастье завтра, но все его “завтра” превращаются в прах.

Итак, человек как представитель рода людского никогда не был счастлив и никогда не будет. История грехопадения говорит нам о том, что человеческое своеволие и греховное желание лишили человека до скончания веков возможности совершенного счастья. Счастливые люди, которые иногда встречаются среди нас, — это, судя по всему, люди, отрекшиеся от мирских желаний; отказавшись от честолюбия и страстей, они получили в награду душевное спокойствие. Но таких людей всегда очень мало, и достижение их состояния требует жесточайшей дисциплины. То несовершенное счастье, которое мы можем обрести здесь, на земле, — это очень личное счастье, человек находит его в исполнении долга, в удовлетворении от работы, в радости, которую дарят ему его привязанности, и в отречении от вожделения. Счастье — вещь личная, и правительства не могут дать его людям. Все, что способно сделать правительство, это не позволить людям бесчестным мешать тому счастью, которое возможно для людей честных, и помочь людям в осуществлении их личного долга, трудов и в жертвовании, обучающих человека добродетели и дающих ему шанс распознать счастье, когда то выглянет из-за угла.

Думаю, вы уже поняли из вышесказанного, что я не либерал — ни старого, ни нового образца. Признаюсь, что, напротив, принадлежу к числу тех, кого Д.Сантаяна называл “голосом лишенной прав и покинутой ортодоксии”. В эссе “Американизм”, опубликованном посмертно, Сантаяна нанес один из своих метких ударов в самое сердце той наивной системы представлений, которая называется “либерализмом” и которая господствует в западном мышлении вот уже не менее полутора веков. “У современной цивилизации огромная инерционная сила, она не только непреодолима физически, но и господствует морально и социально в прессе, политике и литературе либеральных классов; однако голос лишенной прав и покинутой ортодоксии, предвещающий беду, невозможно заглушить, и этот голос особенно тревожен потому, что перестал быть понятен. Когда пророки и апологеты современного мира пытаются опровергнуть его предсказания, они бьют совершенно мимо цели, потому что не могут представить себе того, что атакуют, и даже в своих собственных аргументах они страшно сбивчивы и расколоты. Очень редко их совесть и их мысли находятся на стороне их действий” [Santayana 1955].

Как один из голосов этой лишенной прав и покинутой ортодоксии, т.е. как консерватор в политике, я не верю, что какое-либо правительство может сделать людей счастливыми. Бывают правительства, которые способны сделать людей крайне несчастными; и есть другие правительства, при которых общество остается вполне сносным для людей, заслуживающих счастья и готовых исполнять долг, что иногда привлекает счастье. Думаю, что, приводя наши ожидания в соответствие с действительностью, мы должны быть готовы довольствоваться правительством, которое бы, в меру своих сил, не делало счастье невозможным для натур, способных узнать его при встрече. Но я не согласен с утверждением Джефферсона, будто правительство — неизбежное зло и чем меньше правительство управляет, тем оно лучше. Учитывая испорченность человеческой природы, правительство, безусловно, необходимо; само по себе оно не в большей мере зло, чем сами по себе работа или образование. Существуют относительно плохие и относительно хорошие правительства, точно так же, как существуют относительно плохие и относительно хорошие виды работы и образования. И нельзя сказать, что правительство, которое

меньше управляет, — обязательно хорошее правительство. Если в стране анархия и повсюду царят грабители, то правительство такой страны — очень плохое. Должно ли правление быть энергичным или вялым, зависит от обстоятельств: от характера народа, от типа экономики, от обычаев и привычек страны, от ее соседей — от великого множества факторов, тесно переплетенных между собой. Правление короля Альфреда было хорошим именно потому, что активно воздействовало на ход событий.

ИЛЛЮЗИИ ЛИБЕРАЛИЗМА

Идея о том, что правительства могут осчастливить людей, на мой взгляд, одна из самых печальных иллюзий либеральной эры: она уже привела к катастрофическим последствиям во многих странах мира, и эти последствия сказываются до сих пор. Такая идея связана с тем, что проф. Э.Фёглин называет “гностицизмом” — ересью, утверждающей возможность рая земного. Я же, как и О.Браунсон, полагаю, что “мудрое и справедливое правление всегда соответствует конкретным обстоятельствами, а не абстрактной модели. Истинное благо человека достижимо при разных формах правления и социальной организации, ведь оно обретается, если обретается вообще, из источника, совершенно независимого от мирского порядка” [Brownson 1955: 116].

Кульминацией ереси “гностицизма” в наше время является коммунистическое государство, которое во имя всеобщего счастья целенаправленно разрушает натуры, способные узнать счастье истинное.

Тем не менее данная иллюзия составляет суть либерального представления о человеке и обществе. (Я, конечно, говорю о либерализме как об идеологии, корнящейся в философских доктринах Просвещения и в учении Бентама; я не хочу очернить прилагательное “либеральный” в его древнем значении — “благородный”, “терпимый”, “подобающий свободным людям”; так употреблял его и Бёрк. Если бы “либеральный” было просто описанием аристократического “великодушного человека”, я был бы всецело за такую либеральность, но в качестве идеологического термина это слово означает последние полтора века нечто совершенно иное.) Либерал полагает, что человека можно сделать вполне счастливым, и со временем он стал считать, что счастье будет достигнуто действиями правительства. В 1939 г., когда голоса моей лишенной прав и покинутой ортодоксии были еще слабее, чем сейчас, д-р Б.И.Белл имел мужество описать такой “либеральный” тип мышления.

“Если быть кратким, либерал — это тот, кому кажется, будто люди по природе своей добры и достойны доверия, будто состояние дел наверняка будет становиться все лучше и лучше просто с течением времени — при том лишь условии, что мы освободим нашу жизнь от печальных социальных неустойчивостей, вызванных древними пороками, коих, конечно, уже больше нет, и сможем освободить умы людей от запретов, налагаемых культом сверхъестественного. Либерал полагает, что человек — благородное создание, лишенное души, и что, будучи таковым, он обязательно овладеет самыми возвышенными творениями культуры, просто реализуя свой просвещенный личный интерес или, как говорят люди вульгарные, дабы ‘не отстать от жизни’... Либерал уверен, что, если дать всем людям право голоса и всегда осуществлять государственную политику в соответствии с большинством поданных голосов, это неизбежно приведет к наибольшему общественному благу” [Bell 1939: ix].

Так вот, я не разделяю этой либеральной иллюзии. Мне не кажется, что люди от природы добры и достойны доверия; если бы они были таковыми, нам бы не были нужны правительства. Я не считаю, что все будет непременно улучшаться просто с течением времени; если бы это было так, нам не нужно было бы и беспокоиться о счастье человека. Я не думаю, что мы можем освободить свой ум от культа сверхъестественного и при этом не лишить себя своей высшей сущности. Я не верю, что глас народа есть глас Божий. И я не верю, что какая-либо идеология, даже идеология, обожествляемая под именем Демократии, способна сделать людей счастливыми.

Утверждают, что сэр У.Харкорт как-то сказал: "Мы все сейчас социалисты". Так это или нет, но наверняка мы все сейчас демократы. "Лекарством против демократии является еще большая демократия", — отзвуки этой глупой фразы еще раздаются на руинах Европы и Азии, и каждая политическая система нашего века претендует на то, что она — самая демократичная. Соединенные Штаты — демократия, Россия — демократия, Индонезия — демократия, Британия — демократия, Югославия — демократия, коммунистический Китай — демократия, Греция — демократия, Египет — демократия, Израиль — демократия! Короче говоря, вследствие своего триумфа это слово утратило всякий реальный смысл. И удивляться тут нечему: ведь "демократия", если дать ей верное определение, есть не какая-то определенная форма правления, а лишь крайне общая характеристика состояния социума. "Демократия" означает господство толпы. Поскольку наш век — век масс, в той или иной форме толпа правит повсюду. У Советской России есть все основания называть себя демократией, хотя я и считаю такую форму демократии особенно разлагающей; Г.Раушнинг несколько лет тому назад отметил, что российское чиновничество, столь широко осуждаемое, на самом деле более терпимо и цивилизовано, чем любая другая группа населения России, но оно неуклонно сдает свои позиции под давлением требований выродившейся демократической догмы. Я говорю: моя нынешняя лекция не будет панегириком какой-либо идеологии, даже идеологии под названием Демократия. Но я собираюсь сказать несколько слов в защиту политических принципов (противопоставляя их идеологии); и я хочу высказаться в пользу определенной формы демократии в противовес Демократии обожествленной.

Ни одна форма правления сама по себе не может сделать людей счастливыми, но некоторые формы способны сделать их несчастными. Поскольку политика — это искусство возможного, я попытаюсь описать в общих чертах тот тип правительства, который более или менее созвучен с истинным человеческим счастьем. Считаю, что при рассмотрении данной проблемы следует руководствоваться двумя принципами. Согласно первому из них, хорошим является то правительство, которое позволяет лучшим и наиболее энергичным натурам реализовывать свои способности, гарантируя при этом, что такие натуры не будут тиранить основную массу людей. Второй принцип заключается в том, что наилучшей из возможных — или, по крайней мере, наименее губительной — формой правления в каждом государстве будет та, которая соответствует традициям и давним обычаям его народа. Помимо этих двух общих принципов, нет никакого политического правила, которое было бы в равной степени применимо всегда и повсюду.

ОПАСНОСТИ ЭГАЛИТАРИЗМА

Люди не созданы равными, как заметил недавно Д.Ризман, они созданы разными. Это признание видным либералом необходимости переосмысления в политике постулатов относительно человеческой природы весьма характерно. Оно свидетельствует о том, что среди наиболее живых умов нашего поколения растет понимание, что разнообразие, а не единообразие придает обществу энергию и надежду. А потому мой первый принцип хорошего правительства, формулировкой которого я очень обязан Фёглину, приобретает в наши дни особую актуальность. Ибо всеподавляющей тенденцией на протяжении последних полутора веков был социальный эгалитаризм. "Каждый человек так же хорош, как любой другой, или, возможно, несколько лучше" — эта секулярная догма, я полагаю, нанесла серьезный вред сохранению и созданию хороших правительств. Равенство политической власти, установленное из соображений целесообразности, чаще всего приводило к равенству условий, выросшему из нашего послушного следования идеологии. "Все принадлежат всем остальным" — таков девиз общества в романе О.Хаксли "Прекрасный новый мир"; и такое общество смерти подобно. Ведь эти положения противоречат природе вещей. Каждый человек не так же хорош, как любой другой, и

все не принадлежат всем. Первое положение есть отрицание христианского принципа упорядоченности и иерархичности, а второе — христианского предостережения о личности.

Люди созданы разными; и правительство, игнорирующее этот непреложный закон, становится несправедливым правительством, поскольку приносит благородство в жертву посредственности; оно низводит лучшие и наиболее энергичные натуры, дабы удовлетворить зависть натур менее высоких. Такое низведение наносит ущерб человеческому счастью двояким образом. Во-первых, оно препятствует естественному стремлению талантливых и энергичных личностей реализовать свои потенциальные способности; оно приводит лучших людей своего времени к недовольству самими собой и своим обществом, и они погружаются в скуку; оно препятствует всякому качественному улучшению морального, интеллектуального и материального положения человечества. Во-вторых, рано или поздно, оно отрицательно сказывается на счастье основной массы людей; лишенные энергичного руководства и морального примера более высоких натур, те люди, которым судьбой предназначено занимать в жизни более скромное положение, не только утрачивают нечто очень важное в самой атмосфере своей цивилизации, но и оказываются в более тяжелом материальном положении. Короче говоря, правительство, превращающее христианское таинство морального равенства в секулярную догму, враждебно человеческому счастью.

Напомню, что у моего первого политического принципа есть две стороны: справедливое правление должно признавать не только права лучших натур, но и стремление большинства избежать беспокойства и тирании со стороны этих честолюбивых талантов. Мудрый государственный деятель стремится сохранить равновесие между этими двумя требованиями. Бывают эпохи, когда аристократия — ставшая таковой в силу традиций или по рождению — прибирает к рукам все управление жизнью, требуя от основной массы людей дани и подчинения, которые лишают их естественного права жить согласно обычаям и заведенному порядку и зачастую наносят ущерб их материальному положению. Такой режим, безразличный к счастью большинства, столь же плох, как и правление, безразличное к справедливым требованиям талантливого меньшинства. Но в наши дни опасность состоит не в том, что более сильные натуры (а я имею в виду не просто способность властвовать и приобретать, но и моральные и интеллектуальные качества) станут господствовать и помыкать большинством, скорее наоборот. Проклятием нашего времени является то, что Ортега называл "восстанием масс", угроза того, что посредственность поглотит под себя всякое справедливое притязание на возвышенность ума и характера, всякий необычный талант к лидерству и материальным усовершенствованиям. Поэтому мудрый государственный деятель нашего времени должен быть более сосредоточен на сохранении прав талантливого меньшинства, чем на расширении прав масс.

Консерваторы давно уже пытаются проповедовать эту истину, хотя в последние годы им чаще всего приходится говорить с глухими. Однако рост империи мертвящего коллективизма сейчас пробуждает здравомыслящих либералов, и они начинают понимать необходимость защиты требований выдающихся индивидов. В вышедшей недавно книге "Академическая свобода в наше время" видный политолог и либерал-рационалист проф. Р.М.МакАйвер сделал одно интересное замечание. Демократия в Соединенных Штатах, по его словам, "ассоциируется со своего рода расплывчатым эгалитаризмом, нивелировкой стандартов до уровня 'обычного человека'". Это — ложная посылка, продолжает он, бесконечно вредная и для ученого, и для общества в целом. "Подспудно существует еще одно заблуждение, даже более серьезное, чем ложное предположение о том, что демократия, когда она провозглашает равенство перед законом либо на избирательном участке, уравнивает тем самым все различия, или о том, что демократия, когда она предоставляет гражданское равенство, обеспечивает всем равенство во всем (включая доступ в

университеты). Этим более серьезным заблуждением является предположение, будто демократия означает господство большинства во всех людских делах. Такое представление, хотя оно и широко распространено в Америке, совершенно ошибочно и нелогично. Поскольку большинство никогда не правит и поскольку всякая форма правления — монархия, диктатура или любая форма олигархии — может соответствовать воле большинства и даже быть одобрена им при голосовании, в данной логике невозможно дать определение демократии. Отличительной ее чертой является не господство большинства, а те основополагающие права, которые она обеспечивает меньшинству» [MacIver 1955: 250-251]

Независимо от того, прав ли МакАйвер относительно “отличительной черты демократии” или нет, он касается здесь той громадной угрозы со стороны тупой посредственности, которая нависла над всеми высшими достижениями человечества. Режим, отождествляющий народное правление с равенством морального достоинства, с равенством интеллекта и равенством положения, — плохая форма правления, враждебная счастью человека; мыслящие консерваторы и мыслящие либералы, полагая, должны совместными усилиями противостоять этой тенденции. Хорошее правительство, утверждая я, уважает стремление лучших и более энергичных натур найти выражение своим особым талантам. Оно уважает право созерцательной натуры на уединение. Оно уважает право ученого на его продуктивный досуг. Оно уважает право талантливого лидера на честную инициативу в практических делах. Оно уважает право изобретателя на реализацию его изобретений, право фабриканта и коммерсанта на вознаграждение их усилий, право бережливого человека сохранить свои сбережения и передать их своим наследникам. Оно уважает эти стремления и права, это хорошее правительство, ибо осознает, что тем самым способствует счастью людей. Ведь более высокие и сильные натуры обретают счастье, делая то, для чего они предназначены природой, а возможность счастья основной массы людей расширяется за счет тех моральных, интеллектуальных и материальных благ, которые эти честолюбивые таланты даруют всему человечеству.

Баланс между требованиями неординарных и обычных натур, в иные времена нарушавшийся в пользу честолюбивых талантов, сегодня нарушается непомерными притязаниями доктринерского эгалитаризма. Самый яркий пример такого вырождения демократической догмы — коммунистическая Россия. Я вполне отдаю себе отчет в том, что Советская Россия управляется небольшой кликой партийных интриганов и преуспевших чиновников, которые лишь на словах придерживаются своей собственной секулярной догмы эгалитаризма; фактически же, следуя идеологии диалектического материализма и равенства положения, Советы подавляют право выдающихся личностей выполнять ту работу, для которой они предназначены. Среди элиты коммунистической России мы видим не господство более высоких натур, а верховенство фанатиков-якобинцев, почти полностью лишенных всего, что есть лучшего в человеческой природе. Это режим сонма жалких олигархов. Среди них не сыщешь пророков и священников; нет признания щедрых и милосердных натур; единственным качеством, необходимым для вступления в эту элиту, является жестокое коварство в смертельной борьбе за власть как таковую. Отнюдь не высшие, а низшие, с точки зрения морального достоинства и независимости ума, натуры признаются и вознаграждаются Советами.

Эгалитаристские догмы, которые коммунисты доводят до логического завершения, действуют сейчас с необычайной силой по всему миру. Мы, в Америке, оказываем стойкое сопротивление таким тенденциям больше по традиции и инстинктивно, чем из здравомыслия. “Нелегко будет привить Америке социализм”, — сказал как-то Сантаяна. Процесс привития идет, но дерево жесткое, и есть свидетельства того, что простое инстинктивное сопротивление доктринерскому эгалитаризму у нас в стране сейчас усиливается также консерватизмом мысли.

Антиподом советского эксперимента выступает не американская “демократия” как таковая; силами сопротивления становятся, скорее, американская моральная и политическая традиция и американский конституционализм. Политическая демократия способна достичь справедливого баланса между притязаниями более высоких натур и правами натур средних. Но такого баланса может достичь и монархия, и аристократия, и некая иная конкретная форма правления. Уважение естественных и определенных обычаем прав не есть нечто присущее какому-то одному типу политических институтов. Но формой правления, которая, по-видимому, более всего способна ценить и защищать требования и того, и другого слоя граждан, является то, что Аристотель называл “политией”, — сдерживание и уравнивание различных интересов в обществе. Соединенные Штаты во многом остаются таким государством; *чистая* демократия не входила в намерения основателей нашей республики, она еще не восторжествовала у нас. Надеюсь, что и не восторжествует. Ведь хорошее правительство не означает “победы пролетариата”, как не означает и покровительства окопавшейся верхушки общества. Хорошее правительство всегда опирается на принцип защиты прав двух групп: прав выдающихся талантов и прав средних граждан. Никакая идеология (а идеология, строго говоря, — это совокупность фанатично исповедуемых априорно секулярных доктрин, цель которых — создание рая земного) не может установить это равновесие. Мыслящий консерватизм есть отрицание идеологии, потому что он отрицает возможность создания рая земного; он, по существу, довольствуется человеком таким, каков он есть, и стремится лишь примирить друг с другом естественные слои общества.

Если правительству удалось осуществить такое примирение, думаю, оно привело свой народ настолько близко к социальному счастью, насколько это вообще возможно. Кто может судить о счастье? Дж.Ф.Стивен задавал этот вопрос в своем письме Миллю: “Где нам найти людей, которые благодаря опыту могли бы сказать, кто более счастлив: человек вроде лорда Элдона или человек вроде Шелли; человек вроде д-ра Арнольда или человек вроде покойного маркиза Хартфордского; очень глупый преуспевающий фермер, умирающий в преклонном возрасте, прожив жизнь в полном здравии, или утонченная изысканная женщина, страстно чувствующая и блестяще одаренная, умирающая измученной в юном еще возрасте после череды сменявших друг друга восторгов счастья и агоний горя... Задать эти вопросы — значит показать, что на них невозможно дать ответ. Они подобны вопросу о расстоянии между часом дня и Лондонским мостом” [Stephen 1873: 271].

Цель законодателя и моралиста (когда принципы побуждают их вмешиваться в чужую жизнь), добавлял Стивен, — “заставить людей принять свой взгляд на счастье, а не сделать их счастливыми согласно их собственным представлениям”, и резко возражал против этой склонности навязывать собственное представление о личном счастье сопротивляющимся ближним.

Хорошее правительство, утверждаю я, стремится дать людям возможность отыскать их собственное счастье. Оно позволяет необычным и одаренным натурам обрести счастье в осуществлении своих талантов; оно позволяет большинству, предпочитающему восторгам открытий уверенность в завтрашнем дне, рутину и спокойную жизнь, найти счастье в спокойствии. В пределах, устанавливаемых приличиями и надлежащим порядком, это мудрое правительство предоставляет каждому человеку право жить согласно его природе. Оно не предлагает навязать *насилно* счастье увлеченного статистикой Бентама романтику Колриджу; ведь то, что составляет счастье для одного человека, для другого, даже среди талантливых натур, — становится страданием. Разумно оставив личное счастье в покое, это правительство предоставляет индивиду возможность самому позаботиться о себе. Называйте, если хотите, эту форму правления “демократией”, хотя, на мой взгляд, вы исказите тем самым смысл слова; я же попросту именую ее правительством, которое предпочитает не идеологию, а норму; не единообразие, а многообразие; не всевластие, а баланс.

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Перейдем теперь ко второму моему принципу: тому, что хорошим является то правительство, которое соответствует традициям, неписаным законам и обычаям данного народа. Здесь я — последователь Монтескье и Бёрка. Хорошее правительство не есть нечто искусственное: оно не изобретение философов за чашкой кофе, выстроенное в соответствии с априорными абстрактными представлениями и сиюминутным настроением. Правительства, сконструированные наспех на основе принципов чистого разума, обычно никуда не годятся. Самым большим должителем среди них является правительство современной Франции, так и не оправившейся от того кровоупускания, которое конституция французского общества и его политическая жизнь претерпевали от рук непреклонных метафизиков начиная с 1789 г. и далее. Куда менее долговечными, поскольку имели за спиной куда более скромную традицию и поддержку, были искусственные правительства, учрежденные в Центральной и Восточной Европе после первой мировой войны. А ведь хорошее правительство, в отличие от них, есть порождение многих веков общественного опыта. Его называют органическим; я же предпочитаю наименование “духовное”. Доверяя мудрости наших предков и инстинкту рода человеческого, оно опирается на прецедент, неписанные законы, историю проб и ошибок, компромиссы и консенсус мнений. Оно не питает безрассудной страсти к прямолинейности; оно предпочитает силу и величие готического стиля. Ввиду солидного возраста и успешности лучшим примером правительства такого типа является правительство Англии. Почти столь же хорошим примером торжества в политической жизни принципа, согласно которому общество есть величественная целостность и сущность, сплавляемые уважением неписаного закона и традиции, представляется правительство Соединенных Штатов.

Я, конечно, помню о том, что номинально мы создали нашу федеральную конституцию путем целенаправленных действий за несколько месяцев. Но в действительности эта официальная конституция, как и конституции отдельных штатов, в основном просто зафиксировали на бумаге то, что уже существовало и было принято общественным мнением: убеждения и институты, давно установившиеся в колониях и опиравшиеся на столетия английского опыта парламентской жизни, общего права и всего сложного гражданского общественного устройства. Уважение к прецеденту и неписаным законам направляло умы основателей нашей республики, (за очень редким исключением). Мы обращались не к *liberté, égalité, fraternité*, а к установленным обычаям свободам англичан. Философская и моральная структура нашего гражданского общественного строя коренилась в христианской вере, а не в поклонении Разуму.

Успех американских и английских правительств обусловлен, думается, тем, что они отдают предпочтение развитию, опыту, традиции, неписаным законам и давним установлениям, а не грандиозным замыслам доморожденных метафизиков. Как хорошо понимали Монтескье и Бёрк, великие уроки политической жизни народ учит на своем историческом опыте; ни одна нация не может отсечь себя от своего прошлого и при этом процветать, ведь только умершие придают нам силу; и какой бы ни была давно укоренившаяся в стране конституция, она — лучшая из тех, на которые данный народ может рассчитывать. Такую конституцию можно, конечно, совершенствовать или, наоборот, возвращать в прежнее состояние; но если ее просто отбрасывают подобно мусору, все слои общества неизбежно страдают.

Американская и английская конституции, действительно, работают очень хорошо; но поскольку они — живые существа, их не так-то легко пересадить в другие государства. Одной из кардинальных ошибок французских революционеров была их попытка переделать Францию, воплотив там то, что казалось им английской моделью политической жизни. Хотя каждый народ может чему-то научиться на опыте и институтах любого другого народа, нет такой формы правления, которая была бы способна успешно функционировать во всех государствах. Ведь политические институты народа вырастают из его ре-

лигии, из его общественных привычек, экономики и даже литературы; политические институты — только часть сложной социальной структуры, корни которой чрезвычайно стары и глубоки; попытки навязать заимствованные институты чуждой им культуре обычно заканчиваются катастрофически, хотя на это могут потребоваться десятки лет или даже поколения. Выступая против замыслов Клея распространить по всему миру революции по американскому образцу, Рэндольф Роанокский восклицал в свойственной ему сардонической манере: “Делать свободу из испанского материала так же безнадежно, как строить фрегат из вязанки хвороста”. Хотя это и звучит довольно жестко по отношению к испанцам, тем не менее верно, что парламентское правительство англо-американского образца редко бывало эффективным в испанских землях; свобода испанцев, когда она у них есть, обеспечивается совершенно иными институтами и обычаями.

Однако иллюзия, будто повсюду в той или иной форме утвердятся господство американских институтов и нравов (убежденность американского либерала, что, как сказал однажды Сантаяна, “монахиня не должна остаться монахиней, а Китаю не следует сохранять свою Стену”), по-прежнему отравляет нашу политическую теорию и нашу внешнюю политику. Мы постоянно надеемся найти либеральные, ориентированные на постепенность, центристские, умеренные, рациональные, парламентски мыслящие политические группировки — полностью аналогичные прогрессивно мыслящим американцам, хотя, возможно, и не столь просвещенные, — в Китае, и в Индокитае, и в Марокко, и в Сербии: людей, которые отрекутся либо от “феодализма”, либо от марксизма и будут вести себя так, как будто они окончили если не Принстон или Вассар, то университет какого-либо американского штата. Но в этих заморских странах мы никогда не встречаем подобных людей; и хотя нас это раздражает, наша надежда не увядает. Генералиссимус Чан Кайши, маршал Тито, президент Ли Сынман, полковник Насер теряют наше расположение один за другим: они сбились с пути истинного, они не были хорошими американцами! Мы всегда ждем, что нас осчастливит какой-то государственный деятель или какая-то партия к востоку от Суэца, у которых достанет здравого смысла незамедлительно установить Американский Образ Жизни, но этого никогда не происходит.

Такая иллюзия — продукт политического универсализма. Ведь индивиды, как говорил Честертон, счастливы только тогда, когда “живут своей жизнью, какой бы она ни была”; то же самое относится и к народам. Навязывание американской конституции всему миру не сделало бы весь мир счастливым; как раз наоборот, поскольку американская конституция сработала бы только в очень немногих странах, в скором времени это сделало бы людей крайне несчастными. Государства, как и люди, должны находить свои собственные пути к порядку и свободе, и такие пути обычно бывают очень древними и извилистыми, а веками на них служат Традиция и Неписаный закон. Американская конституционная система, например, не могла бы функционировать без юридических институтов, корнящихся в общем и римском праве, из которых она произросла. Возьмите эту конституционную систему в ее абстрактном виде и установите как искусственный конструкт в Персии или Сирии, где общее и римское право неведомы, а основы правосудия покоятся на Коране: она не будет иметь успеха. Подобное предприятие способно подорвать старую систему правосудия и даже на время внешне заменить ее, но в конечном итоге традиционная мораль, обычаи и институты народа, подтвержденные его историческим опытом, вновь утвердятся, и новации будут сметены — если данная культура вообще выживет.

Мы, американцы, склонны полагать, что страны, которые мы пренебрежительно называем “слаборазвитыми”, — это не более чем примитивные скопления населения, которым не хватает только наших политических теорий и практики, чтобы установить режим полного благоденствия. Но это значит игнорировать историю, и глупцами оказываемся здесь мы, а не жители слабо-

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД: ЧЕШСКИЙ ВАРИАНТ

Я.В. Шимов

В рамках Центральной и Восточной Европы принято ныне выделять три субрегиона: центральноевропейский (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения), балканский (остальные республики бывшей Югославии, Болгария, Румыния) и постсоветский. Первый из них обычно считают наиболее успешным, ушедшим дальше остальных по пути демократизации и экономических реформ. Однако в общественном мнении стран субрегиона в 1990-е годы стали преобладать скептические оценки как достигнутого в ходе посткоммунистической трансформации, так и перспектив дальнейшей экономической и социально-политической интеграции с Западом. По выражению социолога П.Штомпки, "мрак 90-х пришел на смену радости 80-х" [Sztompka 1993: 95].

Насколько оправданы такие настроения? Чем вызвано их появление? Богатый материал для ответов на поставленные вопросы дает анализ политического развития Чехии. Совокупность черт этого развития позволяет рассматривать Чешскую Республику как почти идеальную "лабораторию" посткоммунистической трансформации в Центральной Европе. Особенно интересен, на мой взгляд, опыт Чехии в ключевой сфере данной трансформации — в выравнивании отношений между нарождающимися структурами гражданского общества и правящей элитой, государством.

ПУТЬ К "БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ"

Перечислю предварительно те особенности новейшей политической истории Чехии, которые обусловили ее сравнительно быстрое и безболезненное расставание с социализмом.

1. Чехия как ядро первой Чехословацкой Республики (1918 — 1938 гг.) — единственная страна Центральной Европы, имевшая довольно длительный и успешный опыт демократического развития. Этот опыт не был забыт, несмотря на 40 лет социализма. Как отмечается в исторической литературе, у "большинства чехов социализм ассоциировался с ухудшением... условий их существования по сравнению с межвоенным периодом, который был для них временем национальной либерализации, политической свободы и относительного экономического благополучия" [Ковицына 2000]. История Чехословацкой Республики была и остается в глазах чехов олицетворением жизнеспособности и благотворности демократической модели общественного и государственного устройства. Во многом благодаря опыту межвоенных лет авторитарные тенденции в Чехии (в отличие от большинства других стран региона) в посткоммунистический период почти не проявлялись.

2. Ортодоксальный коммунистический режим, установленный в ЧССР после поражения "Пражской весны", был, пожалуй, одним из наиболее жестких и идеологически бескомпромиссных в центральноевропейском субрегионе. В конце 1960-х — начале 1970-х годов чехословацкая компартия провела чистку, устранив с политической арены приверженцев "линии Дубчека". В результате партия лишилась реформаторских элементов, что исключило возможность появления в рядах "обновленной" КПЧ своего Горбачева или Кадара. Поэтому в истории ЧССР не нашлось места для сколько-нибудь значительного "предпереходного" периода половинчатых, но все же благотворных реформ, в ходе которых могли бы сформироваться первые институты граждан-

ШИМОВ Ярослав Владимирович, сотрудник русской службы "Радио Свобода" (Прага), аспирант Института славяноведения и балканистики РАН.

развитых стран. Конечно, нельзя отрицать, что многие государства Азии и Африки, и даже Европы, неожиданно столкнувшись с революционными влияниями современных технологий и ростом населения, должны сейчас принимать нечто большее, чем просто следовать заведенному порядку и обычаям. Но я хочу сказать, что такие страны в большинстве своем должны сами выработать собственные реформы и что эти реформы, дабы быть удовлетворительными по отношению к проблеме человеческого счастья, должны следовать в русле давних обычаев и традиций страны. Житель Азии или Африки, пытающийся обратить себя или весь свой народ в веру в западные институты и западную культуру, в конечном счете неизбежно в них разочаруется; нам повезет, если они не станут вызывать у него гневной реакции. Подобно ливанскому арабу из рассказа Каннингхем-Грэма "Сиди бу Зиббула", он тогда усядется с мрачным видом на своей навозной куче и скажет: "Видел я ваши западные города; навоз — и тот лучше".

Я утверждаю: хорошее правительство не есть нечто единое для всех; порядок и справедливость обретаются по-разному; и любое правительство, стремящееся защитить личное счастье своего народа, должно основываться на моральных представлениях, культурном наследии и историческом опыте этого народа. Теория, оторванная от практики, крайне опасна; она превращается в игрушку идеологов, любимое детище тех абстрактных метафизиков, чьи сердца, как это знал Бёрк, глубоко порочны. Мировой судья не способен заменить собой кadi, хотя их социальные функции могут во многом совпадать; и никакой Джеймс Милль, сколь бы глубокими познаниями он ни обладал, не имеет права писать законы для Индии.

- Bell B.I. 1939. *Religion for Living: a Book for Postmodernists*. L.
Brownson O. 1955. *Socialism and the Church*. — Brownson O. *Selected Essays*. Chicago.
MacIver R. M. 1955. *Academic Freedom in Our Time*. N.Y.
Santayana G. 1955. *Americanism*. — *The Virginia Quarterly Review*, Winter.
Stephen J. F. 1873. *Liberty, Equality, Fraternity*. L.

Перевод с английского М.П.Кизимы

ского общества и независимые политические объединения типа польской “Солидарности”.

В ЧССР назревание социально-политических противоречий происходило подспудно, зато расставание с коммунистическим режимом оказалось моментным. Эту особенность отразил популярный в дни “бархатной революции” афоризм: “В Польше — 10 лет, в Венгрии — 10 месяцев, в ГДР — 10 недель, в Чехословакии — 10 дней”. Действительно, чехи и словаки начали новую жизнь буквально “с понедельника”, что имеет немалое значение для, так сказать, чистоты эксперимента.

3. Для менталитета чехов (именно чехов, ибо в Словакии дело обстоит по-другому) издавна характерны слабая религиозность и отторжение ультралиберализма, зачастую замешанного в Центральной Европе на консервативном католицизме. Поэтому в Чехии националисты не преуспели: взлет популярности Республиканской партии М.Сладека был кратковременным и весьма относительным — по сравнению, например, с националистическим Движением за демократическую Словакию (ХЗДС) В.Мечъяра, доминировавшим в словацкой политике на протяжении восьми лет. После провала на выборах 1998 г. чешские ультраправые практически сошли с национальной политической сцены. Таким образом, в качестве альтернативы “реальному социализму” чехи с самого начала трансформации видели западную либерально-демократическую модель в “чистом” виде, без примеси националистических мечтаний, оказавших в 1990-е годы немалое влияние на развитие Польши, Венгрии и Словакии.

4. Проблема национально-государственного размежевания со Словакией, вставшая в начале 1990-х годов, была разрешена быстро и относительно безболезненно. В результате Чехия оказалась небольшим, практически мононациональным (если не считать приблизительно 300-тысячного цыганского меньшинства), экономически развитым — по меркам экс-соцлагеря — государством.

Еще до войны чешские земли заметно опережали по уровню экономического и социального развития страны, с которыми после 1945 г. оказались в одном геополитическом лагере. Эти земли образовывали тогда один из передовых индустриальных регионов Европы. Тем не менее “социалистическое строительство” первых послевоенных десятилетий имело большое историческое значение и для Чехословакии. Во-первых, произошли восстановление, обновление и определенная модернизация значительной части производственных фондов, пострадавших во время войны. Во-вторых, начала изменяться структура общества: резко выросла занятость, увеличилась численность рабочих, служащих и интеллигенции, повысилась образованность. В-третьих, уменьшились региональные различия: Словакия, до войны довольно отсталая аграрная провинция, постепенно подтягивалась экономически к более развитой западной части страны. Разумеется, все это не отменяет того факта, что в конечном счете социализм привел Чехию к определенному хозяйственному застою.

К середине 1960-х годов в большинстве стран субрегиона доля высококвалифицированных специалистов и вообще лиц с высшим и средним специальным образованием стала весьма значительной. Эта доля продолжала неуклонно расти, ибо в условиях полного или частичного запрета частнопредпринимательской деятельности образование оказывалось едва ли не единственным средством повышения социального статуса. Постепенно в таких странах складывался свой аналог западного среднего класса, ориентированный на относительно высокие стандарты потребления и уровень благосостояния (вспомним, к примеру, позднесоветскую формулу семейного процветания: квартира — машина — дача).

Между тем “родимые пятна” социализма — жесткие рамки коммунистической идеологии, отсутствие реальной конкуренции в экономике, относительная отсталость легкой промышленности, ставшей жертвой ускоренной индустриализации, и т.п. — способствовали нарастанию социального напряжения. Восточноевропейский “средний класс” все сильнее чувствовал себя неудовлетворенным, обойденным. “Железный занавес”, отделявший граждан этих

стран от остальной Европы, был не столь прочен, как в СССР, так что они могли знакомиться с жизнью Запада, сравнивать ее с условиями собственно-го существования — и делать соответствующие выводы. Капитализм начал восприниматься массовым сознанием как общество больших возможностей, хотя многие по-прежнему ценили такие достоинства социалистического строя, как стабильность и высокий уровень социальной защищенности. 1970-е годы оказались периодом повального “бегства” от официальной идеологии: догмам и символам марксизма-ленинизма большинство населения отдавало дань лишь для того, чтобы не привлекать к своей частной жизни излишнего внимания всемогущего государства*.

Социум как бы распадался, идеалы общественного служения теряли свою привлекательность. В Чехословакии на этот общий для субрегиона процесс накладывалась горечь поражения, национального унижения, коим стало для страны вторжение войск Варшавского договора в 1968 г. По справедливому замечанию чешского политолога Э.Пецки, “фатализм и недостаток воли”, присущие обществу периода “нормализации”, были следствием насильственного подавления “Пражской весны” [Реска]. На передний план начали выходить ценности семейной жизни, потребление, а также духовные поиски, культурные интересы или просто развлечения.

Впрочем, перечисленные процессы происходили не только в Восточной Европе. По мнению британского политолога Р.Шеперда, подход В.Гавела, который описывал “коммунистическое общество с его атеистической антирелигией, его атомизацией индивидов, с приоритетной ролью, которую играет в нем индустрия, как экстремальное проявление черт, свойственных эпохе модерна в целом” был совершенно оправдан [Shepherd 2000: 44]. Различие между Западом и Востоком Европы заключалось лишь в том, что в первом случае бегство человека от всеподавляющей власти зачастую принимало социализированные формы. В противовес обществу массового производства и потребления возникали движения морально-этического протеста — так наз. гражданские инициативы, антивоенные и экологические организации, группы хиппи и т.д., тогда как при социализме подобные движения оказались невозможны**. Поэтому атомизация общества приобрела здесь более глубокий характер.

С середины 1970-х годов в социалистических странах все же начали появляться ростки гражданского общества. В ЧССР к ним нужно отнести “Хартию-77” и другие диссидентские группы. Несмотря на свою немногочисленность и преследования со стороны власти, они оказывали определенное, с течением времени все более значительное, влияние на массовые настроения. После 1985 г. нарастанию общего недовольства способствовал также мощный импульс извне, коим стала для реформаторских сил в странах соцлагеря советская “перестройка”.

В Чехословакии второй половины 1980-х воздействие этих факторов ощущалось довольно сильно. Как пишет чешский историк В.Пречан, “еще весной 1987 г. налицо были лишь две постоянно действующие гражданские инициативы — “Хартия-77” и Комитет по защите несправедливо преследуемых. К концу 1988 г. существовала уже целая система независимых инициатив, обладавших собственной информационной базой и внедрявших свои идеи в общество с помощью печатных, т.е. самиздатовских, органов (как это было в случае с газетой “Лидове новины”), а также через зарубежные радиостанции” [Пречан 2000]. Резко возросла политическая активность творческой интелли-

* В одном из эссе того времени В.Гавел описывает овощную лавку в Праге, в витрине которой, над капустой и луком, был вывешен плакат с лозунгом: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” “Лозунг — это в действительности знак, символ, содержащий определенное послание, — отмечает Гавел. — Словами его можно выразить примерно так: Я, зеленщик ХУ, живу здесь и знаю, что я должен делать. Я веду себя так, как положено... Я лоялен и потому имею право на то, что бы меня оставили в покое” [Havel 1992: 132-133].

** Польша 1980-х с ее феноменом массовой оппозиции коммунистическому режиму в этом смысле представляет собой исключение.

генции и молодежи, прежде всего студентов. Им и суждено было стать движущей силой “бархатной революции”.

ОТ “БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ” К “БАРХАТНОМУ РАЗВОДУ”

После молниеносного краха коммунистического режима в Чехословакии взяв власть оппозиционным силам пришлось в пожарном порядке формировать структуры нового демократического государства. В первую очередь в этот процесс вовлекались активные, но все еще немногочисленные и разрозненные гражданские инициативы, объединения бывших диссидентов и интеллигенции (хотя они не имели никакого или почти никакого опыта легальной политической и государственной деятельности), а также реформистские группы в рамках некоммунистических партий, игравших в 1940-е — 1980-е годы роль номинальных младших партнеров КПЧ (Народная и Социалистическая партии). Таким образом, новое чехословацкое государство создавалось при деятельном участии нарождавшихся ячеек гражданского общества, однако само это общество в конце 1980-х не было ни достаточно развитым, ни сколько-нибудь структурированным.

В отличие от большинства бывших республик СССР, где после 1991 г. не произошло полной смены правящей элиты и где представители прежней коммунистической номенклатуры сохранили значительное влияние в новых структурах власти, в Чехословакии, как и в других центральноевропейских странах, состав политического класса обновился почти полностью. Этому способствовали триумфальная победа на первых после революции парламентских выборах (1990 г.) Гражданского форума (ОФ), объединившего почти все антикоммунистические силы страны, а также законодательная дискриминация бывших сотрудников аппарата компартии и государства, которым было запрещено занимать государственные посты*.

Недолгий “романтический” период государственного строительства в посткоммунистической Чехословакии характеризовался активностью элементов гражданского общества. “Одним из основных источников формирования новой политической элиты в Чехословакии была “революционная улица”, а более точно — те рабочие, служащие, представители творческой интеллигенции... объединениям принципом которых являлось отрицание прежнего режима и неприятие прежних лидеров страны... Отсутствие у них опыта политической и государственной деятельности рассматривалось скорее как плюс, нежели минус” [Щербакова 2000].

Олицетворением такой “непрофессиональной” элиты стал В.Гавел, избранный 29 декабря 1989 г. новым президентом Чехословакии. Своей основной задачей в качестве главы государства этот драматург, вчерашний диссидент и политзаключенный считал внесение в практическую политику морального начала, гуманизма и общечеловеческих ценностей. Много лет спустя в одном из интервью Гавел следующим образом сформулировал свои представления о функциях президента: он “должен не просто быть символической фигурой, стоящей во главе государства, но и играть существенную роль в рамках конституционной системы, а кроме того, в дополнение к своим правовым функциям, обладать особым политическим и даже духовным влиянием... Это личность или, скорее, институт, призванный все время напоминать гражданам о фундаментальных ценностях, на которых основано чешское государство. Я, конечно, не могу судить о том, в какой степени мне самому удалось сыграть такую роль” [Havel 1999]. Миссия морального лидера нации, взятая на себя Гавелом, превратила его в своего рода связующее звено между государством, главой которого он стал, и гражданским обществом, которому, несомненно, принадлежали (и принадлежат) его симпатии. Такая позиция президента была весьма благотворной для нации, способствовала ее консолидации.

Эйфория первых послереволюционных лет имела для Чехословакии как безусловно позитивные, так и негативные последствия. Гражданский форум, в рамках которого объединились возникшие в последние годы социализма диссидентские группы, студенческие активисты, сыгравшие выдающуюся роль в дни “бархатной революции”, зародыши новых, некоммунистических партий, просто политически активные граждане и т.д., оказался аморфным телом, огромным “политическим Големом”. Существование его было оправдано лишь в первые месяцы после крушения прежнего режима, пока оставалась — пусть теоретическая — возможность коммунистического реванша.

После поражения коммунистов на выборах 1990 г. Гражданский форум стал превращаться в препятствие на пути формирования новых политических организмов и государственных учреждений, с одной стороны, и саморазвития ячеек гражданского общества — с другой. Хотя естественный процесс размежевания либерального, центристского и социал-демократического течений происходил и в рамках ОФ, контуры полноценной многопартийной системы начали вырисовываться только после его распада.

Первым экзаменом для этой системы стали выборы в нижнюю палату парламента Чехии, состоявшиеся в мае 1992 г. Победу на них одержал праволиберальный блок, куда вошли Гражданско-демократическая партия (ОДС) и христианские демократы (с которыми ОДС впоследствии объединилась). Основатель и лидер ОДС либеральный экономист В.Клаус занял пост премьер-министра Чехии. Второй партией в республике оказались коммунисты, завоевавшие более 14% голосов. Выборы в Словакии принесли, однако, прямо противоположные результаты: более 37% голосов на них набрало национал-популистское Движение за демократическую Словакию (ХЗДС) во главе с В.Мечъяром. Противоречия между двумя субъектами хрупкой Чехословацкой Федерации теперь нашли политико-институциональное выражение: Чехия и Словакия получили правительства с почти диаметрально противоположными взглядами как на экономическую политику, так и на общую стратегию развития своих республик. Сохранение федеративного государства, на чем в 1991 — 1992 гг. активно настаивал В.Гавел, становилось невозможным.

Почему же на западе тогда еще единой страны победу одержали либеральные прогрессисты, а на востоке — национал-популисты во главе с авторитарным лидером? Первая причина заключается, на мой взгляд, в том, что словакам социализм объективно дал больше, чем чехам, поэтому отношение к преобразованиям, начавшимся после 1989 г., оказалось в Словакии значительно более сдержанным. Кроме того, Словакия гораздо тяжелее переносила трудности трансформации — так, уровень безработицы в Чехии в 1991 г. едва превышал 4%, тогда как в Словакии он достигал 12%. Последнее обстоятельство подогревало сепаратистские настроения чехов, которым казалось, что, избавившись от словацкой “обузы”, они смогут быстрее и эффективнее решать собственные проблемы. В свою очередь, отсутствие значительного чешского меньшинства в Словакии и словацкого в Чехии, т.е. той роковой этнической чересполосицы, которая привела к серии кровавых войн в бывшей Югославии, создало предпосылки для быстрого и мирного развода двух субъектов федерации.

Итак, 1 января 1993 г., в соответствии с решениями парламентов и правительств обеих республик, Чехословакия перестала существовать, уступив место двум независимым государствам — Чехии и Словакии. Впрочем, сделано это было без явного одобрения рядовых граждан. По данным социологических опросов, в марте 1992 г. в пользу независимости высказывались лишь 17% словаков и 11% чехов. Наибольшей популярностью в чешских землях пользовались тогда идеи сохранения федерации (27%) или даже создания унитарного государства (34%), в словацких — перехода к конфедеративному устройству (36%) [Shepherd 2000: 138].

Значительная часть населения по обе стороны новой государственной границы восприняла ликвидацию Чехословакии как “сговор верхов”, как решение элит, задуманное и осуществленное без совета с народом. Хотя упраздне-

* Закон о люстрации, принятый в 1991 г., действует в Чехии по сей день.

ние федерации не вызвало бурных протестов ни в Чехии, ни в Словакии, думается, что оно весьма способствовало отчуждению между правящей элитой и обществом. Этот процесс принял еще более явные формы на следующем этапе, вошедшем в новейшую историю Чехии как *эпоха Вацлава Клауса*.

ЭПОХА КЛАУСА: ОТЧУЖДЕНИЕ НАРАСТАЕТ

В отличие от многих бывших соцстран (Польши, Болгарии, Венгрии, Литвы), где в середине 1990-х к власти пришли левоцентристские силы, Чехия долгое время оставалась островком праволиберального реформизма. Правительством гражданских демократов, сформированное в середине 1992 г., находилось у руля государства пять лет. Вплоть до парламентских выборов 1996 г. ОДС не имела серьезного левоцентристского противовеса, а наличие на политической сцене ортодоксальной и довольно сильной Компартии Чехии и Моравии (КСЧМ) позволяло Клаусу успешно представлять себя и свою партию в роли защитников страны от коммунистического реванша.

В.Клаус — один из немногих харизматических лидеров среди современных чешских политиков. Ему не только удалось внушить значительной части общества твердое убеждение в верности предлагаемых ОДС рецептов экономического возрождения и благотворности ее политики, но и создать партийный механизм, до сих пор обеспечивающий гражданским демократам стабильную поддержку 25-30% политически активных граждан.

При этом сила ОДС, как отмечают многие аналитики, заключается не только и не столько в ее программе, в основу которой легли базовые и порой довольно примитивно истолкованные положения неоллиберализма 1980-х годов (образцом для подражания Клаус считает М.Тэтчер). Главный козырь ОДС — ее лидер, твердо убежденный в правильности своей политической линии. Эта черта характера Клауса в значительной степени передалась его партии. Как писала газета “Лидове новины”, “основным качеством успешных политиков из рядов ОДС была и остается самоуверенность. Это нормально, ведь политик, который не верит в себя, ничего не добьется. Но многое зависит от меры, в какой проявляется вера в собственные силы” [Lidove noviny 21.11.2000]. ОДС пребывала у власти на протяжении большей части минувшего десятилетия, и ее деятельность наложила глубокий отпечаток на политический облик нынешней Чехии.

Клауса и его приверженцев отличают индивидуализм и граничащая с пренебрежением недооценка роли гражданского общества в посткоммунистических преобразованиях. Лидеры ОДС видят в политических партиях основной и едва ли не единственный механизм выражения интересов различных социальных групп; в представляющей им идеальной модели общества и политической системы “нет места гражданским организациям и ассоциациям; есть лишь граждане, с одной стороны, и государство — с другой” [Blahoz et al. 1999]. Такая позиция явилась одной из причин напряженности в отношениях Клауса с президентом Гавелом, придерживающимся традиционных для европейского либерализма оценок гражданского общества и его роли в социальной жизни.

Главной внутривластной задачей правого правительства стала либерализация национальной экономики. Клаусу удалось избежать “шокотерапевтических” методов Л.Бальцеровича и Е.Гайдара: в начале и середине 1990-х уровни инфляции и безработицы в Чехии были самыми низкими в посткоммунистических странах. Высокую оценку общественности заслужила на первых порах и модель купонной приватизации — любимое детище Клауса как экономиста. В середине 1990-х годов на Западе заговорили о чешских “реформах с человеческим лицом”, а сам Клаус объявил о том, что Чехия значительно ближе других подошла к западным социальным стандартам и потому является первым кандидатом на прием в Евросоюз.

На самом деле ситуация была не столь радужной. Приватизация, осуществленная со значительными злоупотреблениями, не привела ни к появлению широкого слоя граждан-собственников, ни к существенному притоку иност-

ранных инвестиций. Финансовое благополучие середины 1990-х оказалось блефом: к 1997 г. скрытая внутренняя задолженность государства стала всерьез угрожать экономической стабильности страны. Клаус, личная честность которого почти никем не подвергается сомнению, заслужил репутацию покровителя коррумпированных чиновников и нечистых на руку бизнесменов. По данным печати, в 1996 — 1997 гг. было зафиксировано около 2,5 тыс. случаев откровенного разворовывания приватизированных компаний их новыми владельцами, причем вследствие неразработанности хозяйственного законодательства большинство виновных остались безнаказанными.

Накапливавшееся недовольство проявилось на парламентских выборах 1996 г., которые принесли первый большой успех Социал-демократической партии (ЧССД), получившей 26,4% голосов. ОДС, правда, осталась ведущей политической силой страны (за нее проголосовали 29,6% избирателей), но для формирования правительства ей пришлось вступить в коалицию с центристской Народной партией и небольшой либеральной партией ОДА.

Следующий год едва не обернулся для Клауса политической катастрофой. В обстановке нарастающих экономических трудностей правительство вынуждено было пойти на резкую девальвацию чешской кроны. Разрушительные наводнения, ущерб от которых достиг 2 млрд. долларов, усилили кризисную ситуацию в обществе. Наконец, осенью, когда разразился скандал вокруг нелегальных источников финансирования правящей партии, в рядах ОДС произошел раскол: некоторые ее ведущие представители (министр иностранных дел Й.Желенец, Я.Румл, И.Пилип и др.) потребовали отставки Клауса. 30 ноября лидер ОДС был вынужден уйти с поста главы правительства. Бой за первенство в собственной партии он все же выиграл, неожиданно для многих одержав убедительную победу на декабрьской конференции ОДС. “Раскольники” во главе с Я.Румлом в знак протеста вышли из партии, основав собственное либеральное объединение — Унию свободы (УС).

Политика Клауса подверглась уничтожающей критике со стороны президента Гавела. Выступая в декабре 1997 г. на совместном заседании обеих палат парламента, он подчеркнул, что “все большее число людей испытывает отвращение к политике и политикам, которых они с полным на то правом обвиняют в неудачах последнего времени” [цит. по Shepherd 2000: 47]. Диагноз был точен: эпоха Клауса углубила разрыв между обществом и политической элитой, усилила их взаимное отчуждение.

В годы правления ОДС, с пренебрежением относившейся к инициативам “снизу”, развитие институтов гражданского общества оставалось вне заботы правительства. Но эти институты появлялись сами и начинали действовать. Так, в условиях ухудшения экономической ситуации более активными стали профсоюзы, возродились многие культурно-просветительские организации, оформилось экологическое движение. В то же время усиливавшаяся замкнутость политического класса, тесные связи части предпринимателей с коррумпированным чиновничеством, недостаточное внимание правительства Клауса к социальной политике способствовали росту разочарованности, распространению в обществе, с одной стороны, глубокого пессимизма, а с другой — озлобленности против “верхов”.

Такие настроения обусловили всплеск популярности антисистемно ориентированных сил: на выборах 1996 г. 10,3% чехов проголосовали за коммунистов, 8% — за ультраправую Республиканскую партию. Массовое недовольство крупными политическими партиями, их оторванностью от общества и пренебрежением его интересами проявилось и косвенным образом — в необычайно высокой популярности многопартийного переходного “правительства технократов” во главе с руководителем Национального банка Й.Тошовским*. Это правительство было сформировано в декабре 1997 г. при активном участии

* По данным опросов, в 1998 г. лично Тошовскому доверяли 84% граждан страны, деятельность его правительства одобряли 66% [Lidove noviny 6.12.2000].

президента Гавела и действовало до вплоть состоявшихся летом 1998 г. внеочередных парламентских выборов.

КОНЕЦ 90-х: “СПАСИБО, УХОДИТЕ!”

Лето 1998 г. ознаменовалось патовой ситуацией в политической жизни Чехии. На внеочередных парламентских выборах победу одержали социал-демократы, но полученных ими 32% голосов оказалось недостаточно для того, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Умело построенная электоральная кампания и харизма В.Клауса принесли его партии 27,7% голосов. В результате лидер ОДС, перспективы которого осенью 1997 г. выглядели весьма туманными, вновь стал одной из ключевых фигур в государстве.

Ситуация осложнялась тем, что социал-демократы не смогли договориться с более мелкими партиями о создании правящей коалиции: Уния свободы, а затем и Народная партия отвергли сотрудничество с левыми по идеологическим соображениям. Коалиция с коммунистами, набравшими 11% голосов, была невозможна для самой ЧССД, старательно создававшей себе имидж умеренной европейской левой партии. В результате был найден весьма оригинальный для бывших соцстран выход из положения: два главных соперника, ЧССД и ОДС, примирение между которыми еще недавно казалось абсолютно невозможным, заключили так наз. *оппозиционный договор* (*opozicni smlouva*). ОДС как ведущая оппозиционная партия соглашалась на создание социал-демократами правительства меньшинства в обмен на ключевые посты в парламенте. Кроме того, ОДС обещала не поднимать вопрос о доверии кабинету министров вплоть до окончания срока его полномочий. При этом обе партии брали на себя обязательство не вступать в коалиции с другими политическими силами и консультироваться друг с другом по важнейшим вопросам государственной политики [см., напр. Stroelein 1999].

В.Клаус и лидер ЧССД М.Земан, ставший благодаря полюбовной сделке с ОДС новым премьер-министром страны, наперебой расхваливали “оппозиционный договор” как гарантию политической стабильности на ближайшие несколько лет. Однако многие избиратели, поддержавшие на выборах одну из “больших” партий, почувствовали себя обманутыми. Действительно, нелегко было опровергнуть аргументы тех, кто увидел в нем циничное соглашение о разделе сфер влияния, обеспечившее социал-демократам всю полноту исполнительной, а гражданским демократам — законодательной власти*.

Хотя “оппозиционный договор” несомненно избавил страну от серьезных политических потрясений (по крайней мере, на какой-то срок), его заключение привело к дальнейшему отчуждению между правящей элитой и обществом и к определенной самоизоляции значительной части политического класса. Все или почти все важнейшие проблемы решались представителями двух правящих партий в кулуарах, тогда как остальным политическим образованиям, не говоря уже о рядовых гражданах, оставалось лишь наблюдать за происходящим со стороны. Неудивительно, что уже в 1999 г. в обществе стало нарастать раздражение против “оппозиционно-договорной” системы — несмотря на то, что ситуация в экономике начала улучшаться, выросли реальные доходы населения, заметно сократилась безработица. Ряд общественных деятелей, не связанных с политическими партиями, создали объединение “Импульс-99”, призванное стимулировать деятельность институтов гражданского общества и способствовать ликвидации “оппозиционного договора”. В декабре 1999 г. политическая активность граждан достигла в Чехии уровня, неви-

данного со времен “бархатной революции”: в Праге и других городах страны прошли многотысячные митинги протеста под лозунгом “Спасибо, уходите!” Их участники требовали отставки премьер-министра М.Земана, председателя палаты депутатов В.Клауса и всего руководства ЧССД и ОДС. Инициаторами выступлений стали бывшие лидеры студенческого движения 1989 г.

Акция “Спасибо, уходите!”, однако, не имела серьезных последствий. Ее организаторы сами оказались не готовы к столь широкой общественной поддержке и откровенно стусевались, услышав обращенные к ним требования создать “третью силу”, способную противостоять всевластию ЧССД и ОДС. Таким образом, перемен не последовало, и в конце 1999 г. один из ведущих чешских политологов, советник президента Гавела И.Пеге констатировал: “Политика в Чешской Республике стала бессмысленным ритуалом, набором политических комбинаций... Никто из ветеранов чешской политики десяти посткоммунистических лет не показал себя способным выработать новые идеи и концепции. Политика опустилась до уровня непрерывной борьбы за власть и личных нападков. Чешская Республика страдает от абсолютной неэффективности политической элиты” [Pehe 1999: 5].

Тенденции, характерные для политической жизни современной Чехии, отчетливо проявились в ходе состоявшихся в 2000 г. выборов в законодательные собрания краев и в верхнюю палату парламента (сенат). Во-первых, обнаружилось, что интерес избирателей к политике продолжает падать: в краевых выборах участвовали около 34% избирателей, во втором туре сенатских выборов — чуть более 20%; в некоторых округах активность избирателей составила лишь 12-13% [Tyden 2000]. Во-вторых, выяснилось, что, если у ОДС (которая сохранила свои позиции в сенате и набрала 28% голосов на краевом уровне) есть постоянные избиратели, главным образом из числа предпринимателей, интеллигенции и молодежи, то социал-демократы, судя по всему, не сумели обзавестись достаточным числом верных сторонников*. В-третьих, стало очевидным, что среди политически активных граждан усиливается недовольство “оппозиционно-договорной” системой. Именно этим, по-видимому, объясняется успех, с одной стороны, правоцентристской коалиции четырех небольших партий (Унии свободы, Народной партии, ОДА и Демократической унии), претендующей на роль “третьей силы”, а с другой — коммунистов, получивших на краевых выборах более 24% голосов.

По-видимому, предстоящие парламентские (2002 г.) и президентские (2003 г.) выборы станут началом нового этапа в политической истории Чехии, тем более что В.Гавел, согласно Конституции, теперь не вправе баллотироваться на пост главы государства. Учитывая, что лидер ЧССД уже заявил о своем скором уходе с должности председателя партии, можно с уверенностью сказать: через два года на политической сцене Чехии произойдут серьезные изменения. Вполне вероятно, что “оппозиционно-договорная” система не переживет ближайших выборов — особенно если социал-демократам вновь не удастся заручиться поддержкой сопоставимой с числом сторонников ОДС доли избирателей.

В то же время не вызывает сомнений, что победа противников двух крупнейших партий способна привести к относительной политической нестабильности. Основной политической силой, противостоящей как ЧССД, так и ОДС, является “коалиция четырех”, однако ее единство, похоже, не очень прочно. Между участниками коалиции, прежде всего между либеральной Унией свободы и умеренной Народной партией, существуют заметные расхождения по многим вопросам внутренней политики. Кроме того, она не располагает (во всяком случае пока) авторитетным лидером общенационального масштаба, что так же ставит под вопрос ее долгосрочные политические перспективы. Тем не

* Характерно, что при всех своих идеологических разногласиях ЧССД и ОДС в конце 1990-х годов неоднократно выступали единым фронтом по вопросам, связанным с дальнейшим перераспределением власти. Показательные примеры — реформа избирательных округов (в результате их укрупнения две ведущие партии получили преимущество перед остальными), а также попытка ЧССД и ОДС еще сильнее урезать и без того небольшие полномочия президента страны (в частности, активное и успешное лоббирование нового закона о Национальном банке, согласно которому председателя банка утверждает парламент, а не президент).

* Можно предположить, что успех ЧССД в 1996 и 1998 гг. объяснялся тем, что часть избирателей, негативно настроенных по отношению к В.Клаусу и его партии, воспринимала социал-демократов прежде всего как “анти-ОДС”. Заключение “оппозиционного договора” лишило левых имиджа непреклонных “антиклаусистов”, что и привело к их поражению.

менее большинство чешских аналитиков сходятся во мнении, что конец режима, сформировавшегося в 1998 г. в результате подписания "оппозиционного договора", придаст новый импульс политической жизни страны.

* * *

Итак, за годы посткоммунистической трансформации в Чехии созданы основы демократического государства, его партийной системы и институтов гражданского общества. Тем не менее нынешнее состояние всех этих структур не вызывает у самих чехов большого воодушевления.

Отчуждение между обществом и правящей элитой ведет к тому, что рядовые избиратели скептически оценивают цели, провозглашаемые политиками в качестве приоритетных. Иначе говоря, если Клаус (или Земан) считает, что хорошо бы сделать то-то и то-то, значительная часть населения страны будет а priori враждебно настроена к подобным мерам — просто потому, что они предлагаются творцами "оппозиционного договора".

Сложный ход переговоров о вступлении в Европейский Союз, неоднозначные и по большей части не слишком лестные оценки, которые дают эксперты ЕС состоянию экономики, законодательства, положению в области защиты прав человека в Центральной и Восточной Европе, вызывают у жителей региона ощущение собственной второсортности. Одновременно растет число "евроскептиков", считающих, что с интеграцией в ЕС не стоит торопиться, ибо она будет иметь для центральноевропейских стран отнюдь не только благоприятные последствия*. Для чехов, привыкших в эпоху Клауса к мысли о своей "продвинутости" по сравнению с бывшими соседями по соцлагерю, расставание с надеждами на быструю и относительно безболезненную интеграцию с Западом оказалось особенно горьким.

Распад Чехословакии (при всей своей, по выражению одного политолога, "пасторальности") означал конец идеи чехословакизма, существовавшей не один десяток лет. Она предполагала, с одной стороны, единство чехов и словаков (как выяснилось, иллюзорное), с другой — их уникальность как единственной в Центральной Европе группы славян, приверженных принципам демократии, противостоящих и агрессивному великогерманскому шовинизму, и интернациональному коммунизму, и панславизму, означавшему фактическое подчинение соответствующих народов русскому влиянию. Будучи государственной идеей первой Чехословацкой Республики, чехословакизм, потерпевший поражение после коммунистического переворота в 1948 г., возродился (в несколько ином виде) в 1989, но лишь для того, чтобы бесславно умереть три года спустя.

Идея чехословакизма поддерживала в чехах, всегда игравших в стране (и в "буржуазный", и в "социалистический" период) ведущую роль, чувство собственной исключительности, *самости*. Именно по этому чувству после 1993 г. и был нанесен сильнейший удар: новая Чехия превратилась всего лишь в одну из небольших и не очень благополучных стран, претендующих на вступление в будущем в клуб богатых и сильных — ЕС. Отсюда — неоднозначное отношение чехов к своему нынешнему государству. Б.Долежал называет его "шизофреническим", поскольку, как считает этот чешский публицист, большинство видит в сегодняшней Чешской Республике не непреходящую ценность, каковой, по логике, должно быть Отечество для любого народа, а "либо остаток прекрасной чехословацкой мечты, либо промежуточную станцию на пути к желанной Европе" [Lidove noviny 9.11.2000].

Очевидно, что для преодоления в Чехии кризиса массового сознания необходимы некие объединительные идеи, которые бы позволили народу почувствовать себя Народом. Вполне вероятно, что такие идеи будут рождаться в недрах гражданского общества и укореняться в массовом сознании по мере ухода со сцены политиков, определявших лицо страны на протяжении ее перво-

го посткоммунистического десятилетия, — политиков, которые, вне зависимости от декларируемых ими идеологических установок, в той или иной степени несут на себе груз той эпохи, когда Чехословакия и ее народы были не более чем заложниками в борьбе великих держав.

Важную роль в изживании кризисной психологии может сыграть и дальнейшая интеграция Чехии в общеевропейские структуры, стандарты которых сами по себе являются мощным фактором, стимулирующим укрепление демократического государства и развитие гражданского общества в центральноевропейском регионе.

Институты гражданского общества, сложившиеся к настоящему времени в Чехии, достаточно жизнеспособны, что еще раз доказал исход конфликта вокруг общественного телевидения Чехии в декабре 2000 — январе 2001 г. Масовые выступления в поддержку журналистского коллектива телевидения, выступившего против попыток ведущих партий навязать ему политически ангажированное руководство, показали, что апатия чешского общества и его разочарованность в собственных силах, в возможности реально повлиять на ситуацию в стране не так велики, как казалось. Однако у этого события есть и другая, менее приятная сторона: конфликт вокруг телевидения вновь продемонстрировал, насколько далеки от гармонии взаимоотношения власти и общества в Чехии — что, впрочем, характерно практически для всех бывших стран. Пока отношения между государством и институтами гражданского общества принимают почти исключительно форму конфликтов и столкновений, рано говорить о том, что процесс посткоммунистической трансформации близок к завершению. Выстраивание этих отношений на новых принципах, без издержек для граждан — дело непростое и продолжительное даже при самых благоприятных стартовых условиях.

Коровицына Н.В. 2000. Регион "догоняющей" модернизации: коммунистический и либерально-демократический опыт. — *Международный исторический журнал*, № 11.

Пречан В. 2000. Чехословакия на пути к демократической революции. — *Международный исторический журнал*, № 7.

Щербакова Ю. 2000. Политические силы чехословацкой революции. — *Международный исторический журнал*, № 7.

Blahoz J., Brokl L., Mansfeldova Z. 1999. Czech Political Parties and Cleavages after 1989. — *Cleavages, Parties and Voters. Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania*. Westport.

Havel V. 1992. *Open Letters. Selected Writings 1965 — 1990*. N.Y.

Havel V. 1999. A Crying Need for Intellectuals. — *The New Presence*, № 4.

Lidove noviny. 2000.

Novak M. 1999. Charakteristika polistopadoveho deni ocima politologa. — *Proglas*, № 10.

Pecka E. *Development of the Political Culture in the Czech Republic*. (<http://fmv.vse.cz/depts/krol/pecka.html>).

Pehe Y. 1999. A Year of Stagnation. — *The New Presence*, № 12.

Shepherd R. 2000. *Czechoslovakia: the Velvet Revolution and Beyond*. L.

Stroelein A. 1999. The Czech Republic 1992 to 1999: From Unintentional Political Birth to Prolonged Political Crisis. — *Central Europe Review*, № 12.

Sztompka P. 1993. Civilizational Incompetence: the Trap of Post-Communist Societies. — *Zeitschrift fur soziologie*, № 2.

* В Чехии к числу сторонников подобной точки зрения примкнул в последние годы и В.Клаус.

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОЭКОНОМИКИ

М.А. Шепелев, А.Т. Бариская, М.И. Шмелева

Общество постмодерна открывает эпоху доминирования геоэкономики. Планета постепенно распадается на отдельные геоэкономические зоны, вступающие в роли новых “сословий” глобального универсума. Развитие масштабных технологий активного перераспределения мирового дохода на основе взимания геоэкономических рентных платежей закрепляет неравновесное состояние мировой экономики. Такое состояние наблюдается во всей системе международного разделения труда и распределения доходов, что наиболее наглядно проявляется в феномене ценовых ножниц.

Страны, чьи социальные организмы не выдерживают растущего прессинга глобализма, деградируют, коррумпируются и разрушаются, фактически оказываясь во власти кланово-мафиозных структур управления — особого рода передаточного механизма, включающего потенциал этих стран в мировой хозяйственный оборот. Начинает действовать инволюционный механизм “трофейной экономики”, частично превращающий ее плоды в средства поддержания минимальных норм существования населения Глубокого Юга. Но львиная доля полученной таким путем сверхприбыли уходит на жизнеобеспечение и предметы роскоши для руководителей кланов и перемещается в сферу мирового спекулятивного капитала [см. Неклесса 2000].

Развиваются процессы “сращивания” цивилизационных и экономических механизмов в международной сфере. Современное мировое развитие заставляет рассматривать политику и экономику не изолированно, а в их теснейшем взаимодействии как между собой, так и с географической средой. Сферы военного и экономического соперничества переплетаются, что также расширяет рамки геоэкономики.

Перед нами открывается перспективная область исследований на стыках политической науки, экономики и науки о международных отношениях, хотя в понимании предмета и границ данной области знания еще нет полного единства. Например, К.Жан и П.Савона считают, что геоэкономика — это экономическая геополитика, т.е. пытаются интегрировать экономические понятия в политическую науку. Э.Люттвак видит в геоэкономике теоретическое обоснование государственной политики, нацеленной на победу в международном экономическом соревновании. По мнению Э.Г.Кочетова, в поле геоэкономики просматривается национальный стратегический интерес. Взгляды этого российского специалиста являются особенно показательными. Он стал автором первого в СНГ учебника по геоэкономике, причем ориентированного на практическую деятельность по разработке национальной стратегии развития. Его определение геоэкономики включает: “1) концептуальные воззрения, отражающие интерпретацию глобального мира через систему экономических атрибутов; 2) вынесенную за национальные рамки систему экономических атрибутов и экономических отношений, определяющих контур глобального экономического пространства, в котором разворачиваются мировые экономические процессы; выступает как симбиоз национальных экономик и государственных институтов, переплетение национальных и наднациональных экономических и государственных структур; 3) политологическую систему взглядов (концепцию), согласно которой политика государства зависит от экономиче-

ских факторов, оперирования на геоэкономическом атласе мира, включения национальных экономик и их хозяйственных субъектов в мировые интернационализированные воспроизводственные ядра (цепи) для участия в формировании и распределении мирового дохода” [Кочетов 1999: 12].

Приведенное определение едва ли может удовлетворить потребности формирующейся науки. И дело тут не только в содержащихся в нем внутренних противоречиях, но и в том, что оно загоняет геоэкономiku в “прокрустово ложе” новой монопарадигмы. Бесспорна приоритетность рассмотрения геоэкономических процессов в контексте тенденций глобального развития, но такое исключительно глобалистическое видение явно вредит декларируемой цивилизационной ориентации новой науки.

Известно, что фундаментальным методологическим принципом геоэкономики (как и геополитики) является рассмотрение предмета в разных масштабах, по примеру географов, отображающих местность на картах. Однако приведенное определение превращает геоэкономiku в некую экономическую глобалистику, одновременно сужая и расширяя предметное поле ее познавательного интереса. За рамками анализа оказывается многообразие пространственно обусловленных международных экономических процессов и ситуаций локального и регионального уровня. В то же время в поле зрения исследователя попадают проблемы, которые с натяжкой можно отнести к непосредственно геоэкономическим. Особое удивление вызывает предложение ориентировать геоэкономiku на выявление взаимосвязи национальных экономик и государственных институтов. Нельзя согласиться и с рассмотрением геоэкономики как политологической системы взглядов. Геоэкономика — не отрасль политологии, ибо в противном случае она должна была бы руководствоваться методологическими принципами политического детерминизма, т.е. рассматривать экономические процессы с точки зрения воздействия на них политических факторов, их политической обусловленности и политической природы, чего явно не наблюдается в концепции Э.Г.Кочетова.

Глобальное измерение — лишь одно из измерений геоэкономики. Ее необходимо рассматривать как многоуровневую систему экономических отношений в международном пространстве. Она есть вид экономического взаимодействия, определяемого территориальными интересами экономических субъектов и нацеленного на использование условий, возможностей, ресурсов пространства. В свою очередь, геоэкономическая наука — это отрасль экономической науки, изучающая процессы и результаты воздействия экономических субъектов, национальных и глобальной экономик на международное пространство с целью его использования в своих экономических интересах. В неразрывной связи с геополитикой, геоэкологией и геокультурологией геоэкономика формирует новую систему геосоциальных наук.

В этом смысле особое значение приобретает цивилизационное измерение геоэкономики. Цивилизация понимается здесь как ограниченное во времени и пространстве и специфическое по своему выражению историческое образование, сложившееся в результате территориальной, экономической и духовной общности развития. Э.Г.Кочетов в качестве стратегически важной научной задачи обоснованно рассматривает “прояснение цивилизационной модели, в рамках которой будет формироваться траектория глобального развития” [Кочетов 1999: 270]. Однако его идея о неэкономической цивилизационной модели, выдержанная в классическом духе техноэкономического центризма, на деле оказывается малопродуктивной. Автор формулирует исключительно интересные, ценные выводы и рекомендации в отношении современных тенденций и стратегических ориентиров экономического развития, но они упираются в одну проблему: утверждается, что “геоэкономика уже давно оттеснила геополитику на второй план” [Кочетов 1999: 242]. Между тем эффективность геоэкономического анализа и стратегии определяется в первую очередь их ориентацией на геополитические факторы. Принизание значения геополитики негативно сказывается также на продуктивных возможностях геоэкономической науки и практики в контексте цивилизационных процессов современности.

Чтобы получить объемную картину исследуемых процессов, нужно рассматривать политическую сферу во взаимодействии с ресурсными и пространственно-географическими факторами. Вместе с тем результирующий синтез трех этих параметров оказывается плодотворным лишь при включении в рассмотрение четвертого — эволюционного усложнения политической системы. Иными словами, геоэкономика изучает не все пространственно-географические факторы, которые задают поведение политических систем, а прежде всего те из них, что прямо влияют на выбор данной политической системой того или иного пути эволюции. Последний и является базой для определения мирового политического и экономического пространства в качестве сложной многомерной системы с различными центрами политической силы, которые одновременно выступают как центры экономические. Каждый такой центр и есть “ядро” какой-либо цивилизации (США, Россия, Япония, Китай) или ее ветви.

Цивилизация в некотором смысле представляет собой качественную специфику крупномасштабного общества с присущим ему своеобразием социальной и духовной жизни, его базовыми ценностями и регулируемыми принципами жизнестроения, т.е. самобытностью, формируемой опытом исторического развития и становящейся основой его самосознания и установления отличий от других обществ. Самобытность, выражая нечто общее, сущностное для данного общества при всех его внутренних различиях, обуславливает единство личности и коллектива, стремление социума к устойчивости, интеграции и гармонизации. Обладая этими чертами, цивилизация привносит плюрализм в мировой исторический процесс, отчасти совпадая с мировыми религиями как целостными системами социокультурной регуляции. Собственно, именно в самобытности, составляющей жизненное ядро культуры, сегодня можно усмотреть один из движущих факторов истории, благодаря которому осуществляется самостоятельное развитие обществ. В основании цивилизации как завершенной попытки наднациональной культуры лежат универсальные ценности (выраженные в мировых религиях, системах морали, права, искусстве), которые сочетаются с комплексом практических и духовных знаний и разработанными символическими системами, способствующими преодолению локальной замкнутости.

Цивилизация является интегрированной социокультурной общностью, хотя степень интеграции ее составных частей может быть различной и изменяться с течением времени. Основой цивилизации выступает система верований, вырастающая из традиции и нацеленная на устройство общества. Именно в духовных принципах выражается сущность цивилизации, а ее движение в пространстве и времени осуществляется посредством распространения духовных достижений. Глубинный механизм цивилизации заключается в признании и сохранении устоявшихся ценностей. Любые изменения должны быть приведены в соответствие с устоявшимися традициями, те же нововведения, которые эти традиции игнорируют, вероятнее всего будут отвергнуты.

Огромный адаптивно-ассимиляционный потенциал цивилизаций, их влияние на обширные, дифференцированные в этнокультурном отношении территории, собственная культурная пластичность в сочетании с устойчивостью к внешним воздействиям позволяют рассматривать их как основу и одновременно — эффективный механизм пространственно-временного социокультурного взаимодействия. Как отмечает А.С.Панарин, “развитию благоприятствуют большие цивилизованные пространства, не разделенные племенными барьерами; морской завоеватель заинтересован в предельном дроблении больших пространств и провоцировании племенной розни (разделяй и властвуй)” [Панарин 1999: 222].

Каждый центр цивилизации является также ведущим региональным лидером. Так, США — политический и экономический лидер западного полушария, Россия доминирует почти во всем постсоветском пространстве и т.д. Этим, в частности, определяется то, что понятия “геоэкономика” и “цивилизация” имеют точки соприкосновения. Иными словами, утвердившееся за последнее

столетие понимание цивилизационного развития как взаимодействия устойчивых культурно-исторических типов общества (Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби) есть важное условие геоэкономического подхода.

Цивилизации талассократические (Запад, Япония) существенно отличаются от континентальных (Россия, Китай) как своими политическими, так и экономическими параметрами. Для первых характерен органичный переход к модернизации, емкий рынок, выраженная политическая открытость, стремление к повсеместному распространению собственного политического, экономического порядка в качестве универсального, применимого даже к чужеродной цивилизационной основе; для вторых — неорганичный, проблемный, затянутый переход к модернизации, вмешательство нелиберального государства в экономику. И даже вступая в период своего расцвета на путь борьбы за мировое господство, континентальные цивилизации реально ограничены геополитическим ареалом, определенным их цивилизационной основой, имперской предысторией.

Приведенные выше различия двух типов цивилизаций обуславливают их противостояние. На современном этапе оно выливается в “геоэкономические войны”, т.е. в борьбу не вооруженными силами, а с помощью высоких геоэкономических технологий, среди которых — тщательно скрывающиеся механизмы перекачивания национального и мирового дохода и разрушения национальных инфраструктур. США стремятся ныне посредством управляемых региональных конфликтов и других рычагов воздействия выстроить вертикаль по оси Балканы — Сынцзян с целью предупредить создание антиатлантического континентального блока с участием России, Китая, Индии и других государств, чье мировидение отличается растущим неприятием однополярного гегемонизма, системы международной безопасности лишь для “своих”.

Главную геоэкономическую угрозу цивилизационной безопасности Средней Евразии представляет геоэкономическая экспансия Запада. Она нацелена на реализацию его интересов и продвижение его ценностей путем использования геоэкономических атрибутов (интернационализированных воспроизводственных циклов, мирового дохода, новых товарных форм и структур, ярусности мирового рынка, высоких геоэкономических технологий, экономических границ, геоэкономических войн и т.д.), насаждения техногенных инфраструктур в мировом пространстве. Средством осуществления указанной экспансии является военно-экономический симбиоз, т.е. вплетение военных компонентов в геоэкономические системы. Геополитические интересы Запада призвана защищать военная машина НАТО. Названный симбиоз делает все менее ощутимой грань между геоэкономическим и геополитическим воздействием и прямым силовым вмешательством.

Государства славянско(русско)-православной цивилизации (Средней Евразии), в т.ч. Украина, стали объектами геоэкономической войны, направленной на разрушение их инфраструктур. В этой войне на службу ставится стратегия “непрямых действий”: развивается своего рода геоэкономическая “вирусология” (перелив мирового дохода, кредитный удар, подрыв финансовой системы и т.д.).

США, как и другие передовые в экономическом и технологическом отношении государства, осознают, что их национальные ресурсы ограничены, но тем не менее не желают расставаться с обретенным статусом и потому переходят к мобилизации богатств других стран для обеспечения собственного развития. Потенциал всей планеты “подстраивается” под потребности и интересы определенного числа субъектов [см. напр. Косолапов 2000]. В этих целях используются и военно-экономический фактор, (“нависание” над ресурсными очагами глобального развития — Персидский залив, Каспийский регион и т.д.), и чисто силовые методы.

Функционирует механизм, направленный на деморализацию, дестабилизацию “континентальной” цивилизации. Политика США в Восточной Европе в последнее десятилетие положила начало продвижению по оси Балканы —

УКРАИНА И РОССИЯ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОТРУДНИЧЕСТВА

С.В. Пронин

Синьцзян. Воздействие на ход модернизации/вестернизации в странах данного ареала осуществляется с помощью экономического и политического манипулирования при широком использовании международных институтов как проводников влияния США там, где оно пока слабо или просто отсутствует. Наиболее рельефно результаты политики США по отношению к Восточной Европе проявились в Югославии: там дестабилизирована обстановка, деморализована часть населения, создавалась конфронтационная среда на базе территориально-этнических проблем, возникли безусловно слабые государственные образования.

Стратегически важной точкой соприкосновения интересов талассократических и континентальных цивилизаций является Украина, которой было четко указано ее место в мире. Многие факты говорят о том, что США крайне заинтересованы в “разводе” Украины с Россией. При этом Вашингтон отнюдь не стремится к выстраиванию полноценных отношений с Украиной, к предоставлению ей четких гарантий безопасности.

Одним из шагов, направленных на противопоставление Украины России, стало создание “консультативной группы” ГУУАМ, которая рассматривается на Западе как “контр-СНГ”. На первом этапе в эту организацию входили Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, т.е. страны, которые составляют “пояс”, обрамляющий Российскую Федерацию с запада и юга, а в октябре 1999 г. (во время празднования 50-летия НАТО в Вашингтоне) к ним присоединился Узбекистан.

США утверждают, что их интересы в регионах к югу от РФ (речь идет в основном о Закавказье) определяются наличием там “жизненно важных” для западной экономики запасов нефти и газа. Но исследования авторитетных британских специалистов указывают на то, что американские оценки месторождений каспийской нефти и газа явно преувеличены: в этом регионе находятся только 2% мировых запасов нефти и газа, т.е. в 30 раз меньше, чем в Персидском заливе. Не является ли выдвижение на первый план проблемы энергетической безопасности ширмой для политического дирижизма, раскола континентального мира, построения американоцентристского миропорядка?

Э.Г. Кочетов говорит о стремительно набирающем силу процессе экономизации политики, однако множество примеров свидетельствуют об обратном — о *растущей политизации экономики*. При этом речь идет не о новой тенденции, а о неотъемлемой части процесса международного развития последнего (как минимум) столетия. Сегодняшний мир представляет собой геэкономически неуравновешенную систему, для которой характерны попытки одной из цивилизаций, декларирующей свою “эталонность”, подорвать существовавшее ранее относительное геэкономическое равновесие. Причем страны континентальной цивилизации стремятся, формулируя свои национальные интересы и намечая интеграционные альянсы, сохранить собственную геэкономическую “память”.

Растущая политизация экономической деятельности в глобальном масштабе ставит в повестку дня вопрос о необходимости приоритетной разработки обширного комплекса теоретических и практических проблем, связанных с геэкономическими аспектами цивилизационной безопасности.

Косолапов Н. 2000. — *Pro et Contra*, № 2.

Кочетов Э.Г. 1999. *Геэкономикс (Освоение мирового экономического пространства)*. М.

Некlessа А. 2000. Реквием XX веку. — *МЭиМО*, № 2.

Панарин А.С. 1999. *Глобальное политическое прогнозирование в условиях стратегической нестабильности*. М.

Проблемный комплекс, какой таит в себе тематика отношений России и Украины, в последние годы интерпретировался в средствах массовой информации, в политических и даже академических, научно-аналитических кругах преимущественно в свете чрезвычайной остроты текущих проблем завершающего века десятилетия. Это и не удивительно, если учесть, что обе страны, проходя первый этап суверенизации и находясь в связи с этим на переломе эволюции внутренних структур и самих закономерностей развития, переживали еще и процесс сложной адаптации к принципиально новым условиям внешней — политической и экономической — среды своего исторического существования.

Между тем, однако, актуальность проблемы взаимоотношений двух крупных суверенных держав современности, в частности проблемы форм, а также степени интенсивности их взаимосвязей, определяется отнюдь не только ее остротой применительно к злободневным аспектам и даже не только ее судьбоносностью для самих России и Украины. Это проблема огромной важности также и для перспектив всестороннего прогресса всего евроазиатского региона и — более того — формирования устойчивой, как можно менее конфликтной многополярной геополитической и геэкономической модели мира.

В мире, преодолевшем рубеж очередного тысячелетия, уже просматриваются признаки предстоящего завершения периода “бури и натиска” 1990-х годов, связанного со взрывом информационных технологий, с исчезновением противостояния двух социально-экономических формаций (и, соответственно, глобальных военно-политических блоков), с распадом СССР, с нарастанием интенсивности процессов регионализации и глобализации.

Пусть пока еще во всей очевидности сохраняется система параллельного формирования шести региональных блоков, а именно: 1) США — Северная Америка — Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА); 2) Западная Европа — Европейское Сообщество; 3) Россия — Украина — страны СНГ; 4) в гордом одиночестве — Китай; 5) Япония и связанные с ней страны Юго-Восточной Азии; 6) наконец, страны “мусульманского мира”. Но не менее очевидной представляется перспектива ближайших двух-трех десятилетий XXI в., когда существенно ослабеет экономическая и политическая роль доллара, ныне вытекающая из его лидерства в кредитно-денежной системе мировой экономики, начнут усиливаться реальные экономические, социокультурные, политические связи региональных блоков и соответствующие структуры многополярного мира.

Вот почему в ходе анализа взаимоотношений отдельных стран — в данном случае России и Украины — глубокое постижение тенденций их динамики необходимо предполагает совмещение двух или даже трех планов исследования: наряду с проблемами конъюнктурного и ретроспективного плана требуется акцентируемый анализ проблем обозримой перспективы и, в частности, конкретных экономических, технологических, социокультурных предпосылок всесторонних региональных взаимосвязей.

Исходя из такой исследовательской перспективы, следует признать обнадеживающим достижением в научно-аналитической сфере появление книги Р.Я.Евзерова*.

ПРОНИН Сергей Васильевич, доктор экономических наук, зам. директора Института сравнительной политологии РАН.

* Евзеров Р.Я. *Украина: с Россией вместе или врозь?* М.: Весь мир, 2000. 160 с.

Обращает на себя внимание уже сам тот факт, что к общественному процессу обсуждения проблем российско-украинских отношений подключается историк с немалым опытом исследовательской работы в области социологии и сравнительной политологии, а не политический деятель или функционер какого-либо корпоративного клана: тем обычно бывают свойственны подчеркнута узкая ориентированность на доказательство обоснованности именно их “партийных” позиций и соответствующая эмоциональность, ограничивающая поле видения рассматриваемых проблем. В рецензируемой же работе преобладает методология “системного анализа”, требующая, чтобы учитывалось как явное, так и латентное, как решающее, так и второстепенное влияние многих факторов и условий.

Достоинством книги Р.Я.Евзерова, далее, можно считать максимальное использование именно текущего, конъюнктурного, реального материала конца 90-х годов, воспроизводящего социально-экономическую и политическую картину внутренних процессов общественного развития Украины и сообщаемого работе неоспоримую актуальность. Такой подход, осуществляемый не только в ракурсе текущих событий и “локальных” перспектив, но и с охватом перспектив глобального и общечивилизационного значения, придает публикации весомую доказательность, поскольку при этом происходит интеграция многомерной реальности, с достаточной наглядностью учитываются сложные и динамично развивающиеся взаимозависимости, раскрываемые анализом сверхсистемы Украина — Россия — Европа — мир XXI в. Весьма уместным оказывается в данной связи применение автором своих специализированных знаний “евразийской” тематики, когда на раскрытие проблемы “работает” глубокое понимание специфики политических процессов России, региональной роли концепции и конструкции СНГ и, конечно, уже отмеченной выше конкретики украинских явлений.

Автор неоднократно, по разным поводам подчеркивает или дает понять (и из этого исходит в собственной трактовке вопроса), что трактовать самый вопрос: “вместе или врозь?” — имеет смысл лишь в освобожденном от идеологизации и политизации виде, дабы не заслонить реальных сложностей самоидентификации Украины. Но именно для этого в книге прослеживается в наиболее существенных моментах реальная история самого вопроса, неотделимая от реальной истории его идеологизации и политизации в связи с предпочтением одного или другого “варианта”. Причем показывается неизбежная неоднозначность любого из самих этих “вариантов”, говорящая о том, что через эти идеологизированные и/или политизированные варианты ответа на сакраментальный вопрос пробивает себе дорогу осуществляемый на основе украинско-российского сотрудничества процесс самоидентификации Украины. В то же время ни в одном из оных вариантов самих по себе не находит долговременной реализации этот исторический процесс, который, однако же, донныне продолжает идти. В культурологическом срезе, например, это наглядно иллюстрируется хотя бы историей русификации-украинизации, в т.ч. в советский (да и постсоветский) период.

Когда поставленный в заглавии книги вопрос — в ходе, как уже об этом говорилось, собственной своей “истории” — конкретизируется, “идеологизированно” дополняясь вопросом “куда? в направлении Европы или Евразии?”, — это мультиплицирует варианты ответа, ибо сам он может трактоваться в различных вариантах. Пример: “вместе ли с Россией в составе Европы, Запада? или же вместе, но — в Евразии?” Или: “прочь ли от России — в Европу, на Запад? или же от России прочь, но — в составе Европы, Запада?” и т.д., и т.п. При этом вопрос буквально “упирается” в проблему трактовки самого термина “Европа”, на поверку оказывающегося неопределенным, изменчивым — историчным. Распутыванию данного клубка разноплановых проблем в книге уделено самое пристальное внимание.

Специально озабочился автор и тем, чтобы уйти от произвольной, безбрежной, абсолютной, категоричной и, следовательно, абстрактной трактовки са-

мих понятий “вместе” и “врозь”. Так, различные варианты взаимодействия, сотрудничества Украины с Россией, воплощенные в понятии “вместе”, жестко ограничены, согласно позиции автора, обязательностью ее особого, независимого, суверенного существования и развития, каковое, таким образом, само по себе вовсе не означает “врозь”. Понятие “врозь”, как оно трактуется в книге, также отнюдь не предполагает ни противостояния, ни параллельного существования и движения, что и невозможно в современных условиях. “Врозь” рассматривается в книге как “всевозможное обособление от России и всего российского сверх необходимого для нормального функционирования независимого суверенного украинского государства”, как “всяческое ограничение взаимодействия и сотрудничества или лишь их имитация, стремление нарушить взаимовыгодность, партнерство в отношениях с Россией, нарушить исторические традиции взаимодействия народов” (с.3-4).

На основе таким образом трактуемого содержания понятий, вынесенных в заглавие книги, в ней рассмотрены объективные и субъективные факторы сотрудничества Украины с Россией. Первый из двух разделов (“Украина и Россия: реалии местоположения и экономики”) посвящен геополитическим и геэкономическим проблемам, соотношению и взаимоотношениям экономик двух стран. Отмечается высокая степень экономической интегрированности, в т.ч. взаимозависимость обеих стран по линии военно-промышленного комплекса, где сотрудничество способно стимулировать развитие научно-технического потенциала обеих стран. В качестве обстоятельства, ныне объективно благоприятствующих наращиванию Украиной экономических связей с Россией, указываются ненасыщенность российского рынка, его территориальная близость, относительно невысокая требовательность, отсутствие языкового барьера. Во втором разделе (“Украина: мысли, решения, действия руководства, элиты, населения”) затрагиваются проблемы взаимодействия Украины и России в СНГ, отражение вопросов сотрудничества двух стран в общественном мнении Украины, влияние идеологизации и политизации проблем взаимодействия на их состояние и перспективы решения.

С большой степенью уверенности можно предположить, что книга окажется “первой ласточкой” именно таких системных и перспективно-ориентированных аналитических разработок, какие в ближайшие годы будут жизненно необходимы и, соответственно, востребованы в политических кругах России и Украины, поскольку именно на основе системного анализа подобного типа можно будет конструктивно, партнерски, к взаимной выгоде решать накопившиеся проблемы. Можно будет “идти вперед”, т.е. вырабатывать совместную стратегию активизации “пятого” — информационного, технологического уклада в обеих странах и выведения их из ситуации социально-демографического кризиса. Фактор синергетического эффекта, обеспечивающего дополнительный прирост эффективности двух рационально кооперированных экономических или социально-политических субъектов — т.е., в рассматриваемом варианте, России и Украины — начнет вновь проявлять свою силу. Ведь даже в условиях консервативной советской системы кооперативный союз двух стран позволял СССР поддерживать информационный технологический уклад на уровне ведущих западноевропейских стран, уступая в мире только США и Японии. Равным образом и ныне рациональная и динамично-ориентированная социально-экономическая и политическая кооперация России и Украины также позволит им на достойных условиях активизировать процесс интеграции с Западной Европой и иметь необходимые конкурентно-партнерские отношения с остальными блоками и центрами силы в многополярном мире.

Поистине, даже сейчас, когда система кооперации еще только складывается в процессе пересмотра устарелых интерпретаций постулатов “суверенизации” в условиях глобализации, уже нащупываются решения многих текущих проблем двусторонних связей. Как подчеркнул, например, в конце истекшего года руководитель железнодорожной отрасли Украины Г.Кирпа, всестороннее партнерство и прямое сотрудничество этих отраслей России и Украины “ва-

имовыгодно” и “необходимо”. В октябре на встрече президентов двух стран удалось найти взаимоприемлемое решение по оплате поставок газа из России на Украину с участием России в приватизации и модернизации украинской газотранспортной системы.

В обозримой перспективе начавшегося десятилетия нового века на характер взаимосвязей России и Украины в решающей мере будут влиять геополитические и геоэкономические приоритеты ведущих политических сил обеих стран, а также и нынешних “гегемонов” западного мира, т.е. США и Европейского сообщества в целом.

Относительно России и Украины можно с достаточной уверенностью предположить, что российская политическая элита в лице президентской команды и основной части политического спектра, продолжая стратегию возобновления экономического роста и укрепления вертикали исполнительной и законодательной власти в России, сможет более убедительно, чем это делалось в последние годы, проводить политику реальной взаимовыгодной хозяйственной интеграции как на двусторонней основе, так и в рамках треугольника Россия — Белоруссия — Украина, а также в рамках СНГ. Начало было положено переговорами по проблеме экспорта российского газа, состоявшимися между президентами России и Украины в Сочи в октябре прошедшего года, декабрьское соглашение о сохранении специализации ряда предприятий ВПК, позволяющее продвинуть их кооперацию. В том же духе можно интерпретировать и неоднозначные официальные заявления украинского МИДа о “выравнивании” отношений с Россией, о совмещении “бизнес-интересов” на территории обеих стран и т.д. (см. *Независимая газета* 2000, 22.XI: 5). К разразившемуся в середине декабря так наз. “кучмагейту”, т.е. к попытке как левых, так и правых экстремистских сил выразить свою неудовлетворенность в известной мере “центристской” внешнеполитической линией президента Кучмы, следует, по всей видимости, отнестись спокойно. Судя по быстрому спаду этой кампании конца прошедшего года (как и по бесплодности предпринимавшихся уже в нынешнем году попыток ее оживления), сдвига “вправо” в политических приоритетах Украины все же не произойдет (*Независимая газета* 2000, 27.XII: 5) и процесс “выравнивания” может продолжиться.

Что касается геополитических позиций США, имеющих отношение к обсуждаемому вопросу, то состоявшиеся там президентские выборы, закончившиеся победой Буша, свидетельствуют о том, что эпоха, когда наиболее конфронтационно настроенные круги на Западе в проведении своей политики активно опирались на фактор внутренней “дезинтеграции” их восточных конкурентов, подходит к концу. Даже антироссийским силам во всех странах бывшего “социалистического лагеря”, включая нынешних наследников бандеровщины на Украине, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что опора на геополитические интересы США и НАТО практически ничего не дает. Ни экономическое развитие, ни социокультурный прогресс Украины и подобных ей стран не являются существенными заботами для западной геополитики. Последнюю интересует только способность того или иного антироссийского “фактора” нанести некий ущерб принципиальному противнику, в обмен за эту “услугу” получая условия “равного” партнерства в зоне слабо-развитой периферии. Бесперспективность управления геополитическими процессами с помощью механизмов “агентов влияния” быстрее осознают не столько сами эти “агенты”, сколько их внешнеполитические патроны, о чем в некоторой мере свидетельствует проявляемая в политических кругах США склонность в расчете на перспективу полагаться скорее на традиционные средства экономического и внешнеполитического давления, чем на внутриполитические потенции их “идеологических” союзников.

Аналогичная ситуация складывается по линии перспектив Украина — Европейский Союз. Как отмечали наблюдатели, во время пребывания нынешнего министра иностранных дел Украины А.Зленко в конце 90-х годов во Франции в качестве посла, в период “наибольшей дипломатической активности

Киева в западном направлении, когда... реверансы ЕС, и особенно НАТО, делались все ниже...”, было очевидно, что “Украину с ее нынешним состоянием экономики и политической культуры в европейских структурах не ждут” (см. *Независимая газета* 2000, 22.XI: 5).

Характерно, что из многочисленных научно-аналитических конференций ЕС, проведенных в течение 2000 г., об Украине заходила речь, причем в весьма критических тонах, лишь на одной — на июльской конференции в Галле, посвященной финансовому кризису в “странах с переходной экономикой” [EACES (Budapest) 2000, № 21: 4-5].

Важно также иметь в виду, что Западная Европа перед лицом “вызовов глобализации” с большей тщательностью, чем другие региональные блоки, продумывает меры защиты от негативных последствий глобализации в ее экономических, демографических, экологических и политических проявлениях. Как отмечают эксперты, “западноевропейская социально-экономическая модель... по-видимому, исчерпала себя и нуждается в серьезной модификации”; важнейшим средством подобного рода модификации, по их мнению, станет “введение единой валюты — евро”. Формирование такого европейского торгово-экономического блока, конкурентного по отношению к американскому и восточно-азиатскому, потребует дополнительной рабочей силы, что приведет к усилению в Европе ксенофобии, “ультранационализма”, конкурентности рабочей силы [см. Шишков Ю. 2000. Европа и процессы глобализации экономики. — *Современная Европа*, №1: 38-47]. Нет необходимости пространно доказывать, что в этих условиях надежды украинских западников на автоматическую и взаимовыгодную интеграцию Украины в ЕС столь же эфемерны, как и надежды на социально-экономический подъем на базе проамерикански ориентированной русофобии.

В конечном итоге рационально мыслящие и национально-ориентированные политические силы как Украины, так и России самой логикой геополитических и геоэкономических тенденций подталкиваются к идее необходимости “многополярного мира” и таких его как бы *естественноисторических* составляющих, как евроазиатский политический и торгово-экономический суперблок, стержнем которого является “триумvirат” Россия — Украина — Беларусь. И если взаимодействие “конъюнктуры” и “перспективы”, системного видения глобально-региональных реалий возобладает в политической стратегии России и Украины, то этому региональному центру силы, с учетом Белоруссии представляющему 210 млн. населения, этому региону, имеющему огромный потенциал “ноосферной” рабочей силы, технологических разработок и природно-сырьевых запасов и превосходящему по этим параметрам такие нынешние “мировые эталоны”, как Япония и др., стратегический успех — можно с уверенностью сказать — будет обеспечен.

БЕЛОРУССИЯ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ

Об опыте системного исследования

Д.М. Фельдман

Общепризнанное важное значение тех процессов, которые определяют союз России и Белоруссии, составляя его внутреннюю основу, должно было бы, по логике вещей, находить отражение в соответствующем уровне концентрации внимания науки на этих процессах, в их глубоком и всестороннем исследовании. Ибо, в самом деле, актуальность данной темы столь высоко и притом однозначно оценивается отечественной политической наукой и политической практикой, что не нуждается ни в дополнительном обосновании, ни в очередном подтверждении. Между тем, однако, приходится констатировать слабую разработанность этой проблематики нашей политической наукой. Положение к тому же усугубляется высокой степенью ее (проблематики) идеологизированности. В итоге нередко, встречаясь с теми или иными оценками, не можешь до конца разобраться, чем они обусловлены: то ли в самом деле результатом поиска научной истины, то ли, скорее, геополитическими реалиями, национально-государственными интересами Российской Федерации либо Республики Беларусь, то ли партийными позициями, то ли частными клановыми предпочтениями, то ли, наконец, эклектической смесью всего перечисленного.

К.Е. Коктыш в своей книге о трансформации политического режима в Белоруссии на рубеже и на всем протяжении 1990-х годов* с самого начала стремится уйти от всякой подобного рода неопределенности, двусмысленности либо предвзятости, вольной или невольной, для чего целенаправленно использует методологию системного исследования — не только вполне пригодную, но и наиболее эффективную при анализе многообразных перипетий политической трансформации.

Сознательное, последовательное проведение системного анализа позволило использовать в работе более или менее корректные (но в любом случае предполагающие рациональную проверку и критику!) критерии оценки изменений социально-политической системы Белоруссии. Избранный подход помог автору в определении как белорусской специфики трансформации политического режима, ее истоков и детерминаций, так и соотношения собственно белорусских и общесоветских тенденций и движущих сил системного кризиса общества после “реального социализма”. При этом удалось выявить и проследить взаимосвязь трансформации политического режима в РБ с ходом российско-белорусской интеграции, реальную роль Белоруссии в российской внутриполитической жизни, в международных отношениях на постсоветском пространстве и на мировой арене.

Отмечая, что БССР являлась “самой советской” из всех советских республик, К.Е. Коктыш в дополнение к этому утверждает, что в СССР не было другой республики, столь сильно — уже в силу самой структуры своей экономики — заинтересованной в сохранении существующей системы. Поэтому и задачи реконструкции — в понимании белорусской элиты, как и некоторых других местных элит — по сути дела сводились к дистанцированию от “так называемого центра” и попыткам “совершенствования и повышения роли человеческого фактора”. На практике это означало усиливающийся консерватизм

власти (что не исключало, а скорее предполагало частичную ротацию и вербальный макияж руководящих лиц) в сочетании “с укреплением трудовой и исполнительской дисциплины и борьбой с негативными проявлениями” на местах. Руководство вполне благополучной по советскому счету Белоруссии — она занимала первое место в СССР по показателю национального дохода на душу населения — для сохранения политической стабильности в ходе перестройки израсходовало имеющийся запас прочности, неукоснительно выполняя обязательства по социальным гарантиям, продолжая финансовые вливания в сельское хозяйство и т.д. Социально-политической стабильности в обществе в громадной степени способствовал и тот факт, что процесс самоидентификации независимой Белоруссии в силу ее фактической русскоязычности не сопровождался проявлением сколько-нибудь массовых и сколько-либо глубоко укорененных антирусских или антироссийских настроений. Белорусский Национальный Фронт, сформировавшийся на национально-лингвистическо-культурной почве, так и не смог придать своим программным требованиям форму массового социального протеста.

Автор монографии показывает, что в центр политической деятельности Фронт поставил борьбу за восстановление и укрепление позиций белорусского языка при общей декларативности и невнятности своих социально-экономических требований. Правительство же, напротив, сохраняя почти полное равнодушие к проблеме национального языка, отчетливо формулировало стремление если не к восстановлению советской экономики в полном масштабе, то к реанимации распадающихся хозяйственных связей, сосредоточивая свои политические усилия на преодолении обостряющихся экономических трудностей. Отсюда “неизбежная виртуализация политической борьбы, по существу шедшей как бой с тенью, ее отрыв от реальности и вытекающее отсюда отчуждение от общества, когда в итоге исходом этой борьбы не интересовалась подавляющая часть граждан Беларуси” (с.43).

Если для внутриполитической жизни Белоруссии в первые годы ее независимости были характерны сосуществование разнородных мифологем и, соответственно, мифологизация политической борьбы, то во внешней и военной политике, как отмечается в книге, вполне отчетливо просматривалось едва ли не общенациональное согласие по конкретным и жизненно важным вопросам. Провозглашение республики территорией, свободной от ядерного оружия, поддерживали 90,8% населения против 4,2%; отказ участвовать в военных блоках, в т.ч. с государствами СНГ, одобряли 74,6% против 11,1%; за установление прямых дипломатических отношений с различными государствами выступали 86,7% против 3,5%, за создание национальных вооруженных сил — 74,6% против 8% и т.д. (см. с.68).

Внешнеполитическое сотрудничество РБ с Россией оказалось гораздо теснее связано со сферой экономики, нежели внутренней политики. Поиски союза с Россией явились своего рода “концентрированным выражением” компенсации убыточности дорыночной белорусской экономики, в стоимостном выражении потреблявшей больше, чем производившей. Показывая, что экономика Белоруссии по существу дотировалась Россией путем поставок ресурсов по ценам значительно ниже мировых, автор скорее подтверждает, чем опровергает взаимовыгодность “в целом” подобных экономических отношений, позволявших ценой ресурсных затрат получать политические дивиденды для властей наших стран. Это видно уже из того, что дальнейшее развитие этих отношений под лозунгом создания интеграционного объединения РФ и РБ было “не только в интересах белорусского правительства, таким образом компенсировавшего и реабилитировавшего свою неспособность развивать экономическую систему, но и в интересах российских политических акторов, вводивших в российское политическое поле хоть какое-то позитивное и неоспариваемое целеполагание” (с.56-57).

Население “самой советской из советских республик” в полной мере испытало на себе все катаклизмы истории СССР. Как известно, каждый пятый жи-

ФЕЛЬДМАН Дмитрий Михайлович, доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова.

* Коктыш К.Е. *Трансформация политического режима в Республике Беларусь. 1990-1999.* М.: МОНФ, 2000. 188 с.

гелии Белоруссии был репрессирован в 1937 — 1941 гг., каждый четвертый погиб в период немецко-фашистской оккупации, а каждый третий был облучен в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В условиях существенно снизившегося к 1994 г. уровня жизни оно оказалось весьма восприимчиво к идеям революционно-социалистического populизма, выражаемых в лозунге “восстановления СССР и справедливости”. Тяга к наиболее короткому, простому и очевидному решению проблем нашла свое воплощение и в избрании президентом РБ А.Г.Лукашенко. Можно, пусть и с оговорками, согласиться с тем, что “победила самая простая и некорректная трактовка действительности” (с.84). Но трудно согласиться с тем, что действовавшие до сих пор политические акторы были обречены на исчезновение, а в “белорусском политическом поле остался единственный игрок, воплощавший чаяния революционизировавшегося крестьянского слоя и пожилого населения — Президент Александр Григорьевич Лукашенко” (там же).

Представляется, что подобные утверждения сами несут на себе отпечаток той “простоты”, которая так претит автору. И проявляется это даже не столько во вполне традиционном поиске персонифицированного воплощения зла с последующей демонизацией отдельно взятой личности. Суть дела, скорее, в допущенном на этот раз уже им самим неправомерном упрощении реальной картины политических ожиданий белорусского общества. Сегодня, как, впрочем, и в период избрания Лукашенко, есть основания полагать, что он не столько артикулирует интересы “крестьянского слоя и пожилого населения”, сколько интегрирует схожие составляющие интересов различных слоев белорусского (и, по-видимому, не только белорусского) общества, включая политическую и интеллектуальную элиту, военнослужащих, ИТР, промышленных и сельскохозяйственных рабочих. Об этом свидетельствует и тот факт, что фиксируемые автором обнищание населения, обвал финансовой системы, многочисленные нарушения конституции и других законов даже в своей совокупности пока еще не могут значительно поколебать политический режим в Белоруссии.

Устойчивость современного политического режима РБ носит системный характер. Верный своим методологическим принципам даже вопреки некоторым из собственных выводов, автор, в частности, справедливо указывает на внешнюю опору этого режима — союз с Россией. При этом активное использование “российского фактора” в качестве мотивирующего и амнистирующего любые действия президента имело вполне предсказуемые последствия. Оно не могло не привести и, отчасти, уже привело к переносу в массовом сознании, включая и сознание городского социума, отношения к Лукашенко на союз с Россией, которая в этом понимании несет ответственность за развитие ситуации в Белоруссии (см. с.108). Трудно не согласиться с тем, что молчаливо признаваемая в России идентификация политики, направленной на формирование союза с Белоруссией, с именем и деятельностью едва ли не единственного белорусского политика — президента Лукашенко — чревата ростом антироссийских настроений. Этот вывод имеет далеко не чисто академический характер. Риторика политического дискурса здесь переходит в рефлексию политической практики, требуя от нее четкого различения конкретных, часто конъюнктурных интересов политического лидерства, с одной стороны, и стратегических, долговременных интересов наших стран — с другой. Российско-белорусский союз, для того чтобы стать прочным, должен быть обоюдовыгодным, а следовательно, должен не только быть оплачен нашими народами, но и приносить им зримую, явственно ощущаемую пользу. Понятно, что поскольку эту пользу каждая из наших стран (включая их политическое руководство и политические элиты) находит в удовлетворении *своих* интересов, то и договариваются каждая о “своем” союзе, закрепляя за этим понятием разное конкретное наполнение” (с.177).

События последних месяцев в целом подтвердили подобные оценки, позволив констатировать, что логика трансформации политического режима Белоруссии ведет если не к уменьшению его социальной базы, то к снижению уров-

ня его поддержки. Но неидентичность интересов режима и интересов Белоруссии, так же как нетождественность национально-государственных интересов, лежащих в основе союза России и Белоруссии, не отменяет, а актуализирует задачу выработки ясного понимания необходимости этого союза. Надо надеяться, что традиционно используемый в подобных случаях метод проб и ошибок будет на этот раз дополнен научным исследованием, исходящим из понимания того, что к реальной социально-политической общности в рамках единого государственного образования ведут не *декларации*, пусть даже и представленные в форме договоров, а многообразные и всегда конкретные *интересы*.

Книга К.Е.Коктыш — удачный пример именно такого исследования, на фактах показывающего, что смешение баланса этих интересов в какую-либо одну сторону — идет ли речь о личностях, государствах или социальных группах — чревато значительными политическими и материально-вещественными потерями. Эта книга — нужное подспорье в работе для всех тех, кто в теории или на практике ищет ответ на вопросы о политическом будущем постсоветского общества. Еще одним важным достоинством книги является то, что в ней содержится не только попытка автора ответить на некоторые из этих вопросов, но и материал для поиска читателем своих собственных ответов. Поэтому, подводя итог и даже рискуя выпасть из академического жанра “размышлений по поводу...”, нельзя не отметить с грустью ничтожно малый тираж издания: всего 500 экземпляров. К сожалению, книга оказалась практически недоступна для своих потенциальных читателей, за исключением читателей крупных библиотек. Но, так или иначе, благодаря Московскому Общественному Научному Фонду она вышла в свет, и будем надеяться, что теперь найдется издательство, которое позволит ознакомиться с работой К.Е.Коктыш всем тем, кого она может заинтересовать.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ КРАЙНЕ ПРАВЫХ ГРУПП НА ЗАПАДЕ По поводу книги М. Минкенберга*

А. Умланд

То, что именно немецкая политология (говоря обобщенно) держит первенство в изучении современного западного ультрационализма и в целом правого экстремизма [см. Jahrbuch... 1989-2000; Kowalsky, Schroeder 1994; Falter u.a. 1996], кажется вполне понятным, причины — достаточно очевидными. Примечательно — если рассматривать ситуацию в более конкретном преломлении, — что и авторство некоторых в наибольшей степени компаративных и систематических аналитических работ по современному западному правому экстремизму** также принадлежит немецким политологам, например К. фон Бейме [Beume 1988], Х.-Г. Бетцу [Betz 1994] и Г. Китчельту [Kitschelt 1995]. (Парадоксально, впрочем, что в Германии редки немарксистские сравнительные исторические исследования в области международного фашизма. Одно из таких немногих исключений составляют труды историка В. Виппермана [см., напр., Wipperfurth 1983].)

МИХАЭЛЬ МИНКЕНБЕРГ со своей объемистой и содержательной, трижды страноведческой книгой (“Новые крайне правые: сравнительный анализ. США, Франция, Германия”) присоединяется к кругу ведущих немецких компаративистов, занимающихся новыми крайне правыми на Западе, и добавляет к работам на данную тему еще одно детально проработанное сравнительное исследование, которое, несомненно, вызовет интерес специалистов.

Книга Минкенберга во многих отношениях органично дополняет и корректирует классическую компаративистскую работу Г. Китчельта об ультраправых движениях современной Западной Европы [Kitschelt 1995]. В обоих исследованиях применяется *схема сравнения максимально совпадающих по своим характеристикам систем* (most similar systems design)***. Однако отправным пунктом содержательного анализа в обеих работах служат соответственно разные аспекты современного социально-политического развития Запада. Если Китчельт в качестве контрольной переменной и основы для сравнительного анализа выбрал относительное сходство изменений в социальной, экономической, политической и культурной сферах послевоенного западноевропейского государства (т.е., разумеется, различных конкретных государств) *всеобщего благосостояния*, то Минкенберг, осмысливая и стремясь объяснить возникновение на политической сцене новых правых, отталкивается от исторического феномена студенческих восстаний 1968 г.: именно взаимосвязи между ними и их воздействие на общественную жизнь он кладет в основу своего объяснения. Из этих-то соображений он и выбирает для исследования три страны: США, Францию и ФРГ, — где общественный заряд выступлений студентов проявился наиболее заметно (с. 15).

Китчельт свой анализ феномена новых крайне правых помещает в более широкие теоретические рамки, чтобы дать объяснение происходившей в последние десятилетия — постепенно, хотя отчасти и неравномерно — транс-

формации западноевропейской партийной системы в целом. Он касается и политико-партийного устройства некоторых неевропейских стран, где, подобно Западной Европе, среди населения также получила распространение приверженность *постматериальным* ценностям. Фактически книга Китчельта является продолжением, как бы лишь вторым томом опубликованного им годом ранее — и тоже классического — анализа современной западноевропейской социал-демократии [Kitschelt 1994], а также экстраполяцией его предыдущего исследования изменений в западноевропейской партийной системе в целом [Kitschelt 1989]. Выстраивая свои доказательства в соответствии с этим общим замыслом, Китчельт делает акцент на взаимовоздействии противоборствующих партий, в той или иной степени использующих различные технологии для привлечения как можно большего числа голосов избирателей, с одной стороны, и освоения новых политически выгодных для себя структур (political opportunity structures) — с другой.

В свою очередь, в книге Минкенберга анализу политики современных движений правого толка предшествует обширный и весьма содержательный обзор литературы, посвященный (а) сущности и подчас друг другу противоречащим концептуальным определениям теоретических понятий национализма, популизма, фашизма и консерватизма, а также (б) специфике соответствующих феноменов в до- и послевоенных США, Франции и Германии и связи между ними и модернизационными процессами. Минкенберг идет намного дальше Китчельта, углубляясь в историю проявлений национализма в каждой из рассматриваемых им стран, для того чтобы объяснить современное состояние этого явления. Хотя он и солидаризируется с тем подходом Китчельта, согласно которому современные крайне правые в Западной Европе представляют собой сравнительно новый феномен, в его исследовании все же отражена преемственность западной правоксремистской мысли до- и послевоенного времени, а также периода после 1968 г. Различные идеологии, их закрепление в национальной традиции соответствующих государств и критерии отличия национальных сообществ, как они (критерии) явлены в мышлении националистов трех стран, более полно представлены в работе Минкенберга. К тому же Китчельт, в частности, неоправданно большое внимание уделял особому экономическому положению различных праворадикальных партий, хотя очевидно, что такого рода вопросы часто имеют для ультрационалистов лишь сугубо второстепенное значение.

Вообще, Минкенберг намного более серьезное отношение проявляет к историческим, культурным структурам, нежели к структурам, лишь чисто политически выгодным для новых крайне правых (historic, cultural versus purely political opportunity structures). Например, он подробно рассматривает специфические проблемы правого экстремизма в Германии — стране, в не столь давнем прошлом выступившей в роли зачинщика холокоста и развязавшей вторую мировую войну. Подобная исследовательская стратегия кажется более эффективной, чем довольно схематичный подход Китчельта к объяснению, например, различий меры успеха праворадикальных партий во Франции и в Германии. Удачу, сопутствовавшую на выборах во Франции Национальному фронту, рассматриваемому им как “идеальный пример” (master case) партии, якобы последовательно приверженной ценностям свободного рынка, Китчельт противопоставляет неудаче немецкой “шовинистско-социальной (welfare chauvinist) партии” республиканцев. Эта неудача, по его мнению, была предопределена тем, что республиканцы не поняли в должной мере (или не отреагировали соответствующим образом) нового разделения политического спектра между новыми правыми и новыми левыми избирателями, или, иными словами, нового раскола между материалистическим, экономически либеральным авторитаризмом, с одной стороны, и *постматериалистическими* политическими движениями либертарного толка, такими как феминизм, экологизм, пацифизм, мультикультурализм и т.п., — с другой.

Минкенберг, напротив, рассматривает более фундаментальные различия в общих стратегиях новых крайне правых, переключаясь в данном случае, кажется, скорее на *схему сравнения максимально различающихся систем*, дабы обра-

УМЛАНД Андреас (Йена, Германия), политолог, преподаватель Отделения международных отношений исторического факультета Екатеринбургского государственного университета в рамках Проекта гражданского воспитания 1999-2000 гг. (Фонд Роберта Боша).

* Minkenberg M. Die neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1998. 411 S.

** Сошлюсь здесь на свою более раннюю краткую публикацию о компаративных исследованиях по данной теме [Umland 2000].

*** Об этой исследовательской схеме см. Meckstroth 1975; Lijphart 1975.

тратить внимание на то существенное обстоятельство, что возникновение на политической сцене доминирующей "полноценной" явно праворадикальной партии и ее успех на выборах (как это произошло во Франции) не является неприменимым и единственно возможным показателем реальной силы, какого обладают новые крайне правые политические движения. В самом деле, в Соединенных Штатах, например, фундаменталистские и ксенофобские организации собственную партию не создавали, а вместо этого успешно проникали в *Grand Old Party*, т.е. в "почтенную старую партию" — республиканскую, а затем стали изменять ее изнутри; развитие событий настолько серьезное, что Минкенберг заканчивает свою книгу специальным предостережением о дальнейшем расцвете *новой крайне правой* в США — внутри правого политического истеблишмента. Если, далее, говорить о Германии, то на немецкую политическую культуру в целом и, в частности, на политический профиль блока ХДС/ХСС (и даже либерально-демократической СвДП) в западных землях значительное воздействие оказал новый крайне правый дискурс об интерпретации новейшей истории страны и национального самосознания и в меньшей степени — сами организации ультраправых. Ультраправые на востоке Германии, в свою очередь, не располагая сколько-нибудь значительными, хоть в какой-то мере электорально значимыми политическими партиями или же влиянием на политический мейнстрим, имеют, однако, тревожаще сильный потенциал воздействия на уровнях движений и культуры, особенно в молодежной среде.

Основной вклад, который работа Китчелля внесла в изучение правого экстремизма, заключается в том, что она: (а) явила отличный пример сочетания статистических методов и сравнительной методологии в изучении ультранационализма и (б) к оценке возможного электорального успеха ультраправых впервые снова подклочила традиционное в американских политических науках истематическое изучение политической конкуренции с позиций концепции рационального выбора. Что же касается Минкенберга, его основную заслугу составляют полнота, многосторонность и, что еще важнее, междисциплинарный характер исследования, где рассматривается обширная совокупность измерений, ровней изучаемого феномена (такие измерения и уровни, как партии, движения, научные круги, молодежные организации и т. п.), а также различные научные истолкования его сущности и развития. Китчелль временами тоже обращается к *заклучениям*, полученным вне рамок традиционной политической науки, однако он реже *соотносит* свои концепции и объяснения с заимствуемыми вне пределов политологии *понятиями*. Минкенбергу же удается не только связать общественные рассуждения с результатами других политических исследований, но удачно включить в свою объяснительную и таксономическую схему соответствующие публикации антропологов (например, Б.Андерсона), социологов Э.Д.Смита, Р.Брубейкера, Л.Гринфельда), политических историков (К.Д.Брахе-а или, скажем, уже упоминавшегося В.Виппермана) и историков политических движений (в частности, Р.Гриффина, З.Штернхеля, М.Грайффенхагена). Мало того, Минкенберг вводит в основное поле своего анализа индивидуальных групп и целый спектр журналистских, дескриптивных исследований, т.е. исследований, предметом изучения которых является лишь один конкретный случай или одна ситуация (*case studies*). Если, к примеру, Китчелль лишь вскользь упоминает, а затем и вовсе отбрасывает — как "традиционный" — подход Р.Гриффина к изучению послевоенного правого экстремизма [см. Griffin 1991; Griffin 1993; Griffin (ed.) 1995; Griffin (ed.) 1998], то Минкенберг широко использует *теорию фашизма* Гриффина [см. Умланд 1996], характеризуя, со своей стороны, основную идею крайне правых как "популистский, романтический ультранационализм" (с.33, 41). Поскольку Минкенберг детально рассматривает исторические спектры предмета исследования, поскольку, далее, проявление современного правого экстремизма анализируется им как интеллектуальное течение, политическое движение и субкультура и поскольку, наконец, в свое исследование он включает один неевропейский случай (США), его работа предстает более адекватным и полным введением в общее понятие о западном правом радикализме.

ПРОДОЛЖАЯ, впрочем, сравнение работ Минкенберга и Китчелля, следует сказать в защиту последнего, что он подробно рассматривает большее количество разновидностей правого радикализма: Китчелль посвящает отдельные статьи Франции, Норвегии, Дании, Австрии, Италии, Германии, Великобритания, а менее детально изучает явление также и на примере ряда других стран. К тому же Минкенберг оказался в более выгодном положении, ибо имел возможность изучить работу Китчелля 1995 г.: его вторая докторская диссертация, которая легла в основу книги, была закончена лишь в 1997 г. (издана факультетом общественных наук Геттингенского университета на правах рукописи [см. Minkenberg 1997]). Необходимо также отметить, что в работе Китчелля более четко определены изначальные предположения и цели автора, соответствующие конкурирующие гипотезы и итоговые заключения. Именно благодаря тому, что в работе Китчелля неизменно четко разъясняется суть и под-разумеваемый смысл того или иного аргумента и всегда ясно, для доказательства какого предположения он приведен, ее легче подвергнуть критике.

В работе же Минкенберга, напротив, по большому счету не вполне ясно, почему, например, для изучения были выбраны именно эти три страны: по принципу сходства независимой переменной или же несходства содержания зависимой переменной? Что касается частого обращения автора к студенческим выступлениям 1968 г. (привлекаемым в качестве сходной независимой переменной), то подобным же образом можно доказать, что эти выступления оказали воздействие на общественную жизнь и других стран (как и наоборот: идеи, которые привели к волнениям, существовали и в других западных странах). Так же не совсем понятно, были ли последствия событий 1968 г. в Беркли, Париже и Берлине достаточно мощными, чтобы их можно было рассматривать как факторы, существенно повлиявшие на политическую жизнь. Даже если их влияние было значительным, оно могло быть в равной степени значительным по своему воздействию в *разных* направлениях. Более того, в нескольких местах в книге Минкенберга у читателя создается впечатление, будто за точку отсчета (как о том уже упоминалось выше) было принято не *сходство*, а именно *различия* в содержании независимой переменной — например, когда автор наряду со сходными чертами в возрождении крайне правой политики в 1980 — 1990-х годах приводит различающиеся между собой определения нации разными националистами и различия в истории национализма в рассматриваемых странах. В последних главах книги автор уделяет сходству идей новых крайне правых и их относительного политического успеха в трех данных странах такое же внимание, как и несходству отдельных идей новых политических групп правого толка, различиям между ними по организационной структуре и месту, занимаемому в политической системе. Таким образом, остается не вполне ясным, в чем состоят основная идея и решающий вывод работы Минкенберга. Безусловно, в его книге много глубоких и заслуживающих внимания рассуждений и по поводу приведенных им примеров, и о феномене правого радикализма в целом, и о важной роли фактора идеологической убежденности и конкретных взглядов в поведении электората ультраправых. Но принять или отвергнуть подход Минкенберга и полученные им результаты представляется, однако же, довольно затруднительным, так как не вполне различимы мотивы проведения исследования, гипотезы, которые оно предполагает подтвердить или опровергнуть, и выводы, к которым автор намеревается прийти.

И, наконец, последнее критическое замечание относится к концептуальным проблемам, рассматриваемым в книге Минкенберга. Автор предпринимает важный шаг в направлении разработки содержательной таксономической схемы, какая могла бы использоваться для классификации различных видоизменений правого радикализма и экстремизма по основанию их главной идеи. Он также оправданно критикует подход Китчелля к описанию различных партий правого толка, каковое у Китчелля в меньшей степени базируется на содержании их идеологии, а в большей — просто на учете того политического пространства, которое они занимают (с.49). (Любопытно, что оба автора при

этом практически полностью игнорируют доминирующую в Германии исследовательскую школу с самоназванием "исследование экстремизма [Extremismusforschung]" и предлагаемое в рамках ее концепции далеко идущее уравнивание правого и левого радикализма.) Однако, несмотря на правомерные критические замечания Минкенберга относительно того, что существующий подход к изучению современного западного правого экстремизма оказывается не в силах представить соответствующее определение и типологию предмета изучения, концептуальная модель Минкенберга тоже может быть подвергнута критике за ее непоследовательность.

Несомненно, Минкенберг усовершенствовал существовавшие до того определения, (а) заменив широко распространенный подход по принципу простого перечисления различных мало относящихся друг к другу критериев (shopping-list approach) и присвоения группе на их основе названия "правоэкстремистская" или "праворадикальная" (с.360) и (б) отвергнув концепции, не имеющие отношения к идеологическому содержанию тех политических программ, которые они, как предполагается, должны определять. Последняя ремарка относится, в частности, к таким слишком общим или трудно определяемым понятиям, как "популизм", "противостояние системе" (anti-system affect) или "политический экстремизм". Вместо них Минкенберг предлагает принять в качестве основополагающего определителя всего сообщества новых правых партий, групп и идеологов термин "ультранационализм" (с.33); в этом смысле он частично следует концептуализации фашистского минимума Р.Гриффином как "палингенетическое (имея в виду идею возрождения, регенерации) ультранационализма". Вместе с тем Минкенберг отходит от концепции Гриффина, (а) применяя не совсем понятную в политическом смысле категорию "романтический" как характеристику новых крайне правых, (б) не проводя различия между консервативным и революционным ультранационализмом и (в) интерпретируя правый экстремизм как восстание против модернизации и эпохи модерна. В последнем пункте проблема фактически также не вполне четко разъяснена, так как по меньшей мере в одном месте своей книги Минкенберг признает, что новую крайне правую в целом невозможно с легкостью характеризовать как однозначно пред- или антимодернистски ориентированную (с.38). И в то же время он указывает на якобы тесную связь между правыми идеями и консерватизмом. Однако же, как убедительно показал Р.Гриффин (следуя предложениям таких специалистов, как Э.Нольте или С.Г.Пайн), фашизм как палингенетическая, регенеративная разновидность популистского ультранационализма является по своей сути антиконсервативной силой и имеет своей целью скорее установление альтернативного модерна, чем предотвращение или откат модернизации. Особый революционный аспект фашизма есть именно то, что отличает его от других форм популистского ультранационализма.

Неясностью в концептуальном подходе отмечена и предложенная Минкенбергом типология разновидностей праворадикальных идеологий. Речь у него ведется о четырех категориях правых идеологий: фашистской, расистской, неорасистской и религиозно-фундаменталистской. "Расизм" в его словоупотреблении толкуется в смысле биологического расизма, тогда как понятие "неорасизм" отнесено к так наз. "этноплюралистским", ксенофобным и нативистским идеям, разделяющим людей в первую очередь на базе культурных характеристик (с.238). Что касается религиозного фундаментализма, то в плане трактуемой темы он есть не что иное как еще один способ противопоставления категорий "мы" и "они". Если вплоть до этого пункта включительно описываемая типологизация может быть полезна для выделения, разграничения различных праворадикальных идеологий, то очевидно, что термин "фашизм" как обозначение одной из четырех предложенных Минкенбергом категорий не вписывается в данный категориальный ряд. Как упоминалось выше, общее понятие фашизма указывает скорее на вектор и масштабы предполагаемых социальных изменений, чем собственно на дефиницию характера регенерируемого национального сообщества. Сам по себе концепт фашизма не уточняет, каким

именно образом можно выделить и ограничить соответствующую группу "мы", — что наглядно иллюстрируется тем широким разнообразием критериев принадлежности к национальному сообществу, которое существовало в различных фашистских идеологиях межвоенного периода, например, у нацистов, итальянских фашистов или румынской Железной гвардии. И биологические расисты, и неорасисты могут быть либо фашистами (и, значит, революционерами), либо ультраконсерваторами (и наоборот). И нацистская Германия, и Южная Африка эпохи апартеида являлись расистскими государствами, однако в первой господствовала фашистская идеология, а во второй — консервативная разновидность крайне правой идеологии. Попытки Минкенберга выявить *genus proximum* и ввести новые содержательные подкатегории для крайне правых, несомненно, заслуживают похвал. Типологии, которые он представляет в своей работе, являются более детально проработанными, чем большинство предыдущих. Однако исследователям, занимающимся сравнительным изучением правого экстремизма, предстоит проделать еще немалый путь, прежде чем они смогут прийти к единому представлению о внутренне последовательной, эвристически полезной и достаточно общепринятой таксономической схеме.

СКОЛЬ НИ ВАЖНА изложенная критика, необходимо подчеркнуть, что исследование Минкенберга представляет собой существенный вклад сразу в несколько поддисциплин различных общественных наук; речь идет, например, о партийной политике как объекте научного интереса обществоведа, о таких обществоведческих областях, как компаративные исследования исторического фашизма, современного правого экстремизма, сравнительный анализ идеологий, история политических учений, социальные движения и субкультуры, политическая социология, а также электоральная конкуренция и сравнение избирательных систем. Благодаря своей многосторонности и глубине, а также широте географического охвата этот научный труд является, возможно, лучшим — из доселе опубликованных — общим введением в тематику современного западного правого экстремизма.

- Умланд А. 1996. Старый вопрос, поставленный заново: что такое "фашизм"? (Теория фашизма Роджера Гриффина). — *Полус*, № 6.
Betz H.-G. 1994. *Radical Right-Wing Populism in Western Europe*. Basingstoke.
Beyme K. von. 1988. Right-Wing Extremism in Post-War Europe — *West European Politics* 11 (2), April.
Falter J. W., Jaschke H.-G., Winkler J.R. (Hrsg.) 1996. *Rechtsextremismus: Ergebnisse und Perspektiven der Forschung*. Opladen.
Griffin R. 1991. *The Nature of Fascism*. L.
Griffin R. 1993. *The Nature of Fascism*. L.
Griffin, R. (ed.) 1995. *Fascism*. Oxford.
Griffin, R. (ed.) 1998. *International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus*. L.
Jahrbuch Extremismus und Demokratie. 1989-2000. Bde. 1-12.
Kitschelt H. 1989. *The Logics of Party Formation: Ecological Parties in Belgium and West Germany*. Ithaca, N.Y.
Kitschelt H. 1994. *The Transformation of European Social Democracy*. Cambridge.
Kitschelt H. 1995 (with the collaboration of A.J.McGann). *The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis*. Ann Arbor.
Kowalsky W., Schroeder W. (Hrsg.) 1994. *Rechtsextremismus: Einfuehrung und Forschungsbilanz*. Opladen.
Lijphart A. 1975. The Comparable Cases Strategy in Comparative Research. — *Comparative Political Studies* 8 (2), July.
Minkenber M. 1997. *Die neue radikale Rechte im Vergleich: USA, Frankreich, Deutschland*. Habilitationsschrift. Universitaet von Goettingen.
Meckstroth Th. W. 1975. "Most Different Systems" and "Most Similar Systems": A Study in the Logic of Comparative Inquiry. — *Comparative Political Studies* 8 (2), July.
Umland A. 2000. Comparing New Radical-Right Groupings. — *Patterns of Prejudice* 34 (2).
Wippermann W. 1983. *Europaeischer Faschismus im Vergleich 1922-1982*. Frankfurt am Main.

Перевод с английского О. Ступно.

- Алексеева Т.А. Современные политические теории. — М.: РОССПЭН, 2001. — 344 с.
- Бакунин М. Анархия и порядок. Сочинения. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 704 с.
- Бердяев Н.А. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX и начала XX в. Судьба России. М.: Изд-во В.Шевчук, 2000. — 541 с.
- Бердяев Н. Философия свободы. М.: ОЛМА-Пресс, 2000. — 351 с.
- Васильева Н., Гаврилов В. Балканский тупик? Историческая судьба Югославии в XX в. М.: Гейа итерум, 2000. — 480 с.
- Вокруг Сталина. Ист.-биограф. справочник (авт.-сост. В.А.Торчинов, А.М.Леонтьев). — СПб.: Филол.фак. СПбГУ, 2000. — 608 с.
- Гаджиев К.С. Политология. Учебник для вузов. М.: Логос, 2001. — 488 с.
- Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации третьего созыва. 2000 — 2003 (под общ. ред. Г.Н.Селезнева). М.: ВЭЛТИ, 2000. — 378 с.
- Гранкин И.В. Парламент России. (2-е изд., доп.) — Изд-во гуманитар. лит., 2001. — 368 с.
- Громыко А.А. Политический реформизм в Великобритании (1970 — 1990 годы). М.: XXI Век — Согласие, 2001. — 268 с.
- Дробышевский В.С., Смирнова Л.А. Политология: Учебное пособие для вузов. М.: ИНФРА-М, Новосибирск; Сибирское соглашение, 2001. — 124 с.
- Исаев М.А., Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран Скандинавии и Финляндии. М.: РОССПЭН, МГИМО (Ун-т), 2001. — 279 с.
- История политико-правовых учений. Для вузов (под ред. А.Н.Хорошилова). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 344 с.
- История политических и правовых учений. Крат. учеб.курс (под общ. ред. В.С.Нерсисянца). М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2000. — 352 с.
- История политических и правовых учений (под ред. О.Э.Лейста). М.: Зерцало-М, 2000. — 688 с.
- Кола Д. Политическая социология (пер. с французского). М.: Весь мир, ИНФРА-М, 2001. — 406 с.
- Клюев А.В. Человек в политическом измерении. СПб.: Изд-во СЗАГС, Образование — Культура, 2000. — 152 с.
- Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия. Учеб. пособие (3-е изд., перераб., доп.). М.: БЕК, 2001. — 592 с.
- Конституционное обустройство России: Общественная экспертиза. Аналитический отчет. Пушкино (Моск. обл.): Изд. Дом «Грааль», 2000. — 565 с.
- Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии (сост. А.В.Гоголевский, Б.Н.Ковалев). М.: Гардарики, 2000. — 624 с.
- Конституционное право: Словарь (отв. ред. В.В.Маклаков). М.: Юрист, 2001. — 560 с.
- Конституционное право: Энциклопедический словарь (отв.ред.С.А.Авакьян). М.: НОРМА — ИНФРА-М, 2001. — 688 с.
- Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и понимания (комментарий Л.Ш.Лозовского, Б.А.Райзберг). М.: Инфра-М, 2001. — 128 с.
- Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР (отв.ред. А.В.Наумов). М.: Наука, 2000. — 365 с.
- Куда идет Россия? Власть, общество, личность. 2000. Междунар.симпозиум 17-18 янв. 2000 г. (под общ. ред. Т.И.Заславской). М.: Моск. высш. Школа социальных и экон. наук, 2000. — 451 с.
- Лоусон Т., Гэррод Дж. Социология. А — Я. Словарь-спавочник (пер. с англ.). М.: ФАИР-Пресс, 2000. — 608 с.
- Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Три модели развития России. М.: ИФРАН, 2000. — 272 с.
- Обеспечение равенства полов: политика стран Западной Европы (пер. с англ.; под ред. Ф.Гардинер). М.: Идея-Пресс, 2000. — 312 с.
- Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций (под ред. В.Ю.Большакова). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. — 512 с.
- Основы политологии. Учебно-методологическое пособие. Крат.учебник для вузов (под ред. А.В.Малько). М.: НОРМА — ИНФРА-М, 2000. — 384 с.

Парламентаризм и многопартийность в современной России. К десятилетию двух исторических дат (общ. ред., вступ. слово В.Н.Лысенко). М.: ИСП, ИНДЕМ, Фонд развития парламентаризма в России, 2000. — 272 с.

Политология. Проблемы теории (В.А.Ачкасов и др.; отв. ред. В.А.Гуторов). СПб.: Лань, 2000. — 384 с.

Политология. Учебник для вузов (отв. ред. В.Д.Перевалов). М.: НОРМА — ИНФРА-М, 2001. — 392 с.

Права человека. Учебник для вузов (отв. ред. Е.А.Лукашева). М.: НОРМА — ИНФРА-М, 2001. — 573 с.

Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С. История международных отношений и внешней политики России. 1648 — 2000. Учебник для вузов (под ред. А.С.Протопопова). М.: Аспект Пресс, 2001. — 344 с.

Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные изменения. Международные сравнения. Вып. 2 (пер. с англ., доп., перераб.; ред., предисл. В.О.Рукавишникова). М., Совпадение, 2000. — 368 с.

Селезнев Г., Цой В., Франц А. Движение «Россия». Взгляд в будущее. Пушкино (Моск. обл.): Изд. Дом «Грааль», 2000. — 169 с.

Струве П.Б. Patriotica. Россия. Родина. Чужбина (сост., ст. А.В.Хашковского). СПб.: РХГИ, 2000. — 352 с.

Холландер П. Антиамериканизм рациональный и иррациональный (пер. с англ.) СПб.: Лань, 2000. — 864 с.

Штраус Л. Введение в политическую философию (пер. с англ.). М.: Логос, Практика, 2000. — 364 с.

ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ХОСРОЕВИЧА ШАХНАЗАРОВА (1924 — 2001)

Отечественная политология понесла тяжелую утрату. От нас ушел человек, который почти четыре десятилетия был центром притяжения и консолидации всего нашего сообщества, символом нашей политологической традиции. Как ученый, как организатор, а главное, как человек редкостного обаяния, честности и порядочности, Георгий Хосроевич Шахназаров сыграл исключительную роль в превращении Советской ассоциации политических наук в дееспособную профессиональную организацию, которая не только была признана международным политологическим сообществом, но и заняла в нем достойное место.

Георгий Хосроевич Шахназаров родился 4 октября 1924 г. в Баку. Совсем мальчишкой попав на фронт, он прошел многие сотни километров с войсками, освобождавшими нашу Родину от фашистских агрессоров, принимал участие в тяжелых боях, был контужен и закончил войну под Кенигсбергом.

После войны Георгий Хосроевич окончил Азербайджанский государственный университет, в 1952 — 1961 гг. возглавлял одну из редакций издательства "Политиздат", в 1961 — 1964 гг. был сотрудником журналов "Политическое образование" и "Проблемы мира и социализма" (Прага). С 1964 г. он работал в аппарате ЦК КПСС консультантом, заместителем заведующего отделом, наконец, помощником Генерального секретаря ЦК КПСС.

Шестидесятые годы стали тем временем, когда Георгий Хосроевич активно включился в деятельность САПН, а затем и возглавил ассоциацию. Широта его научных взглядов, эрудиция, дипломатический талант позволили поднять престиж САПН. Благодаря прежде всего личному авторитету Шахназарова, его настойчивости и последовательности в 1979 г. удалось созвать Всемирный конгресс политологов в Москве. Проведение этого конгресса стало не только свидетельством международного признания советской политологии, но и важным рубежом фактического утверждения политической науки в нашей стране.

Научная деятельность Шахназарова была признана не только коллегами по делу, но и всем научным сообществом страны. В 1987 г. он был избран членом-корреспондентом АН СССР. В стенах Академии он самым активным образом продвигал политическую науку, активно выступал за создание специального отделения политологии, за формирование центров политических исследований, включая институт политологии.

С середины 1980-х годов Г.Х.Шахназаров, продолжая руководить САПН, активно включился в политическую деятельность, став одним из ближайших помощников М.С.Горбачева. Георгий Хосроевич очень много сделал для осуществления реформ в нашей стране и как признанный эксперт, и как народный депутат СССР, и, наконец, как советник Президента СССР.

В постсоветский период Георгий Хосроевич руководил центром Фонда социально-экономических и политологических исследований, активно содействовал становлению структур сотрудничества политологов новой России. Под его руководством образовалась Российская ассоциация политической науки, почетным президентом которой он стал.

Выступая на последней конференции РАПН в феврале 2001 г., Георгий Хосроевич особо подчеркнул, что настало время для обобщения опыта отечественной политической науки, написания ее истории. Данью памяти Георгию Хосроевичу будет осуществление этой задачи, равно как и его мечты о создании новых центров изучения политики в университетах нашей страны и в Российской академии наук.

SUMMARIES

I. Shapiro. — Rethinking Democratic Theory in the Face of Contemporary Politics.

A well-known American political scientist assesses the state of Western, mainly American, political science insofar as democratic theory is concerned. Within the whole body of the existing theoretical concepts, he distinguishes, on the one hand, normative theories investigating democracy integrally as system of government called upon to justify expectations that people pin on it and clearing up, while being about it, the factors determining the extent of justifiability of the expectations themselves; and, on the other, explanatory theories accounting for real dynamics of the existing concrete democratic systems. In this first part of the article (the rest three parts to be published in the forthcoming issues), reflecting on the difficulties faced by modern democratic theory, the author differentiates, firstly, theoretical difficulties as such (i.e. those deriving from the contradictions of political reality itself and, accordingly, the contradictory character of its claims to the democratic system of government); and, secondly, difficulties of a subjective kind which result, e.g., from a discrepancy between the said two streams of political science literature, from their lack of awareness of each other. Another, and no less important mode of delimitation of the analyzed extensive theoretical material is the distinction, within it, on the one hand, of a rousseauist tradition identifying democracy's aim with search for the common good (or, as modern idiom puts it, with arriving at functions of social welfare) and, on the other, of a tradition that sees this aim in securing legitimate management of power relations. Giving on the whole his own preference to the latter approach, the author discloses its inseparable essential problematic connection with Schumpeterian (put forward by the Austrian political scientist J.Schumpeter) competitive democracy conception that in principle removes many traditional puzzling problems of democratic theory. The parts of the article, to be yet published, deal with questions pertaining to mechanisms of the promotion of democracy, conditions of its durability, problems of avoiding perverse consequences of democratic procedure, and the correcting function of the second-guessing institutions (first of all, courts).

S.P.Peregudov. — Russian Big Corporation in the Power System.

Big corporate capital has become a significant actor in the political sphere of Russian reality. In the article, the process of the formation of functional representation of corporate capital in the system of state and regional power is analyzed, and, *inter alia*, the thesis substantiated, that traditional lobbying is gradually pressed off the forefront to the background. The author comes to the conclusion that institutionalization of Russian companies' participation in the authorities' political and economic decision making proves to be an essential positive factor of socio-political development, of the formation of full value civil society in Russia.

O.B.Podvintzev. — Post-Imperial Adaptation of Conservative Consciousness: Contributory Factors.

The article contains analysis of factors contributory to the adaptation of conservative consciousness in the post-imperial period, i.e. to a process as a result of which one may remain a conservative, but cease to be an imperialist-minded State-monger. Among such factors, the author singles out, in particular, illusions of reversibility of the empire's disintegration and of its transformation into a really meaningful commonwealth. One's reconciliation to new realities is also favoured by awareness of the heavy burden of the former imperial commitments, by the frustration of the once cherished illusory hopes for prosperity to be soon achieved in the former imperial

possessions, by the conservatives' participation in political "arrangement" of the post-imperial expanse, etc. (This article, in a sense, completes the previous one by the author published in *Polis* No.3, 1999, where, on the contrary, factors impeding the process of conservatives' post-imperial adaptation were considered.) The combination of factors of post-imperial adaptation, the author believes, engenders opportunities for influencing this process in a well-considered and purposeful manner, for adjusting its course.

A.I.Neklessa. — A la carte.

On the threshold of the 3d millennium, modern civilization is living through universal, systemic transformation and in a number of its vitally important aspects displays features of a new epoch, the author maintains. Trying to grasp the purport of the global transformation of the world is nowadays all but the main intellectual occupation of the humane sciences community. Analyzing available prognostication as to eventual development of the situation, that is to say, the "menu card" offered by the future forecasting "kitchen" (hence the heading of the article which means: "[what is] in the menu", or, in French: "[ce qui est] à la carte"), the author comes to the conclusion that the upbuilding of a universal community based on the principles of person's liberty, democracy and humanism, now turns out to be called in question. Global civil society has, after all, failed to take shape, and now one has to ever more often think of alternatives to modern civilization, of prospects of a different, post-globalist end of history. The balance of security in the world is unstable and undergoes threats tending to increase. The USA has, on the whole, proved unable to claim for the status of a superpower, and, in the meantime, it is regional conflicts that present the greatest danger to mankind. Economistic mentality of the West may in not so remote a future be faced by a civilizational challenge of New East. Culture of the Christian Oecumene living through spiritual crisis has faced rationalism and practicalness of neotraditional society. The world community has to face painful alternative: either the necessity to create a complex system of global security "oriented at a new organ of world political power", or transition to obviously non-classical scenarios of a new, non-stationary model of international relations.

Ye.V.Popova. — Problemic Dimensions of Electoral Politics in Russia: Gubernatorial in a Comparative Perspective.

On the basis of the models worked out in political science in the West: the problemic (issue) voting model and the indeterminacy model, the author (1) investigates factors shaping the program rhetoric of runners for governor in five Russian regions, (2) tests the level of significance, for electoral success in the regions in question, of the choice of positions on problems (issues), made by the candidates, (3) establishes importance of the "incumbent — opponent" rhetorical positioning in the elections analyzed. To reveal the candidates' problemic positions, the method of content analysis is applied.

V.Yurevich. — Science and the Mass Media.

The author points to the extreme one-sidedness of the account of events and processes in modern Russian science, being given by mass media (first of all by TV) resulting in the emergence of an inadequate image of science as "a burden to society", "a gag extorting handouts" unable to help the country in whatever way. The situation in the relations between the mass media and science is due, in the author's opinion, not only to the lack of a well-adjusted mechanism of their interaction insofar as information is concerned, but also to biased position of most TV companies, conditioned by specific interests of their owners.

V.A.Gutorov. — Modern Russian Ideology as System and Political Reality.

The article has for its main object the analysis of the basic trends in the evolution of different ideological conceptions in Russia during the whole of the 20th century. The problem investigated is, in particular, the role of national traditions and of the national character in the formation of the Russian reformers' ideological orientations and programs, as well as the meaning of social utopianism in the legitimation of both the socialist and the neoliberal political regimes and, more generally, practices.

V.A.Achkasov. — Russia as Crumbling Traditional Society.

The author tries to answer the question of what are the reasons of the failures of Russian liberalism and liberal reforms. He notes that Russia does not comply with generally adopted rules and demonstrates extraordinary stability of the *quality* of social relations and of traditional consciousness, even under conditions of most radical changes. Of course, by the relations and the consciousness in question, converted forms thereof are meant, deep-rooted with enormous stability, however, in tradition. So that the "overtaking" modernization in Russia creates just "islands of novelty" in traditional society. The main way to realize this kind of modernization is the so called "imitation". It implies just imitation of involvement of the whole society into the reforms process initiated by the government whereas society in its majority, structurally and mentally is not ready for radical changes. Breaking abruptly with the past leads to purely symbolic, formal changes and after some time all regains its circles. In this situation, tradition turns out to serve as the determinant of the limitations of the reforms, of their legitimation, of their intensity and direction.

S.A.Lantsov. — Russian Historical Experience in the Light of Political Modernization Concepts.

The author, lecturer at St. Petersburg University, proceeds in his article from the presumption that conclusions made by researchers of political modernization of countries attributed to the third world might be justifiably used in the study of tendencies of other countries', including Russia's, political development. It is from this angle that the article retraces the key landmarks of Russia's political history beginning from the Petrine reforms. The author's attention is particularly attracted by the reverses of the reforms in the 19th and early 20th centuries, of which he analyzes the causes and consequences and characterizes the actors.

L.V.Smorgunov. — Network Approach to Politics and Governance.

The author discusses theoretical and methodological problems of a new school in the research of political processes and state governance. In the framework of this new school, the research is centered upon the notion of "policy network". The article elucidates, one by one, such aspects of the theme as: pluralism; corporation and policy networks; general methodological orientations of the policy network conception; the notion itself of "policy network"; varieties of policy networks; the notion of "governance" within the conception discussed. The latter, in the author's opinion, aptly designs models of public governance, of interaction between modern state and civil society, which are alternative to market and hierarchy.

M.I.Degtyaryova. — The Notion of Sovereignty in J. de Mestre's Political Philosophy.

Clearing up common and differing features in the approaches of J. de Mestre and of J.Bodin to the problem of sovereignty, the author gives an account of, and critically analyzes, de Mestre's arguments against the theory of the people's sovereignty. The philosopher's own concept of national-monarchic balance is likewise characterized. It is, furthermore, demonstrated what great importance he attached to antiquity and

ditionality as most essential indications of sovereign power. As the author concludes, it was, in fact, not so much devising a theory of sovereignty that he was engaged in, as substantiating the right to sovereignty attributed to a particular object his political preference.

G.Allenov. — "Russian Sources" of the German "Conservative Revolution" (Arthur Moeller van den Bruck)

The name of Arthur Moeller van den Bruck is nowadays known only in the relatively narrow circles of his ideological heirs — right-radically minded intellectuals — or, at least, to researchers of politics and culture of the 20th century Germany. Meanwhile the work of this man of letters in many respects determined the make-up of the German nationalism of the 1920s and early 1930s, and his book entitled "The Third Reich" had a reputation for being the manifesto of the "conservative revolution" declared by him, too. This article retraces the evolution of Moeller's views thus constructing a course of evolution typical for representatives of his generation — from cultural pessimism to political radicalism. In the course of this reconstruction, the author's attention is attracted mainly by Moeller's passion, far from fortuitous, for Dostoyevsky's inner world — passion that received peculiarly transformed interpretation in the ideology of the German "revolutionary conservatism".

Kirk. — What Is the Best Form of Government for the Happiness of Man? (Foreword by M.P.Kizima)

This lecture was delivered by R.Kirk, a well-known American advocate of conservatism, in the Oklahoma University in 1956, but retains its topicality even now. In his lecture, R.Kirk stresses that, unlike liberals, he doesn't think that any particular form of government can make people really happy. The mission of a good form of government, to his mind, is to maintain a balance necessary for the development and realization of outstanding persons' potential, without prejudice to the majority of the population. It is, likewise, inappropriate to impose, as is characteristic of American liberals, one's own legal institutions, one's own views of democracy and just political arrangements on other peoples. For each people, in R.Kirk's opinion, such form of government is good that is rooted in this particular people's tradition and customs and is organic to the people in question.

z.Shimov. — Civil Society and the Ruling Elite in the Transition Period: the Czech Variant.

The subject of the article is Czechia's experience in the key sphere of post-communist transformation — the sphere of shaping and adjusting harmonic relations between civil society and the ruling elite. The author points to the prior conditions that determined the comparative quickness and easiness with which the Czechs gave up socialism. The reasons and circumstances are described that led to the "divorce" of Czechia and Slovakia. Czechia's political evolution in late 1990s is considered with especial thoroughness. The author argues that the relations between the state and civil society in Czechia retain forms of confrontation, therefore there is no question yet of completion of the post-communist transformation process in the country.

I.A.Shepeleva, A.T.Bariskaya, M.I.Shmelyova. — The Civilizational Dimension of Geo-economics.

The three authors, from the Dnepropetrovsk State University (Ukraine), proceed from the thesis that an era of geo-economics' domination is coming; and, meanwhile, processes of civilizational and geo-economic mechanisms' interlocking and fusing are underway in the international sphere. The article discusses theoretical-methodological problems of geo-economic research. In the authors' opinion, today's world pres-

ents a geo-economically unbalanced system of which attempts of one of civilizations (the "model", or "standard" one) are characteristic, to undermine the relative geo-economic balance which either is about to disappear, or has just disappeared but which, at any rate, existed before. Hence the especial importance of scientific research of problems related to geo-economic aspects of individual security.

S.V.Pronin. — Ukraine and Russia: Fundamental Conditions for Cooperation.

Review of a book issued in the past year by the "Ves mir" publishing house (Moscow). The book, by R.Ya.Yevzerov, is entitled "Ukraine: Together with, or Apart from, Russia?" Besides favourable assessment of the book, the author presents his own vision of Ukraine's geopolitical and geo-economic situation fraught with fundamental conditions for the two sovereign world powers' cooperation.

D.M.Feldman. — Byelorussia: Political Regime in the International Context (On an Essay of a Systemic Study).

Review of a book published in the past year by the Moscow Social Science Foundation. The book, by K.Ye.Koktysh, is entitled "Transformation of the Political Regime in Republic of Byelorussia". The reviewer holds that systematic analysis coherently carried out, has allowed the author of the book to apply "more or less correct" criteria in assessing the change of Byelorussia's socio-political system. The approach applied helps the author of the book not only to reveal and describe Byelorussia's specific features in the transformation of her political regime during the 1990s, with the sources and the determination of the process duly demonstrated, but also to establish correlation of proper Byelorussian and generally Soviet tendencies and motive forces of the societal systemic crisis after the "real socialism". The reviewer, furthermore, points to the interrelation, as revealed and retraced in the book, of the political regime transformation in Republic of Byelorussia and the course of Russian-Byelorussian integration, as well as to Byelorussia's real role, as also analyzed in the book, in Russian politics, in international relations within the post-Soviet expanse, and in the world arena.

A.Umland. — Comparative Analysis of New Extreme Right Groups in the West.

A German researcher in political philosophy (1997-1999 Visiting Fellow, Hoover Institution on War, Revolution and Peace, Stanford, Cal., USA, and since 1999 Civic Education Project/Robert Bosch Foundation Visiting Lecturer, the Urals State University, Yekaterinburg, Russia) critically, and in a broad historiographical context, analyzes a comprehensive study on new extreme right groups in the West. The book reviewed, by M.Minkenberg, issued in 1998 by Westdeutscher Verlag, Opladen, Germany, contains most thorough comparative analysis of new right radical groups in the USA, France, and Germany.

CONTENTS

Presenting This Issue.....	5
PROBLEMS AND JUDGMENTS	
I.Shapiro. Rethinking Democratic Theory in the Face of Contemporary Politics.....	6
S.P.Peregudov. Russian Big Corporation in the Power.....	16
O.B.Podvintzev. Post-Imperial Adaptation of Conservative Consciousness: Contributory Factors	25
DIXI!	
A.I.Neklessa. A la carte	34
RUSSIA TODAY	
Ye.V.Popova. Problemic Dimensions of Electoral Politics in Russia: Gubernatorials in a Comparative Perspective	47
A.V.Yurevich. Science and the Mass Media	63
PANORAMA OF POLITICAL SCIENCE IN RUSSIA: ST. PETERSBURG	
V.A.Gutorov. Modern Russian Ideology as System and Political Reality (Some Methodological Aspects).....	72
V.A.Achkasov. Russia as Crumbling Traditional Society	83
S.A.Lantzov. Russian Historical Experience in the Light of Political Modernization Concepts	93
L.V.Smorgunov. The Network Approach to Policy Making and Governance.....	103
HISTORY OF POLITICAL THOUGHT: CONSERVATISM	
M.I.Degtyaryova. The Notion of Sovereignty in J. de Mestre's Political Philosophy	113
S.G.Allenov. "Russian Sources" of the German "Conservative Revolution": Arthur Moeller van den Bruk.....	123
R.Kirk. What Is the Best Form of Government for the Happiness of Man? (Foreword by M.P.Kizima)	139
DOSSIER	
Ya.V.Shimov. Civil Society and the Ruling Elite in the Transition Period: the Czech Variant.....	149
M.A.Shepeleva, A.T. Bariskaya, M.I.Shmelyova. The Civilizational Dimension of Geoeconomics	160
BIBLIO-REVIEW	
S.V.Pronin. Ukraine and Russia: Fundamental Conditions for Cooperation	165
D.M.Feldman. Byelorussia: Political Regime in the International Context (On an Essay of a Systemic Study).....	170
A.Umland. Comparative Analysis of New Extreme Right Groups in the West.....	174
Newly Published Books.....	180
In Memory of G.Kh.Shakhnazarov	182
Summaries in English	183

К сведению читателей журнала «ПОЛИС»!

Хорошо зная о том, что наши читатели нередко сталкиваются с отсутствием в библиотеках многих номеров нашего журнала, мы начинаем работу по размещению в архиве журнала полнотекстовых версий статей, опубликованных в «Полисе».

К моменту выхода этого номера журнала в свет на нашем сайте (www.polistudies.ru) в рубрике «Архив журнала» будут размещены статьи, опубликованные в «Полисе» в 1995 и 1998-2000 гг.

Мы рассматриваем эту акцию как содействующую процессам интенсификации политического образования в России, расширяющую возможности доступа преподавателей и учащихся высшей школы к ресурсной базе политической науки, формирующую сетевую организацию профессионального общения политологов.

В дальнейшем мы рассчитываем постепенно — по мере наших возможностей — разместить на сайте полные версии статей всех остальных годов, в первую очередь отдавая предпочтение публикациям, до сих пор вызывающим живой читательский интерес.

Редакция журнала «Полис»
и коллектив Информационного центра
«Электронный Полис для политологов»

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК

С 2000 г. «Полис» перешел на так наз. чикагскую систему оформления сносок.

Примеры оформления сносок в тексте статьи:

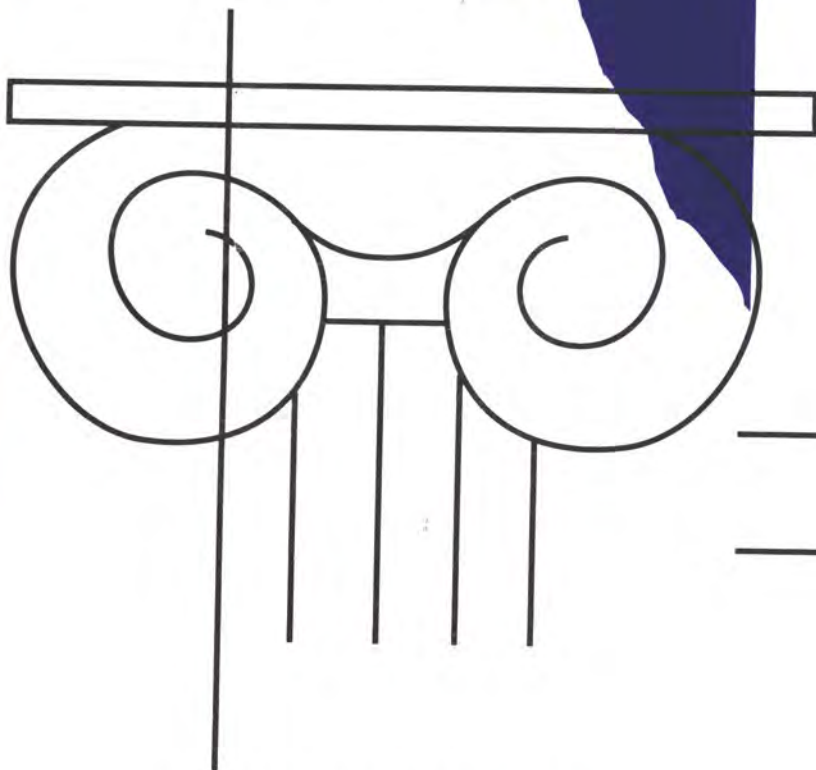
[Иванов 1996] // [Almond 1993]
[см. Иванов 1996] // [см. Almond 1993]
[Иванов 1996: 100] // [Almond 1993: 100] — после двоеточия дана страница
[Иванов, Сидоров 1996] // [Almond, Powell 1996]
[Иванов (ред.) 1998] // [Almond (ed.) 1997]
[Иванов и др. 1997] // [Almond et al. 1987]
[Иванов 1996a: 100] // [Almond 1996a] — буквы а, б, в // а, b, с... обозначают разные работы данного автора, выпущенные в один и тот же год
[Лоббизм 1997] // [Political Theory 1997] — первые слова названия книги при отсутствии фамилий автора или редактора
[Сегодня 01.08.2001] // [Political Studies 2000] — когда ссылка дается не на конкретную статью, а на периодическое издание

Оформление библиографии в конце статьи:

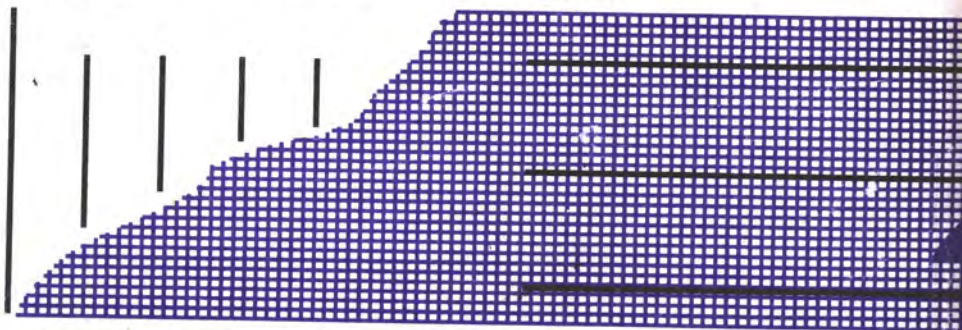
Сначала в алфавитном порядке без нумерации приводятся источники на русском языке, затем — на иностранных. Курсивом выделяется название книги, журнала или сборника, где помещена та или иная статья (без кавычек).

Иванов П.К. 1998. *Центры власти*. М.
Иванов П.К. 1999a. *Центры власти*. М.
Иванов П.К. 1999b. *Центры власти*. — *Полис*, № 1.
Молчанов В.П., Светлова К.Ф. 1997. *Политические системы*. Ростов-на-Дону.
Петров А.Л. 2000. *Легитимность*. — Сидоров П.К. (ред.). *Общая политология*. М.
Региональное развитие в России. 2000. СПб.
Тулин К.Н. (ред.) 2000. *Российские регионы*. М.
Allend G.A. (ed.). 1998. *Political Systems*. L., N.Y.
Political Studies. 2000. Vol. 3, № 2.
Rubben E.H. et al. 2000. *Political Culture*. — Buttler J., Mailer R.E. (eds.) *Comparative Studies*. L.
Tiper W. *Political Culture*. 2000. — *Political Studies*, vol. 3, № 2.

ΠΟΛΙΣ



мы в мире—
мир в нас



Индекс 70790